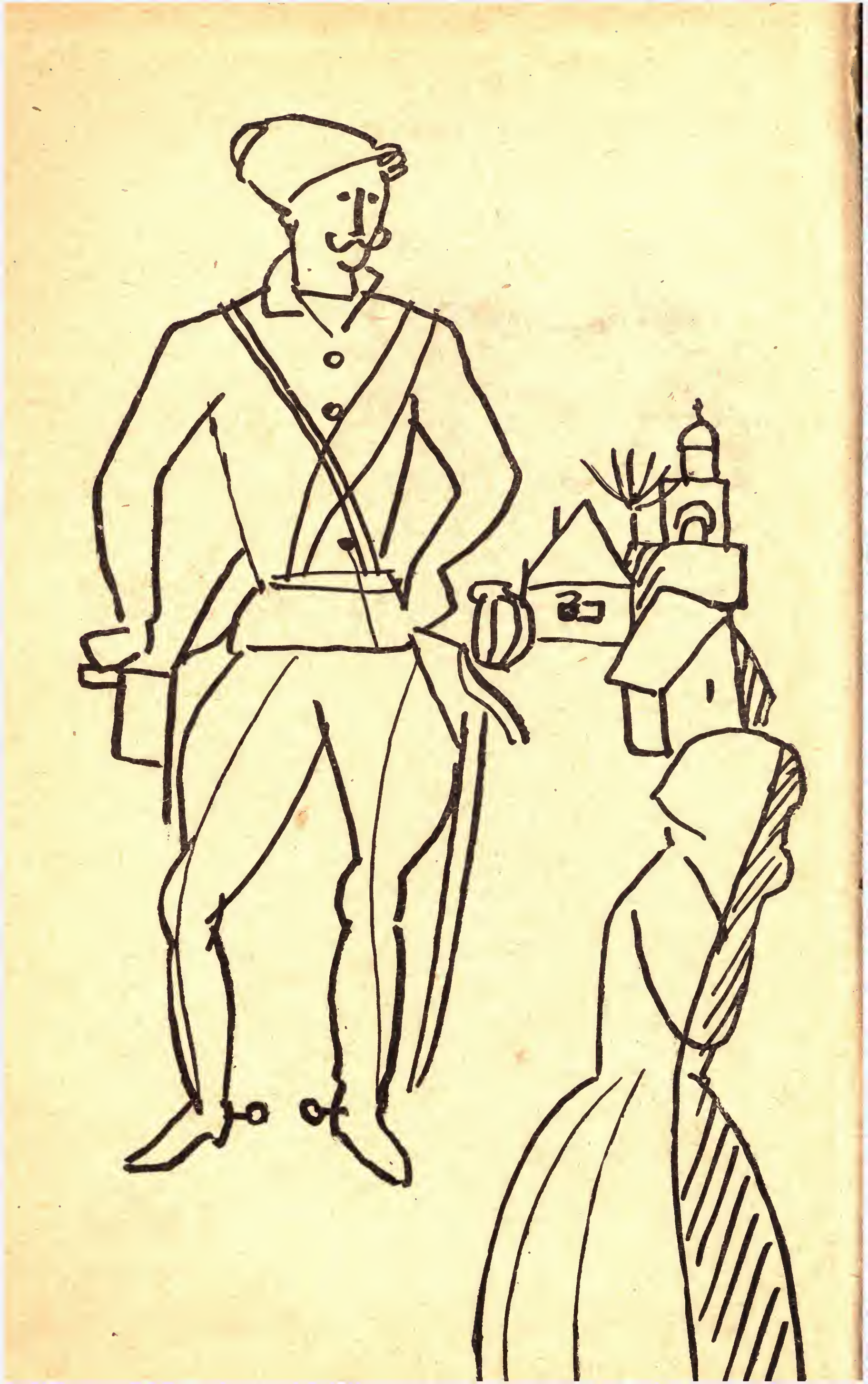
КОНСТАНТИН ФИНН

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ МНОГИХ ЛЕТ



Уважаемый
нов.
Поздравляем Вас с днём
Советской Армии. Желаем
здоровья, успехов в службе
и личного счастья в жизни.
„Любовь народная с тобой Советский"
" воин, будь верен ей в веках!"
Дети и коллектив д/с 37!
23/II. 70г.





КОНСТАНТИН ФИНН



РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ МНОГИХ ЛЕТ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1969

Р 2
Ф 60

Известный советский драматург Константин Финн является автором многих прозаических произведений — романов, повестей, рассказов. В эту книгу вошли лучшие из них. Написанные много лет назад, они и сегодня читаются с большим интересом. В них оживают незабываемые годы первых пятилеток, годы грандиозных свершений, преобразивших нашу страну и моральный облик нашего человека. Герои К. Финна нередко оказываются в чрезвычайно сложных психологических обстоятельствах (повести «Вторая ступень» и «Неравный брак», рассказы «Семья», «Окраина», «Певица» и другие). Писатель глубоко проникает во внутренний мир людей, создает выразительные портреты своих современников.

7-3-2
126-69



РАССКАЗЫ

ЗЕМЛЯ

1. Семья

Деревенская улица неожиданно засияла. В комнате вещи казались одноцветными, а здесь, под небом, стало видно, что и они живые. Опираясь на людей, вещи плавной походкой шли вдоль деревни.

Люди молчали — и те, кто нес на себе эти корыта, ящики, скамьи, и те, кто стоял поодаль, наблюдая. Очевидно, неизбежна молчаливая торжественность того момента, когда вещи покидают свой дом, насиженные свои места.

Голубовский первым нарушил молчание.

— Семья эта, значит, разделилась, — сказал он. — Вот видите, все на ваших глазах происходит. Иван Греков со старшими сыновьями уходит от нас, из колхоза то есть. Сманили его ильинские мужики, жизнь хорошую пообещали, вот и сманили. Только обратите внимание вот на что: жена его, Ивана, с мальчиком своим в колхозе остается. Сознательная баба оказалась. Даже не ожидал.— Он помолчал, потом, нахмурившись, сказал: — Ведь старик совсем, Иван-то Греков, шестьдесят лет ему, не меньше, а вот видите, на все пошел, с женой даже расстается. Вот что значит, когда старые мнения-то вернулись. Ведь он раньше хозяином был зажиточным, в Ильинке-то, но все время в лес смотрел, как волк, — честное слово, как волк.

Я подошел к избе Ивана Грекова и заглянул в окно. Иван стоял посреди комнаты. Черные растрепанные его волосы были обсыпаны известкой. По полу тянулись

какие-то тряпки. Они ловили людей за ноги и, только наигравшись вдоволь, отпускали. Пыльная вата дрожала в покинутых вещами углах. Вещи бродили по комнате в задумчивости, останавливаясь посредине. Иван Греков — тяжелый, большой и сутулый — сам казался заблудившейся вещью, ждущей того момента, когда схватят ее на плечи, оторвут от середины комнаты и понесут.

Старший сын говорил ему тихо:

— Стыд-то ведь какой, стыд!

Сын был ниже отца, у́же в плечах, но тем не менее никто не усомнился бы в том, что именно он является сыном Ивана Грекова. Оба они, отец и сын, были черноголовые, сутулые, с лицами суровыми, притихшими, казалось, несмотря на энергию свою, как-то сразу, внезапно. Даже взгляд был у них одинаковый: кривой и вопрошающий. Отец и сын были похожи друг на друга так, как бывают похожи только люди, нарисованные на одной диаграмме. А остальные члены семьи Ивана Грекова могли бы служить продолжением этой диаграммы.

Сын повторял без конца:

— Стыд-то какой, ах ты господи!

Иван Греков сказал громко:

— Намучился я, хватит!.. Все делить, все делить... Не намерен я. Коров обобществили, все обобществили... Ладно, ну ладно! Хорошо. А почему жрать нечего? Позвольте мне у вас спросить! Почему?

Видно было, что он смущен. Он не додумал чего-то до конца, решая уйти. А теперь уже поздно передумывать. Уже вещи вышли из дома и идут по направлению к Ильинке. Надо самому сейчас вот последовать за ними.

Жена сказала ему тихо:

— Ты, смотри, платок мне пришли. Завернула я в него посуду. Он мне нужен, платок-то.

Настоящий смысл этой фразы был таков: «Не уходи, Иван Митрич, слышишь? Подумай еще. Как же я-то без тебя? Ведь сколько лет вместе прожили».

Он, не глядя на нее, сказал коротко: «Пришлю». Потом неожиданно с ненавистью обернулся к ней и крикнул:

— В коллективе остаетесь, Авдотья Петровна, в коллективе!

Голубовский заявил строго:

— Ты оставь это, Иван! Слышишь? Сам уходишь — дело твое, удерживать не станем. А Авдотью не смущай, пожалуйста!

Один из сыновей Ивана Грекова, ближайший «сосед» его по диаграмме, сказал:

— Пошли, чего там... Ну пошли...

И Иван Греков ушел. Он шагал по деревенской улице, ни на кого не глядя. Покорные сыновья следовали за ним.

— Уходите, Иван Митрич? — крикнул кто-то неожиданно. — Богато жить захотели? Запоминайте дорогу к нам, когда жрать нечего будет на новом-то месте.

Через несколько минут уходящие скрылись из виду. Деревенская улица казалась вокзалом, а грусть, охватившая всех, — вокзальной грустью. Проводили человека. Место его пустует, и не хочется смотреть на это место.

Все отвернулись от дома Ивана Грекова и направились по своим делам.

Я пришел в этот дом вечером. Жена Ивана Грекова встретила меня радостно. Видно было, что она теперь рада каждому приходящему. На облупленном подоконнике я заметил большую черную табакерку. Девушка, нарисованная на крышке этой табакерки, была весела, бодра, прямодушна и очень юна. Тем не менее было ясно, что табакерка эта принадлежит старику, и подле нее обычно лежат очки в картонном изодранном футляре. Но на этот раз очки были где-то в Ильинке, и табакерка осиротела. Она послушно открыла свой беззубый рот, а когда я сдавил ее в руке, сказала свое скрипучее приветливое слово; она привыкла ко мне моментально и дружественно потеплела под пальцами.

Хозяйка заметила табакерку и сказала тихо:

— Забыл он, оказывается.

Мне стало понятно, что она тоскует по мужу.

— Значит, одна теперь жить будешь? — спросил я только для того, чтобы как-нибудь начать разговор.

— Одна-то не одна, с парнишкой, а все-таки боюсь я.

— Ну, что зря говорить? — произнес Вася. — Чего там бояться? Люди живут — и мы проживем.

Васе было двенадцать лет, и слова, произнесенные им, показались мне смешными.

— Откуда же ты знаешь про людей? — спросил я.



Мать крикнула на него, видно поняв мой вопрос, как укор.

— Сопливый ведь еще, а в разговор лезет...

— Ладно, ладно, помолчи! — сказал ей Вася солидно, и я подумал, что он чувствует себя теперь на месте отца. Вот именно так совсем еще недавно отец говорил матери.

— Значит, помогать матери будешь? — спросил я.

Вася поглядел на меня насмешливо и, ничего не ответив, отвернулся.

— Как жить? — сказала жена Ивана Грекова. — А разве я знаю, как жить? Вон Голубовский — он знает. На него надеюсь. Вы-то небось удивляетесь, зачем осталась я, от мужа оторвалась. Да как же не остаться! Сколько горя перенесли, не жравши сколько сидели, пока колхоз строили, а теперь, значит, все бросить? Я ему говорила: «Подожди, Иван, немного, должны обязательно лучше жить, ведь вот люди надеются». А у него один ответ: «Все равно делить придется, на всех хорошей жизни опять не хватит, не желаю». Он азартный мужик, самостоятельный, кинулся вот теперь в Ильинку...

Когда провожала меня до калитки, говорила:

— А Васька-то мой... Не знаю даже, как и сказать. Удивительный такой малый он у меня. «Пусть, говорит, мама, отец и не вертается, я сам хозяйство поведу. Сам, собственноручно». Только смех! Это как же можно без мужика хозяйствовать? Без мужика настоящего хозяйства не бывает.

Когда через несколько дней я рассказал Голубовскому о своем посещении Грековых, он усмехнулся:

— Малый этот, Васька, занятный. Коллективист настоящий. Маленький, а все ведь понимает и стоит за колхоз, честное слово! Даже удивительно, как рано он все понял. Слышал я, как он братьев старших, что с отцом в Ильинку ушли, стыдил. Удивился даже — откуда у него столько ума берется. Только, знаете, больно уж он суров. Все они, Грековы, такие вот, какие-то каменные.

Вскорости нас посетил Вася. Он вошел в комнату твердой походкой взрослого человека.

— Андрей Андреевич, — сказал он. — Я к вам насчет луга. Скажите Мухотиным, чтоб не лезли. У них харак-

тер завидущий, ты, говорят, свой кусок нам подкинул. Определите, кому где косить, Андрей Андреевич!

Голубовский, улыбаясь, спросил:

— Ну, а как же ты теперь предполагаешь с матерью жить?

— Вы скажите Мухотиным, чтобы не лезли, — произнес Вася недовольным голосом, видно усмотрев в вопросе Голубовского желание уклониться от решения.

— Ну, а как ты полагаешь, кому же косить этот луг? — спросил уже серьезно Голубовский.

Вася нетерпеливо крикнул:

— Тут положение простое! Понятно, кажется! Половину, что до забора, пусть они косят, а другую половину я. Очень просто.

— Ты думаешь, что так справедливо будет? — задал ему вопрос Голубовский.

Я увидел, что он уже окончательно забыл о том, что Васе всего двенадцать лет и что почитает он его теперь настоящим колхозником, действительным членом коллектива «Заря».

Голубовский неожиданно спросил:

— Не надеешься ты, что отец вернется?

— Не надеюсь.

Вася недовольно поежился, потом, очевидно, вспомнил что-то, соскочил с лавки и, подойдя к Голубовскому, протянул ему извлеченную из кармана штанов ту самую табакерку, которую я видел на облупленном окне.

— Так, так, — произнес Голубовский, беря табакерку и без объяснений понимая, в чем дело.

— Убивается, — сказал Вася. — Очень убивается. Как посмотрит на табакерку, сразу плакать. Баба, конечно, что с нее взять!

— Так, так, — повторил Голубовский неопределенно.

Наступило молчание.

— А зачем, Андрей Андреевич, люди табак нюхают? — спросил Вася.

— Так уж нравится им, вот и нюхают, — ответил Голубовский и вдруг спросил: — Скучаешь по отцу?

— Я вот книжку читал, — начал Вася, не глядя на Голубовского. — Насчет репы книжка. Ежели репу понастоящему сажать, то совсем другое дело получается.

— А у меня отец слесарем был, — сказал зачем-то Голубовский, — честное слово! И черное лицо у него постоянно было. Кожа такая или что, только не смывалось машинное масло нипочем, даже удивительно.

— Слесаря — они сильные, — заметил Вася.

— Сильные, — подтвердил Голубовский, — очень сильные.

— Как махнет кулаком, так и разворотит, я знаю... Как махнет кулаком...

По полу бегал большой таракан. Щель между половицами казалась ему заманчивой. Таракан бегал около щели, торопливый и встревоженный. Он боялся щели. Но было ясно, что щель заманит его. Надо было только подождать. Вася ногой столкнул таракана в щель.

— Пусть идет, не боится, — сказал он. — Пусть не боится.

— Какой ты храбрый, — произнес, усмехаясь, Голубовский.

— А чего я боюсь? Вы скажите! Я ничего не боюсь.

— Видите, — обратился ко мне Голубовский, усмехаясь, — какой у нас народ пошел. Храбрый народ, что и говорить.

Вася покраснел от удовольствия. Он стал добрым и даже обратился ко мне с каким-то вопросом.

После его ухода мы с Голубовским некоторое время говорили о нем и были удивлены, когда неожиданно он вернулся. Он вошел в комнату уже без давешней своей степенности и сел на лавку.

Некоторое время длилось молчание.

— Ушла, — сказал наконец Вася.

— Кто? — спросил Голубовский.

— Мать ушла к отцу, в Ильинку. Как только я к вам направился, собрала вещи и ушла. Мне Мухотины передали.

Голубовский взволнованно произнес:

— Это как же так, как же? — Потом закричал пронзительно и злобно: — Ильинка!.. Везде и всюду... на дороге! Посредине жизни стоит. Проклятые!.. Кулачье!.. Я их в девятнадцатом году... Нет, вы позвольте!..

Я еще не видел его в таком состоянии. Когда он наконец замолчал, Вася промолвил тихо:

— Я пойду, значит.

Он ежился и отворачивался. Красные мальчишеские руки были опущены, как у виноватого.

— Куда же ты? — спросил ласково Голубовский.

— Домой.

Голубовский произнес повелительно:

— Оставайся здесь ночевать, тебе одному там страшно будет.

Я вспомнил слова Васи о том, что он ничего не боится, и мне стало жалко его.

Он не ответил Голубовскому и снова сел на лавку. Так просидел, пока ему не постелили на полу. Тогда он быстро разделся и, укрыв одеялом голову, замер.

Мы с Голубовским тоже отправились спать. Но заснуть мне не удалось. Я зажег лампу и взял уездную газету. Я читал о том, что земуправление не хочет самокритики, о том, что верблюды в Самарской губернии рентабельнее лошадей, но думал почему-то только о Васе.

Вдруг я услышал какой-то шум. Я пошел поглядеть, в чем дело. Голубовский с лампой в руках стоял над Васей и говорил взволнованно:

— Да что же ты, что же?

Вася плакал во сне и не просыпался. Он плакал и гладил худой своей рукой подушку. Наконец он открыл глаза.

— Что же ты, брат? — сказал Голубовский, стараясь говорить шутливо. — Какой же ты колхозник?

Вася схватил Голубовского за руку.

— Картошечки, — сказал он, заикаясь.

— Чего ты, — удивился Голубовский, — есть хочешь?

— Я мать с отцом во сне видел, — ответил Вася. — Теперь я ими покинутый... Будто бы я иду по полю, а они будто бы подходят. Вдвоем подходят и говорят: «Дай нам, Вася, картошечки немного. Голодно нам приходится, Вася...» Покинутый я ими, а жалко мне.

Он отвернулся к стенке.

— Так, — сказал Голубовский. — А я думал, что ты есть захотел. Я, брат, так и предполагал. Думаю, есть он хочет, не догадался я его накормить.

Через минуту мы вышли. Постояли около комнаты. Огонь в лампе, косой и трепещущий, как бы торопил нас.

— А у меня вот отец, — сказал неожиданно Голубовский, — слесарем был, и черное у него постоянно лицо было. Ужасно черное. Масло не смывалось, даже удивительно. Думаю, не иначе как по причине кожи. Не иначе.

2. Дочь

На столе лежал букет сирени. Иван Мамыкин как вошел в комнату, так и понял, что букет этот Ольгин. Он вытащил из букета ветку, другие ветки потянулись вслед. Иван ударил кулаком по букету и покорил его. Потом вытаскивал ветки одну за другой и ломал. Ольга вскрикнула, увидев это.

— Ты что же это? — спросила она. — При чем же здесь цветы? Это ты вот какой!

— Сирень у нас везде растет, — сказал Иван, — на любом месте. Ну, насчет сирени мы богаты.

Она поняла, что он сейчас будет повторять то, что ей приходится выслушивать уже целую неделю.

— Наша жизнь, — произнес Иван, — наша жизнь тяжелая... Наша такая жизнь.

Он говорил еще некоторое время, говорил тихо, осторожно, прислушиваясь к своим словам. Он был уверен, что грубый смысл каких бы то ни было слов смягчается, если произносить их совсем тихо. Был момент, когда он замолчал на мгновение. Непрозвучавшее слово должно было быть самым убедительным. Иван был уверен, что Ольга, несмотря на то, что слово не было произнесено, слышала его наравне с другими словами.

Она неожиданно расхохоталась. С трудом сдерживая новый порыв смеха, сказала:

— Ведь ты мне об этом уж говорил... Ох, чудак!.. Все, все, знаю великолепно... Ну, теперь насчет лошадей скажи, да скажи же!

— Лошадей у нас муха заела. Ест и ест.

— Знаю. И отогнать нельзя муху?

— Нельзя.

Он говорил уже громко и глядел на нее со страхом.

В комнату вошел Тишаев.

— Разговоры, — сказал он, усмехаясь. — Каждый день эти разговоры. Даже мне надоело, ей-богу!

— Вот ты побеседуй с ним теперь, — произнесла Ольга. — Ты серьезно с ним побеседуй, батя, а я пойду.

— Твое дело дрянь, вот моя мысль какая, — обратился Тишаев к Ивану, когда за Ольгой захлопнулась дверь.

— Я корову куплю, — промолвил тихо Иван, — рыжую корову продают в Ильинке... Молоко богатое... Такая здоровая. Все обзаведение приобрету. Я из колхоза выйду на хозяйство...

Тишаев перебил его.

— Ты глупый парень, — сказал он насмешливо. — Ты, брат, понимай, кто моя дочь. Она в Москве учится, на рабочем факультете, а ты — про рыжую корову. Мы вот с тобой деревенские, и мысли у нас с тобой деревенские, а у ней теперь совсем другие мысли появились. Понимаешь?

— Нет, — ответил Иван. — Нет, не понимаю.

Тишаев хлопнул по плечу Ивана:

— Ну, вот видишь, не понимаешь, а все бормочешь: корова, корова, молоко богатое. Нам теперь разве корову предлагают? Того не выговорить, чего нам предлагают. Но мы дальше учиться будем.

— Если хозяйство полное, — произнес печально Иван, — то почему же... Уж, кажется, если хозяйство... Я так понимаю.

— Ничего ты, братец, не понимаешь! — сказал насмешливо Тишаев. — У тебя голова, скажу я, тяжелая, очень прескверная у тебя какая-то голова.

Иван заявил решительно:

— Мне Голубовский два раза говорил: «Ты работник, Иван, ты вполне работник и обязательно счастье свое получишь». Сам Голубовский мне говорил.

Тишаев рассмеялся:

— Ну, что ж с того, что Голубовский? Голубовский нам приказать не может. У него нет такого полного права.

Иван неожиданно закричал:

— Это с ихней стороны тоже нехорошо, Петр Тимофеевич!.. Кого хотите, спросите. Они меня любили, ласкали даже... Уж я прямо скажу, вы ихний отец, ну, что с того? Я скажу... Они ласкали меня... Вполне подробно мы уговорились перед отъездом, вполне подробно...

Тишаев отмахнулся.

— Перед отъездом — другое дело. Кто она была тогда? Дикая, вот вроде тебя, грязная. А теперь она в Москве, на рабочем факультете учится... «Ласкала»! Ну и чудак! Да ей к тебе, может быть, страшно подойти. Она, может быть, пугается теперь. Она, брат, теперь так образовалась, что лучше меня в вопросах разбирается.

Иван произнес недоверчиво:

— Ты скажешь! Уж лучше тебя!

Удивление его было искренне. Слава об уме и образовании Тишаева была велика. Не только колхозники, но и крестьяне из других деревень то и дело ходили к нему за советом, с просьбами растолковать что-нибудь, написать письмо или заявление. На земле Тишаев жил недавно. Сам уроженец Ильинки, он всю свою жизнь пространствовал, служил матросом, работал на заводах. Приехав на родину, не захотел поселиться в Ильинке, а пришел в колхоз к Голубовскому. Голубовский с радостью принял его и не раскаялся в этом. Тишаев работал хорошо. Голубовский подружился с ним. Он ценил тишаевскую преданность колхозу, втайне благоговел перед его оригинальностью, ученостью и упрекал за гордость. Тишаев был действительно оригиналом: когда два года назад он отправил в Москву дочь учиться, никто не удивился этому. От Тишаева ждали всяких необыкновенных поступков. И Иван Мамыкин не представлял себе, что Ольга могла так быстро стать образованнее и умнее отца.

— Ну, и как же? — спросил Иван. — Значит, бросить мечтать мне? Так?

Тишаев не смог ответить на это. В комнату вошел мужик. Он был лохмат.

— Здравствуйте! — сказал он с улыбкой.

— Чего тебе? — спросил Тишаев. — Веселый вы народ, тункинские мужики, только бы вам смеяться. А мне нравится это, ей-богу, нравится. Только вот что я полагаю: смеяться вам нечего вовсе, жизнь у вас, в Тункине, паршивая...

Мужик подтвердил застенчиво:

— Это действительно, наша такая жизнь.

— Хотите, вас на колхоз переведу? Ну, хотите?

Тишаев соскочил с лавки. Он соскочил так по-мальчишески ловко, что мужик даже отступил в недоумении. Тишаев был сухощав, узок и поворотлив, как молодой, и только мягонькая кожа лица, старчески дряблая, выдавала его годы.

— Чего же, — ответил мужик, обдумывая какую-то свою мысль. — Можно и на колхоз. Чем плох колхоз? Чего же... — Потом, обдумав, видно, окончательно, добавил: — В Тункине, видишь, вопрос у нас с выселками вышел. Мы их, к примеру, отделили, выселки. Тихо обошлось, а вот какую землю им давать, например? Мы хорошую землю им отдать не можем. Мы о себе хотим подумать, а они требуют. «Вы, говорят, идете против закона». Только нам такой закон не известен, чтобы свою землю хорошую отдать... Видишь, какое дело! Надо, значит, в город с этим делом, писать придется.

— Ну и возня мне с вами! — сказал Тишаев и почесал реденькую свою бородку.— Возня мне с тункинскими мужиками.

— Это верно, — согласился сочувственно мужик, — это вполне, конечно. С нашим народом возня.

— Ходите вот каждый день, — продолжал Тишаев, — а может, я занят, может, у меня работа.

— Уж насчет этого, конечно, тут чего... — Мужик зачем-то крякнул и переступил с ноги на ногу.

— Ну, давай уж, — закончил снисходительно Тишаев, — что же с вами будешь делать!

Мужик не тронулся с места. Он оглядел верхнюю часть стены, для чего-то даже повернул голову так, что, казалось, вывихнет себе шею, и, ничего не ответив, замер в прежней позе.

— Ну, что же ты? — сказал нетерпеливо Тишаев. — Говорю я тебе: давай! Показывай, что писать. Ладно уж!

Мужик произнес решительно:

— Наши тункинские приказали мне к дочке твоей обратиться. Она, видишь ли, им писала насчет лугов недавно, так моментом дело разрешилось. В городе спрашивали даже, кто так написал. Ну, вот мне наши и приказали: иди прямо к дочке Петра Тимофеевича. К ней теперь вся наша деревня ходит, и слезкинские мужики тоже к ней. Очень довольны.

Несколько минут длилось молчание. Наконец Тишаев спросил:

— Хорошо, значит, пишет моя дочь-то?

— Да уж куда лучше!

— Ну вот, — произнес Тишаев, отворачиваясь, — ну вот и прекрасно! Очень рад даже.

Он подошел к окну и крикнул:

— Ольга!

Через минуту она вошла в комнату.

— Вот к тебе из Тункина пришли, — сказал он.

— Из Тункина,— подхватил мужик.— У нас, видишь, дело какое вышло с выселками. Насчет земли. Надо бумагу в исполком писать.

— Вовсе не в исполком, а в земуправление надо писать, — сказал Тишаев и отвернулся.

Мужик, не обращая внимания на Тишаева, продолжал:

— И чтобы все подробно. Все нужно объяснить исполкому: мы лучшую землю отдать не можем. Это никак!

Тишаев еще несколько минут прислушивался к разговору мужика с дочерью, потом сказал решительно, обращаясь к Мамыкину:

— Идем, Иван!

Они вышли. Тишаев что-то обдумывал, потом сказал:

— Жалко мне тебя, Иван, тронул ты мое сердце.

Иван жалобно улыбнулся.

— Идем, — продолжал решительно Тишаев. — Я полагаю, не дело тебе так мучиться. Я тебя пожалел.

Через несколько минут они пришли к Голубовскому.

— Вот какое странное дело,— заявил Тишаев.— Тут, Андрей Андреевич, возникает вопрос. Иван, я скажу, вполне хороший парень.

— Ну и что же?

— И дело ему поручено серьезное, на скотном дворе он самый нужный человек, я полагаю.

— Правильно.

— Он как же теперь свое дело будет исполнять? У него, может, теперь скот испортится. А скот, я вам, Андрей Андреевич, скажу, в настоящий момент нам дороже всего. Безусловно это так.

— Да что ты путаешь? Ты проще, — сказал нетерпеливо Голубовский.

— Он скоту не может теперь оказывать внимания, — продолжал Тишаев, — у него теперь другие мысли появились.

— Это какие же мысли?— расхохотался Голубовский.

— Насчет моей Ольги,— сказал Тишаев.— Насчет ее у него мысли. Она ему нравится очень, а он ей, видите, нет. А раньше они друг другу слово дали, обещались.

— Ну и что же? — спросил Голубовский.

— Не лучше ли ей уехать, думаю? — ответил Тишаев. — Тревожит она парня, да еще кое-кто из нашей молодежи на нее заглядывается. А она теперь такая стала, что на них внимания обращать не будет, а ребята досадуют и на работу в связи с этим поплевывают. Нравится им Ольга. Я так полагаю: пусть едет. Чего ей здесь? Побыла месяц — и ладно. Чего ей до осени здесь сидеть? Сейчас в Москве небось хорошо для нее, пусть в Москву едет.

Голубовский сказал, усмехаясь:

— Чего же ты? То говорил, все о дочке скучаешь, а как приехала, так выживать.

— Я о скоте думаю, — ответил Тишаев, насупившись. — У меня мысли правильные. У нас теперь скот дороже всего.

— О скоте ты думай, — сказал Голубовский, — это очень хорошо, что ты внимательный к хозяйству.

Они помолчали.

— Вот что я тебе скажу, — произнес Голубовский решительно, — я приказать никому не могу. И Ольге не могу. Пусть живет, сколько захочет, гнать ее нечего. А что парни на нее заглядываются, это, братец мой, молодость! Это мне нравится, и хорошо это. А потом, она теперь девица сильно грамотная, ребята наши около нее многому научатся. Это для них очень полезно. Удивляюсь я тебе, что ты этого не понимаешь.

— Я насчет скота ведь, а мне что же? Пожалуйста!— промолвил вяло Тишаев. — Я ведь наоборот...

Он постоял еще некоторое время и вышел.

— У каждого человека в характере своя особенность, — помолчав, заметил Голубовский. — Он вот, Тишаев, симпатию чужую любит. Очень любит. Ему в жиз-

ни нужно обязательно, чтобы ласкали его и почтение оказывали. Ведь я его ох как понимаю, Тишаева... — И, вздохнув, добавил: — Полагаю, оттого это происходит, что тяжело мы живем, каждый день — это, брат, трудная задача. Вот и придумывает каждый из нас для себя утешение и облегчение. Кому что, а Тишаеву вот ласка требуется. Вкусы разные у всех!

Тем временем Тишаев медленно шел по улице. Около своего дома он остановился. Слышен был через открытое окно голос мужика, повторяющего слово «исполком». Тишаев представил себе сейчас мужика, и он сделался ему ненавистным.

— Я плавал в морях, — сказал громко Тишаев. — У меня что же, может быть, в жизни ничего не было, скажете?

В этой фразе прозвучал вопрос. Но ответить на него было некому.

Тишаев вошел в свой дом. Заявление в исполком было почти написано. Через минуту Ольга сказала, улыбаясь:

— Кончили наконец. Путаница какая! Устала даже. — Потом, обратившись к мужику, добавила: — Ну, слушай, прочту я тебе.

— Пора обедать, — заявил Тишаев строго.

— Я только прочту, батя!

— Пора обедать! — повторил Тишаев настойчиво.

Мужик, чувствуя большое смущение, взял из рук Ольги заявление и тихонько вышел.

— Пора обедать, — повторил Тишаев, хотя видел, что Ольга уже достает из шкафика посуду и накрывает на стол.

3. Коготков

Я вошел в дом как раз в тот момент, когда человек в изодранной синей рубашке сказал Голубовскому:

— Просьба, значит, моя без удовлетворения... Не можете вы, значит... Так...

Он помолчал мгновение, подыскивая, видно, нужное, убедительное слово, потом надумал и сказал совсем тихо:

— Хладнокровность ваша, и ничего более. А у меня, видишь, тело плачет... Да...

— Ишь ты, — произнесла Аксинья не то со смехом, не то с сожалением. — Выражаешься ты чудно! А где рубашку-то порвал? — Лицо ее стало строгим. — Небось по чужим дворам лазил, за чужим добром... У нас вот вчера два молочника пропало, новенькие...

— Уйди, Аксинья! — сказал строго Голубовский.

— Верно, тетенька, уйдите, — подхватил человек в изодранной рубашке. — У нас с председателем тихий разговор, а вы его злобно срываете.

— Я не могу тебя принять в колхоз, — произнес Голубовский решительно. — Пойми, чудак, вся «Заря» — двенадцать домов, хозяйство маленькое, только-только жить начинаем... Земли совсем мало. Кого, спрашивается, мы можем принять? Ведь вот третий раз тебе это повторяю. Больше и говорить с тобой не хочу, не буду я с тобой говорить больше.

— Может, возникли сомнения насчет личности? — спросил человек в изодранной рубашке, отступая.

— Нет, что ты!

— Прохожего народу много, — продолжал человек, точно не слыша ответа Голубовского. — Каждому ежели довериться, то это что же получится? Тем более одежонка у меня рваная. Но я в дорогу так одеваюсь, ты не думай, пожалуйста, у меня, милый человек, такая дома одежа есть! .. Лучше твоей во сто раз.

— Это неважно, — сказал Голубовский.

— Как неважно? — Человек в изодранной рубашке полез в карман. — У меня, видишь, и документы есть.

— Не надо, — остановил его Голубовский, — какие еще там документы? Не требуется этого совершенно.

— Может, вы думаете, я таинственный человек или иностранец какой? Конечно, принять любого можно, примешь, а потом наплачешься, что верно, то верно.

Он силился достать что-то из глубокого кармана, глуша в себе суетливость и нетерпение. Он хотел казаться степенным, солидным.

— Не надо нам документов, — повторил Голубовский. — Не думаем мы, что ты иностранец.

— Не надо... — повторил человек в изодранной рубашке упавшим голосом. — Да разве человека без документа узнаешь? Не написано на мне, что я Коготков Иван Сергеич, а я именно Коготков этот и есть.

Он путал слова, видно не зная, что сказать, и речь его, как деревенский частокол, была неровная и кривая.

Под окном прошли телята, нежные и тихие.

— Ишь какая скотинка у вас! — сказал Коготков.

— Понравилась? — спросил я.

Коготков посмотрел на меня так, как будто бы хотел уничтожить. Я понял, что вопрос мой показался ему насмешкой, и добавил зачем-то:

— Скотина хорошая.

Коготков продолжал, не глядя на меня:

— От хорошей жизни и скотина, безусловно, хорошая бывает. Только чтобы животная лучше человека жила, — это, по-вашему, порядок, я спрашиваю?

Он подошел к окну и через мгновение перемахнул во двор. Теленок бросился бежать, но не успел.

— Коровка, — говорил Коготков с убеждением и торжеством, точно делал какое-нибудь важное открытие, — порода украинская. Видишь, жир у ней бугром идет, а кость широкая...

Теленок отчаянно закричал.

— Оставь телка, — коротко приказала Аксинья, — не тискай!

— Вы, тетя, не сомневайтесь, — сказал Коготков, — я всегда могу телка вашего тискать, порчи ему от этого не будет никакой. Наше дело хозяйское, свычное. Было нас у отца, видишь ли, трое сыновей: я, брат старший, Петр Сергеич, потом...

— Оставь телка! — сказала Аксинья еще строже.

Освобожденный теленок бросился наутек. Коготков хотел влезть в окно, потом передумал и пошел кругом.

— Видишь ты, — сказала Аксинья, — как-никак поступки знает, стыдится.

Когда Коготков вошел в комнату, я заметил, что главная дыра на груди его синей рубахи оттянута вбок и заколота английской булавкой. Одна штанина безобразно опустилась, лишенная, видно, помощи этой самой английской булавки.

— Скучаю я по хозяйству, — сказал Коготков. — Кто с малых лет привыкши к хозяйству, тот нигде для себя спокою иметь не будет. Уж, кажется, как в городе жил я великолепно, а все не то.

— Эх ты, чертушка! — рассмеялась Аксинья. — Ну, что ты важность на себя напускаешь — «жил великолепно»! Где же это ты жил великолепно? А? Погляди на себя!

— Ну, ну, ты, баба! — сказал Коготков с ненавистью и отступил в угол, в тень.

Вид его действительно никак не указывал на то, что жил он недавно великолепно. Под рваной синей рубашкой и затасканными до отчаяния штанами местами просвечивало гаснущее сухое тело. Лицо Коготкова было маленькое, изуродованное оспой. Один глаз не закрывался. И это казалось не физическим уродством, а почему-то тоже нищенством.

— Значит, никак нельзя? — спросил Коготков. — Нельзя меня, значит, в колхоз принять? Ты скажи, председатель, последнее твое слово.

— Нельзя, — ответил Голубовский. — Не можем мы тебя принять. Ведь я же объяснял тебе.

— Так,— сказал Коготков, выходя из угла́. — Так, очень понимаем... — И вдруг закричал злобно: — Коллективное хозяйство это называется! Для бедноты, для трудящихся!.. Так?..

— Ты пойми, — сказал с отчаянием Голубовский.

— Значит, для того мы советскую власть защищали, чтобы бедноте ход закрывать?

Голос его повышался, переходил в крик.

— Значит, вы окопались, а другим не надо?!. Так, очень понимаю. Только ты не думай: я — тихий человек... Я в городе такого приятеля имею, что, будьте любезны, живо вас распатронит... Черти сытые!..

Он вытащил дрожащей от волнения рукой толстый, рваный кошель, достал оттуда грязную бумажку и огрызком карандаша, извлеченным из того же толстого кошеля, начал что-то писать, прислонясь к стене.

— Как твое фамилие? — спросил он грозно.

Голубовский ответил.

— Председатель?

Я увидел, как по лицу Голубовского проскользнула гримаска.

— Коммунист? — спрашивал тем временем Коготков.

— С пятого декабря семнадцатого года, — ответил

Голубовский машинально. Лицо его показалось мне страдающим и усталым.

— Ишь пугает-то как! — сказала Аксинья. — Ах какой страшный!.. Испугались тут его, как же, такого...

— Был бы ты женатый, — произнес в раздумье Голубовский, — тогда еще мог бы быть разговор. Нам женский труд нужен... Огороды у нас...

Лицо Коготкова стало радостным.

— Что ж вы раньше мне не сказали? — произнес он с хохотом.

Этот переход от гнева к радости был таким неожиданным, что мы рассмеялись вместе с ним.

— Женатый ты, что ли? — спросил Голубовский.

Коготков махнул рукой:

— Какое дело, подумаешь! Женюсь... Насчет этого не беспокойтесь...

— Так ты не женатый? — спросил Голубовский.

Коготков ответил, смеясь:

— Вы не сомневайтесь, за этим дело не станет. Разве долго?

Аксинья спросила:

— Кто ж за тебя, за такого, пойдет?

Коготков нахмурил брови:

— Это, то есть, за какого это за такого? Как понять эти слова? — Потом неожиданно улыбнулся. — За меня любая пойдет, — сказал он. — У меня характер золотой. Я не могу человека обидеть. Сама, тетенька, за меня пойдешь.

Он старался изобразить на худеньком лице своем игривое выражение. Аксинья не успела даже разозлиться на такие его речи. Он двинулся к ней, ласково и властно, совсем так, как это делают парни, когда первый период ухаживания прошел и девушку можно обнять просто, без стыда.

Он приближался к ней, маленький, тощий, к ней, дородной, суровой колхозной стряпухе.

— Что ты? — спросила Аксинья, в недоумении и страхе отступая.

— Эх, тетенька! — сказал ей Коготков, подмигивая, и лицо его стало совсем хитрым.

Он протянул к ней руку, и английская булавка, пря-

чущая главную дыру синей рубахи, отскочила. Грудь обнажилась.

— Ишь ты! — сказал Коготков, в смущении отступая. — Рвется вещь.

Он силился захватить булавкой дыру, но ему не удавалось это: дыра расползалась все больше.

— Ты не сомневайся, — сказал он Голубовскому, — я к бабе любой могу подойти, мне никакая не откажет.

Потом приблизился и прошептал, подмигивая в сторону Аксиньи:

— Видишь, липнет как. Я ж говорю — будь спокоен. Для меня это плевое дело. Раз, два — и готово.

— Давай кончать, — сказал Голубовский. — Кончать будем этот разговор, поздно становится. Мне на рыбалку пора.

— Значит, это ваше последнее слово? — спросил Коготков. Он держал в руках кошель, набитый ветхими бумажками. — Прочти, — сказал он, подавая кошель Голубовскому.

— Зачем же? — спросил Голубовский. — Не надо этого. — Но неожиданно согласился, развернул бумажку и начал читать:

«Дано сие Коготкову Ивану Сергеевичу в том, что он действительно...»

Коготков слушал внимательно. Полузакрытый глаз его умер окончательно на лице. Изредка Коготков порывался вставить замечание, но каждый раз сдерживал порыв, очевидно боясь спугнуть торжественность, навеянную канцелярским пафосом и выразительной строгостью удостоверений. За первой бумажкой последовали другие. Они появлялись из кошеля одна за другой, эти листочки, покорные, мнущиеся от времени, теряющие молодость и способность вызывать трепет, волнение. Эти удостоверения писались разными людьми, в различных углах огромной страны, но во всех было одно и то же: смешная старческая мудрость и любовь к порядку. И Коготков представал в них в разных видах, не похожий на самого себя.

Вот идет он по польской земле, в ряду таких же, как и он, красноармейцев сорок четвертого красного полка. Днем он весел, а вечером у костра тоскует по своей зевающей Тульской губернии и поет песню, охающую и

томную, набитую, как мешок камнями, круглыми ярмарочными непотребными словами.

Вот лежит он в лазарете, и терпкий крик воронья не дает ему заснуть.

Вот сидит он в школе, маленький деревенский мальчик. Он окончит школу через год, так как этот срок определен достаточным для усвоения мудрости, необходимой пахарю.

Коготков слушал внимательно, точно сам впервые узнавал о себе диковинные факты.

Когда были прочтены все удостоверения, он взял их из рук Голубовского, положил обратно в кошель и, не говоря ни слова, пошел к двери.

В коридоре его нагнал Голубовский.

— Есть небось хочешь?

Коготков не ответил.

Через полчаса он сидел на кухне. Перед ним стояла миска с рыбой. Аксинья принесла ему опорки.

— Надень, — сказала она, — ишь, ноги-то у тебя какие!

— Срывали вы наш разговор, тетя! — произнес с горечью Коготков. — Уговорил бы я его, председателя вашего. А то куда мне теперь деваться? Деваться мне совершенно некуда.

Вскорости он ушел.

Я спросил Голубовского:

— Зачем вы читали эти его бумажки? Разве могло бы это как-нибудь повлиять?

Голубовский ответил, хмурясь:

— Человеку легче бывает, когда вникают в его дело. — Потом добавил: — Вот ходят такие, душу в клочья рвут каждый раз. Разве мы не рады бы его принять? Но что поделаешь, нужно соблюдать норму, в этом залог нашего роста. Тут мокнуть сердцем нельзя, та же война. Вы поверьте...

Я сказал, желая развеселить Голубовского:

— А как он грозил вам, помните?

Но веселости не получилось. Голубовский зло поглядел на меня и ответил с неудовольствием:

— Грозил потому, что в праве. Обидно ему. Мы вот немного оправимся, возьмем другого такого же. А он, может, и не дойдет до теплого-то места... Обидно ему.

В дверях остановилась Аксинья.

— Что ты? — спросил Голубовский.

— А может, вернуть? — сказала она.

— Кого?

— Да мужчину этого.

— Ты не влюбилась ли в него на самом деле? — спросил шутливо Голубовский.

— Обходительный какой,— сказала Аксинья.— Рыбу всю есть не стал, поблагодарил, в бумажку завернул и пошел.

— Чего же ты хочешь от меня? — спросил Голубовский неожиданно резко.

— Вы, Андрей Андреич, каждого норовите проводить со двора, — сказала Аксинья. — Этого тоже не может быть. . .

— Уйди, Аксинья, — сказал Голубовский с усилием. И, обернувшись ко мне, произнес: — Обратите вот внимание.

— На что? — спросил я.

— Обратите внимание, — настойчиво повторил Голубовский, не поясняя. — Обратите внимание, ведь не велел же я возвращать его, а она вон понеслась как угорелая. Сейчас приведет. Ну, никакой дисциплины в колхозе нет. Никакой! . .

Я выглянул в окно. Подталкивая Коготкова в спину, Аксинья вела его в сторону дома, и он шел, не сопротивляясь, но во всей фигуре его, тщедушной и неказистой, ощущалась тяжкая борьба самолюбия с жестокой необходимостью.

ОКРАИНА

I

Александр Петрович Грешин видел на небе пятна, и потому рассуждение его о небе было очень простое: на небе есть пятна — небо не годится. Александр Петрович был портным, и, если бы заказали ему сшить из неба брюки, он отказался бы.

— Выведите сначала пятна, — сказал бы он, — бракованный материал не принимаю, выведите пятна, тогда сошью брюки. Я портной из Риги.

Вот как выразился бы Александр Петрович о небе. Никакой благодати он не признавал, красот природы не понимал, не верил ни в бога, ни в черта, насмешничал над недостатками жизни, и на Заборной улице вследствие всего этого относились к нему недоверчиво, с опаской, вообще недолюбливали.

О небе произошел как-то раз такой разговор:

— Мы просим вас не касаться неба, Александр Петрович. Нам наплевать на то, что вы портной из Риги. Небо — это единственное, что есть прекрасного у нас на Заборной улице, на окраине. Оставьте, пожалуйста, насмешки ваши.

Александр Петрович ответил на это так:

— До неба далеко, земля близко, и ее поэтому забросали окурками, заплевали, изгадили. До неба не доплюнешь — до неба далеко, а человек заплевывает все, что близко. Ему небо подставь — он и на небо начнет плевать, про божественность забудет моментально. Небу, я

так считаю, просто-напросто повезло в том смысле, что оно далеко находится. Оттого оно и благодатное.

Однажды у Александра Петровича даже обыск сделали.

— Вот мы посмотрим, отчего идет такое неверие, — сказал околоточный надзиратель, производивший обыск. — Причины такого поведения, на которое все указывают, мы сейчас обнаружим.

Но причины обнаружены не были: ничего недозволенного у Грешина не нашли. Несмотря на это, обитатели Заборной улицы стали относиться к Грешину с тех пор еще более подозрительно. Так уже велось на Заборной улице: сделает полиция у кого-нибудь обыск, обнаружит или не обнаружит что-то неподобающее, но все равно человек после обыска становится подозрительным и даже опасным.

Когда Александр Петрович однажды заболел, никто из обитателей Заборной улицы не допускал мысли о том, что он может умереть: Александр Петрович был портным, и все поэтому уверены были в том, что живет он на свете прочнее всех, потому что прикрепляет его к жизни вывеска: «Шью бруки, а также переделка». Большинство людей на окраине вывесок не имело, и людям этим, привыкшим к синей вывеске Грешина, казалось, что Грешин бессмертен.

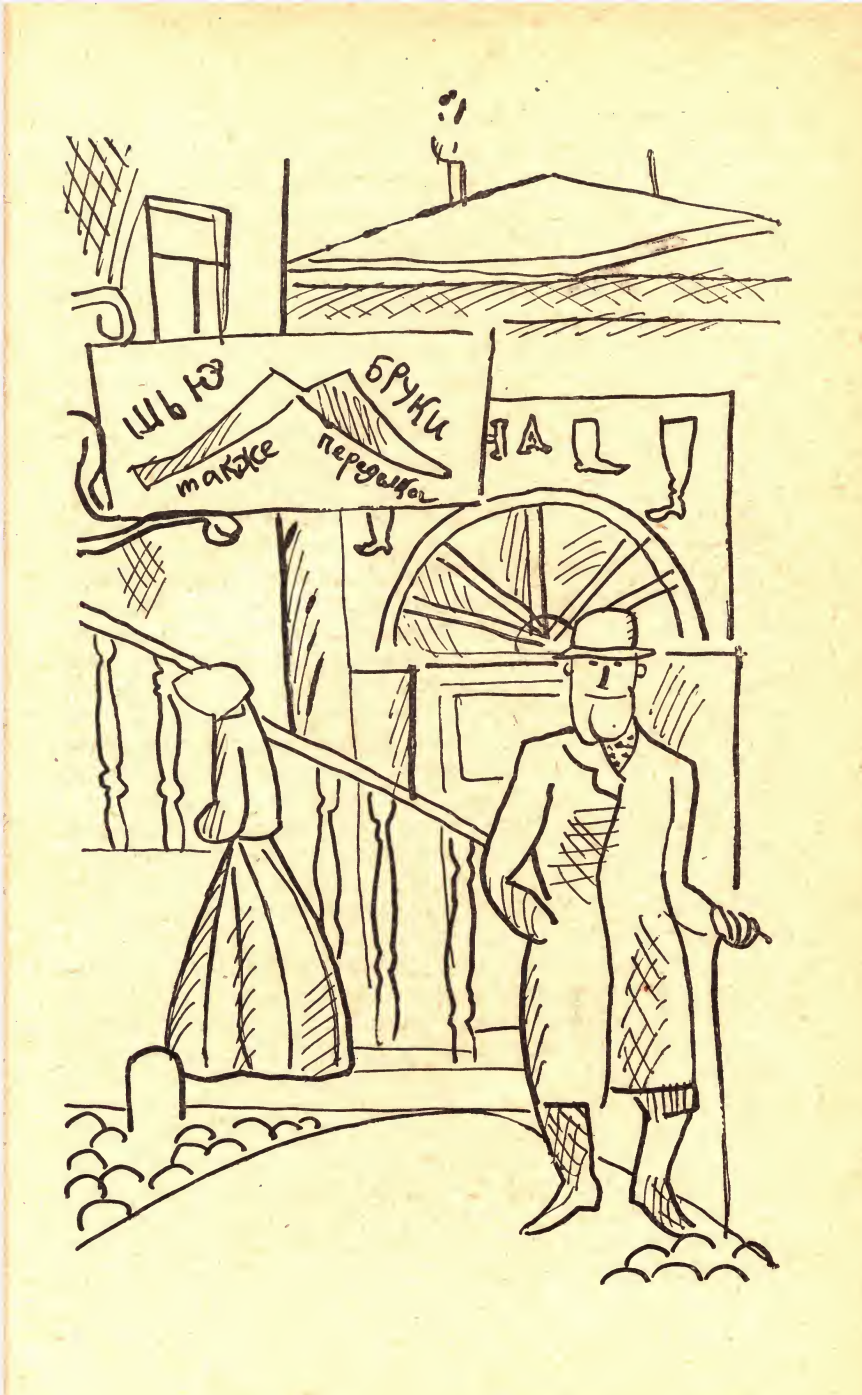
— Помрешь если ты, Александр Петрович, — сказал приятель Грешина, сапожник Филов,— другого портного найдем, посадим его на твое место и вывеску твою сохраним. Она дом украшает. Тем более фамилии твоей на ней не написано, портной и портной.

— Не желаю! — перебил Филова Александр Петрович, которому очень обидными показались эти слова. — Не хочу, не желаю, требую, чтобы сорвали мою вывеску.

— Вы этого требовать не можете. Это уже дело после вас будет.

— Тоска мне с вами, — злобно сказал Грешин, — вы хотите и желаете, чтобы все по привычке было. Скучный вы народ. Только и норовите о себе рассказать, а что вы такое интересное о себе рассказать можете?

— Это верно, — вздохнул Филов, — ничего интересного нет. А насчет привычки вы правы. Три года назад, помните, у нас на Заборной улице трактир Зыбина в зе-


шью брюки
также переделка
НА

леный цвет выкрасили. Я месяц целый, как ни пройду мимо, все что-то беспокоюсь, все ищу чего-то, все чего-то мне не хватает. Жизнь наша плохая, об этом спорить нечего, но люди ничего — привыкли и живут. Так не надо людей привыкших смущать. Привыкли они — и ничего как будто бы.

Грешин хотел возразить Филову, возразить, по обыкновению своему, резко, но сдержался.

Филов был одним из немногих людей, не покинувших Грешина теперь, во время болезни. Было очень скучно Грешину, и дорожил он теперь каждым собеседником.

Грешина не любили обитатели Заборной улицы, многие даже ненавидели за насмешливость, за гордость, но главным образом за то, что, будучи простым мастеровым человеком, таким же, как и они, он признавал только интеллигенцию.

Он ходил в гости к студентам, обитавшим в дешевых квартирах углового дома, и, ко всеобщему удивлению, робел перед этими студентами. Студенты не навещали его сейчас, они вообще не обращали на него почти никакого внимания, подсмеивались над ним, но, несмотря на это, он отзывался о них почтительно.

— Сами-то вы кто? — спрашивал иногда раздосадованный таким почтительным отзывом какой-нибудь сосед. — Вы наш же, простой человек, мастеровой.

— Я книжки читаю, — отвечал Грешин, — прочти ты столько книжек, сколько я прочел, тогда узнаешь, кто я такой.

Книжки стал он читать, впрочем, недавно. Как-то раз попался ему случайно на глаза учебник географии Крубера. Грешин никогда нигде не учился. Он не знал, что учебники читают по маленьким частям, и прочел учебник в один присест, как прочитывают повесть. Но заинтересовался географией и с тех пор стал вообще интересоваться книгами.

II

Мария пришла домой поздно, Филов еще сидел у кровати Александра Петровича.

— Все ходишь, счастье ищешь, — сказал дочери Александр Петрович. — Эх ты, курица!

Мария ничего не ответила на это. Она привыкла к таким словам.

— Теперь, — сказал Филов, чтобы как-нибудь отвлечь Грешина, — теперь аккуратность всех заела: каждый парень в кепке ходит, ботиночки и все такое. Я вот когда, скажем, в ученье был, каждой пуговице радовался, каждой малейшей пуговице, а уж если поясок там какой-нибудь — тут и не говори. А в настоящий момент каждый норовит только чисто ходить, и больше ничего он совершенно знать не хочет. А я так спрошу: заслужил ли он, является ли он действительно тем человеком, — вот что я спрошу.

Мария прошла в свою комнату. В комнатке пахнет мылом. Мария никогда не выбрасывает ярких пахучих оберток от мыла. Она булавками прикалывает их к стене. Обертки пахнут, как цветы, высыхают вскорости и осыпаются со стен. И с пола никогда не возвращаются они на стенку, как никогда не возвращаются на ветки опавшие листья. Все эти обертки, ленты, перья доживают на стене остаток жизни. Они не служат, а украшают. Если упали со стены, значит, дряхлые, значит, некрасивые, значит, не нужны. Если упали со стены, значит, мусор.

Их можно сравнить с теми стариками, которые живут из милости на хлебах у родственников. Эти старики украшают семью благодетеля, они служат наглядной иллюстрацией добрых и возвышенных чувств, имеющих место в семье. Но все это до тех пор, пока не приходит последняя пора старости, или, вернее сказать, до тех пор, пока не уходит последняя красота старости. Нахлебники становятся тогда жалкими, они больше не украшают, они вызывают только отвращение, они — мусор. Их переводят куда-нибудь за ширму и считают дни, оставшиеся до их смерти.

Тихий холодок сырости сочится из темного угла. В комнате Марии, как и вообще во всех комнатах этого большого каменного дома, сыро, и в каждой комнате сырость пахнет по-разному: где угаром, где пóтом и махоркой, где бельем, а где, как у Марии в комнате, мылом, парфюмерией. Душная сырость.

Мария открыла окно. Окраина окружала ее. Огни мерцали в небе, и хотелось один из этих огней, как голубя, впустить в комнату.

Мария — «вековуша», старая девушка, ей тридцать пять лет, но комнатка ее молодая, стыдливая. Трепетный подзеркальник, как балалаечная струна, звенит флакончиками, коробочками, разными безделушками. Нет такого места в комнате, куда бы можно было уйти от подзеркальника, — не только шагам вторит он, но и голосу. Хочется поэтому говорить тихо, чтобы не вмешивался подзеркальник в разговоры. Занавесочки на окнах линялые, чистые, никуда не могут улететь, но лететь хотят. Кусочки хрупкой канвы, вышитые затейливым узором. Молодая комната.

Изо всех сил удерживает молодость своей комнаты Мария, и не стареет комнатка поэтому, попискивает, поскрипывает, просит приласкать. Но наступит день, когда пожелтеют занавески, и будет видно, что вовсе они никуда не хотят лететь, умолкнет подзеркальник, запылятся стены.

Когда молод человек, то невольно молода и его комната, хоть никакого внимания не обращай он на нее; а когда стареет человек, стареет вместе с ним и комната, и очень трудно сберечь ее молодость.

Мария надеется еще выйти замуж.

По вечерам ходит она на бульвар. Бульвар этот на пустыре, между стен больших домов. Он тощий и дырявый. Скамейки и деревья — из одного сухого мертвого материала. Реденькая пыльная трава. Пахнет помадой, к ночи наполняется бульвар людьми, летает пыль от шарканья ног, хлопают пробки бутылок в буфете, тесно, душно, и бульвар кажется совсем не бульваром, а закрытым помещением.

Мария просиживает на бульваре подолгу. Никто не интересуется ею. Она наблюдает свидания влюбленных, и иногда коротенькая какая-нибудь любовь трогает ее до слез. Счастье парочек, посещающих бульвар, кажется Марии недосягаемым, огромным.

Александр Петрович знал об этих ежевечерних прогулках дочери. Он спрашивал ее:

— Ну чего ты на бульвар ходишь? Себя только расстраиваешь. Сидела бы дома.

Филов, присутствовавший иногда при этом, говорил укоризненно:

— Напрасно ты так, Александр Петрович. Каждая девушка счастье ищет, и ничем ты ее не удержишь, и никогда она искать не перестанет. Как же иначе?

Мария смотрела на Филова с благодарностью, он был единственным ее другом.

III

Обитатели Заборной улицы не ошиблись. Александр Петрович выздоровел и стал работать по-прежнему. Летом этого года объявили войну, ту, которую впоследствии назвали первой мировой.

. С момента объявления войны стали незаметными пешеходные простые пути, проселки, тропинки, будто бы их никогда и не было. Загремели железные дороги. Они точно для того открылись, чтобы обслуживать войну. Преобладало прямое сообщение. Москва — Южный фронт — прямое сообщение. Петроград — Восточный фронт — прямое сообщение. Россия стала страной прямых сообщений. Жизнь — смерть — прямое сообщение через Жмеринку, Трехполье, Канавино. Из вагонов не высовываться.

Железнодорожный билет стал удостоверением. «Дано сие Ивану Ивановичу Иванову в том, что он действительно живет на свете...» Маленький кусочек неказистого картона — железнодорожный билет — удостоверял, что предъявитель его едет на свадьбу, по семейным обстоятельствам, проведать приятеля, удостоверял, что предъявитель его будет гулять по улицам, смеяться. На войну умирать ехали без железнодорожных билетов. Это вносило ужасное беспокойство.

— Завтра Коля уезжает. Поезд в двенадцать четырнадцать.

— А билет он уже купил?

— Ему билета не надо.

— Ах вот что! Бедная, бедная ты, Варя.

Русские люди привыкли к железнодорожным билетам. Они привыкли «выправлять» его в кассе, обращаться с ним бережно и торжественно. Теперь они ездили без билетов. Иногда призывник, обалдевший от криков, от паровозных гудков, от слез, в ту последнюю минуту расставания, когда крики переходят в стон, начинал искать

настойчиво и торопливо во всех карманах железнодорожный билет. Он искал в эту минуту семейные обстоятельства, свадьбу, прогулки по солнечным улицам зеленого города.

Вместе с прямым сообщением преобладали в те времена «прямые и ясные» слова: «За царя, за веру, за отечество». Все было упрощенно и понятно всем. Ну кто же в самом деле не поймет такие слова: «Положить живот свой за отечество»? Каждый поймет!

— А что я раньше законов физики не понимал и наизусть «Слово о полку Игореве» выучить не мог, так это, я полагаю, теперь, перед лицом великих событий... И как я есть солдат Фанагорийского полка, покрывшего славой... За родину...

— Правильно, правильно, голубчик. Ну что за разговоры о прошлом.

Мария замуж все не выходила. Теперь, впрочем, жилось ей легче. Было теперь много вдов на Заборной улице. Мария внимательно наблюдала за ними и мало-помалу уверила себя в том, что и она, Мария, вдова. Так, не пережив радости замужества, переживала она горечь вдовства. Горечь эта была приятна. Иногда Марии казалось, что она, Мария, не вдова, а солдатка, что муж ее там, где много сейчас мужей и женихов, — в окопах. Она ждала возвращения своего мужа. Пусть приедет он искалеченным, убогим, все равно она будет его любить.

Но муж Марии не возвращался. Уже много людей возвратилось с фронта домой. Возвратились из военной России в Россию мирную. Границы между Россией мирной и Россией военной были в самых различных местах. Лежит человек на койке в санитарном вагоне, едет по военной России и вот видит вывеска — станция Орел. Вывеска покривилась, на ней пятно, похожее на человеческое лицо, — совсем не изменилась вывеска с тех пор, как видел ее человек два года назад, когда ехал на фронт, когда было у него две руки, а не одна, как теперь. Вывеска такая же, какой была тогда, и пыль вьется по перрону так же, как в тот день, и дверь вокзала скрипит по-прежнему. Тут человек переходит границу. Оказывается, здесь эта граница, здесь, в Орле. Отсюда потя-

нется по обе стороны пути мирная Россия. Человек — на своей родине.

Другой найдет неожиданно в сундучке своем открытки с надписью: «Кого люблю, тому дарю» — и неожиданно перейдет границу, попадет в мирную Россию даже верст за двести от станции Орел.

Мирная Россия была страной воспоминаний. Границы ее были как тень от предмета на солнце: сегодня здесь и завтра здесь, а послезавтра перенесли предмет, и не будет здесь тени больше никогда. Так непонятно и даже таинственно были отдалены люди от своей страны.

IV

Верстах в трех от Заборной улицы за городом основали лагерь для военнопленных: несколько деревянных бараков, огражденных проволочным заграждением. Проволоку зачем-то выкрасили зеленой краской, и оттого, что вокруг была свежая зелень, проволока была незаметна. Осенью проволока становилась заметнее, зимой же она была видна отчетливо. Военнопленные не совершали никаких преступлений, они не испытывали угрызений совести, и летом подчас забывали, что находятся в тюрьме, но зимой это ощущалось точно.

— Сколько времени пробыли вы в плену, Коре?

— Две зимы, то есть, простите, два года.

На третий год войны лагерное начальство, убедившись окончательно в том, что пленные ведут себя примерно и о побеге не помышляют, отменило одну за другой все прежние строгости: пленных беспрепятственно стали выпускать за границу лагеря.

Фридрих Раскоттен любил ходить в город. Он два года прожил в лагере и за это время научился немного говорить по-русски. С Марией Грешиной Раскоттен познакомился на бульваре. Они целый час просидели молча рядом на скамье, потом Раскоттен спросил Марию, не знает ли она, который час. Мария ответила. Они познакомились и разговорились. Вопрос Раскоттена был предлогом для знакомства. Раскоттену совсем не нужно было знать, который час. Он никуда не торопился: в лагере не было уже в то время никакой дисциплины — кормить

пленных было нечем, был голод в лагере, и если кто-либо из пленных пропадал на два-три дня, лагерное начальство было даже довольно.

В первый вечер Раскоттен высказал Марии весь запас знакомых ему русских слов. Слов было немного, их хватило часа на два. При следующем свидании пришлось повторить прежний разговор.

— Как вам живется в лагере? — спросила опять Мария.

— Плохо, — ответил, как и в первый раз, Раскоттен.

— Давно ли в плену? — спросила опять Мария.

— Третий год, — ответил, как и в первый раз, Раскоттен.

Так беседовали они несколько вечеров. Но одни и те же слова каждый раз приобретали новый смысл. Он, оторванный от семьи, от родины, три года проживший в грязном, душном, отвратительном бараке, и она, не встречавшаяся почти никогда с мужчинами, робкая старая девушка, — оба они могли, в сущности, вовсе не разговаривать, могли молчать, и все равно им было бы хорошо друг с другом. Разговор, состоявший из двух-трех десятков слов, был даже лишним. Раскоттен при разговоре с другими русскими заменял недостающие слова жестами, движениями рук, головы. С Марией он так объясняться не мог. Посудите сами: сидят на скамейке под зеленью молодой человек и барышня, и молодой человек вдруг начинает вертеть головой, размахивать руками, делать какие-то знаки. Будет ли это красиво? Ведь, может, эти жесты, движения, знаки оборвут мотив, тот строгий и ласковый мотив, который всегда беззвучно поют молодые люди на любовном свидании.

— Давно ли вы в плену?

— Третий год...

И этого было вполне достаточно для счастья.

Они встречались ежевечерне. Как-то раз Филов, случайно проходивший по бульвару, заметил их. Филов уж несколько месяцев жил у Грешина. Дом, в котором прежде обитал Филов, самый дряхлый на Заборной улице, лишенный какого бы то ни было ремонта, разрушился, и Филов с радостью принял предложение Грешина перебраться к нему. Филов был холостяком, сборы его были

недолги, вещи отнюдь немногочисленны: сундучок, чурбан, обитый кожей, ящик, заменявший стол, инструменты. Когда уходил Филов из своей комнаты, нечего было ему снять со стены. Прожил он в этой дряхлой комнате много лет, ничего за все время не повесил на стену. И оттого, что нечего было снять со стены, и оттого, что все вещи он унес в руках, показалось Филову, что была это вовсе не комната, а привал в поле, привал, где нет стен, где поэтому ничего не вешают, а все кладут в кучу, привал, к которому привыкаешь часа за два-три отдыха, но который забываешь, как только покинешь. Филов даже вернулся обратно поглядеть в последний раз на свою комнату. Он не обжил ее за долгие годы. В комнату эту не приедет новый жилец: завтра дом будут ломать; завтра вместе с досками в куче будут лежать неизвестно откуда появившиеся кирпичи, железки; завтра здесь будет пустырь. Филов почувствовал радость оттого, что уходит отсюда.

«Одинокая жизнь, — подумал он. — От нее все и происходит. К дому своему одинокий человек по-настоящему привыкать не может. Вот если бы, например, дети были, обосновались бы они, распространились бы; каждая вещичка в комнате прилипла бы, свойственницей комнате была бы. И все бы пришлось отдирать — не то, что теперь — взял в руки чемодан и пошел, будто и не жил здесь никогда».

Увидев на бульваре Марию и немца, Филов встревожился.

— Советую присмотреть, — сказал он в тот же вечер Грешину. — Все-таки немец — чужой человек, а она барышня.

— Не видал я его, — сказал Грешин, — но уж безусловно он почище будет наших парней.

— Да ведь она с ним гуляет.

— Ну и пусть.

— Как, то есть, пусть? Ведь он немец!

— А ты как немца понимаешь, Филов?

— Как воюющего врага, — ответил Филов. — Воюющего против моей родины.

— Ну, а кто победит? — спросил зачем-то Грешин.

— Мы, — ответил убежденно Филов. — Безусловно мы победим.

— Да ведь нам-то втыкают.

— Ну и что же с того, что втыкают? Это ничего не значит, что нам втыкают. Мы довоюемся. Победить нас все равно невозможно, страна мы огромная. Бьют нас, это правильно, но это наш умысел. Для нас это пустое дело, что нас бьют. Все равно мы победим. Устанут бить нас, мы тогда навалимся и победим. Говорю — это наш умысел. А народу мы не жалеем. Народу на нашей земле нового сколько хошь вырастет. И бабы рожают побойчей других. Это доказано.

— А я вот даже доволен, что с немцем она гуляет, — перебил Филова Грешин.

— Ну, уж вы-то, конечно, довольны, Александр Петрович, — сказал Филов. — Обыкновенного вы ничего не признаете. Вам подавай что-нибудь такое-этакое.

— Немцы — интеллигентная нация, — продолжал Грешин, не слушая Филова. — Они лучше наших неумытых во сто раз.

— Вы, Александр Петрович, — сказал тихо и предостерегающе Филов, — вы, Александр Петрович, за свой характер были покинуты народом... Но ежели бога не признавать, то это еще может быть оправдано, а уж если врага родины возвышать, это уж другое дело. Это, я вам скажу, прямо нехорошо.

Он сердито поглядел на Грешина и вышел из комнаты.

«Чудак, — подумал Грешин,— надо его воротить, а то совсем расстроится».

Грешин открыл окно. Из противоположного двора выезжал извозчик Смельчаков. Он ехал сейчас в город промышлять. Каждый вечер перед тем, как ехать в город, он подъезжал к окну Грешина и ждал, чтобы Грешин заговорил с ним. Смельчаков был хмурым человеком, он ни с кем почти не разговаривал, ни на кого не обращал внимания. Один только Грешин привлекал Смельчакова смелым, заносчивым, едким характером.

— Чего остановился? — спросил Грешин. — Надо ехать, ехать надо.

Смельчаков дернул вожжой, отъехал. Он любил Грешина. Все боялись Смельчакова. Он часто пьянствовал, был во хмелю свиреп. Он обладал громадной физической силой, дрался настойчиво, самолюбиво, «до конца», как

он сам говорил. Худощавый, болезненный Грешин не боялся Смельчакова. Он ругал его, иногда задирал, и Смельчаков сам как бы очень удивлялся этому. Так с удивлением всегда смотрел он на вертлявого портного и никогда не злился на него.

Смельчакову некуда было торопиться.

Он медленно проезжал длинную Заборную улицу и сворачивал в любую сторону. Вечерело. Он не торопился. Он ехал не к стоянке, не к определенному месту, он ехал в темноту. Давно не выезжал он днем. Днем никто не давал ему настоящую цену: рвался все больше балахон, ломалась пролетка, и вместо вожжей были веревки.

Таких извозчиков каждый норовит нанять задешево, и потому Смельчаков ехал в темноту. Он въезжал в темноту оборванным, жалким, а ехал по ней настоящим, крепким, зажиточным. Но бедность выпирала даже из темноты. Разлезся окончательно балахон, дряхлела и склонялась все ниже лошадь, и нужна была уж очень густая темнота, чтобы скрыть все это. А такая темнота была только один час в ночь. И теперь изо всей ночи оставался Смельчакову один этот, самый черный час. Если случался седок в этот час, брал с седока Смельчаков настоящую цену.

В юности Смельчаков был пастухом. Он любил тогда весну, природу, зелень. За долгие годы извозчичьей жизни он полюбил осень: осенью бывают самые темные ночи, осенью доход больше, чем прозрачной весной.

Так и жил он, по-деловому оценивая времена года. Он теперь по-настоящему понимал природу. Он понимал теперь всю лживость своей прежней, безрассудной любви к природе. Он знал ей теперь цену. Он знал, сколько стоит весна, сколько — лето, знал, что весна ему не по карману, что она чересчур дорога для него, и никакими прелестями она его теперь не привлекала.

Путешествие из темноты к дому длилось долго: лошадь шла медленно. Смельчаков дремал. Ему казалось, что тишина — это длинная, спокойная дорога. По обе стороны дороги тянулся рассвет, он ослеплял, скрывая дома, улицы, переулки, город казался полем, в городе были дали, холмы, музыка.

Грешин, встававший рано, часто видел, как возвращался Смельчаков из города.

«Огромный человек, — думал Грешин, — и злой очень. Огромная злость у него, а лошаденка маленькая, а пролетка высокая. Как будто бы лошадь к нему и к пролетке прикреплена».

V

Мария пригласила Раскоттена к себе. Филов даже отвернулся, когда проходили они по коридору. Через несколько минут Филов вошел в комнату Марии.

Мария была очень смущена приходом Филова, а Раскоттен вскочил и вытянулся во фронт.

— Чаю хотите, Иван Иванович? — робко спросила Мария.

— Я не чай пить пришел, — сказал Филов строго. — Как фамилия твоего гостя?

— Раскоттен.

— Вот что, милый друг Раскоттен,— сказал Филов,— сделай, пожалуйста, одолжение, я тебя прошу, будь любезен — от ворот поворот.

Раскоттен ничего не понял и улыбнулся.

— Плохой смех, — сказал хмуро Филов. — Очень даже плохой смех. Я от имени ее отца говорю. Как немцу, вам здесь не место.

— Он сапожник, — сказала Мария.

— Да, да, сапожник, шумахер, — подтвердил Раскоттен.

Сапожник — было первое слово, которое он сейчас понял.

Филов был смущен.

— Сапожник сапожнику рознь, — сказал он. — При машине сапожника настоящего быть не может. Настоящий сапожник — это ручной труд.

Раскоттен не понял, о чем говорит Филов, и тогда Филов выразил мысль свою жестами. Раскоттен тоже жестами и немногими словами ответил Филову, что у себя на родине он занимался главным образом починкой, работал вручную.

— Налей-ка мне, Маша, чаю, — сказал, заинтересовавшись, Филов.

Пили чай долго. Разговаривали главным образом при помощи жестов. Раскоттен старался есть медленно, он

умышленно откладывал иногда кусок хлеба в сторону, точно забывал о нем, но Филов понимал, что он голоден.

«Тихий человек, — думал Филов. — А Машка-то как рада. Ведь всегда надеялась она на любовь, именно к любви стремилась. Чего же его, немца, гнать? Мастеровой человек, держит себя очень аккуратно, в лагере небось жизнь не сладкая. Ишь как бутерброды внимательно кушает».

— Бутерброд, — сказал Филов немцу.

— Бутерброд, о да, — ответил Раскоттен, улыбаясь.

«В лагере небось плохо, — подумал Филов. — Скучно, сарай ведь. Хочется ему, этому немцу, посидеть с людьми в чистом помещении. Не свой дом, конечно, а все не лагерь. Мундирчик заштопан у него аккуратно, небось изо всех сил старался нитку с ниткой свести, только чтобы поприличнее выглядеть. Ботинки вот только у него совсем рваные, подметка сгорела...»

Раскоттен заметил взгляд Филова, спрятал ноги под стол. Филов смутился.

— Починку, говорите, принимали, — сказал он. — Так. Город ваш Галле называется, говорите? Слышал я об нем, слышал. Похвально отзывались об этом городе. (Филов до этих пор ничего не слышал о городе Галле, не знал даже о его существовании.) Ранты у вас делают широкие, видал я вашу работу.

Часа через два, когда Раскоттен стал прощаться, Филов сказал ему:

— Ботиночки-то починить придется.

Раскоттен покраснел и забормотал что-то.

— Ботиночки, говорю, починить придется,— повторил Филов. — Неудобно, приходите ведь к барышне. Она привыкла к хорошему, одна дочь у отца. Тем более можете пойти пройтись, очень неловко может быть. У меня ведь мастерская в соседней комнате. Сели бы и набили подметку. Спиртовую я дам вам подметку, хорошую, потом сочтемся.

На другой день Раскоттен набил подметки на свои ботинки. Филов, занятый своей работой, то и дело искоса поглядывал на немца.

— Хороший мастер твой Раскоттен, — сказал он потом Марии. — Чисто работает, я ему починку, какая

будет лишняя, давать буду. Пусть подработает на табачок, на мыло. Опять же молодой человек должен деньги иметь при себе постоянно. Угостить барышню, мороженое там и все такое.

— Мне не надо, — сказала Мария, покраснев и отвернувшись.

— Как не надо? Я знаю, ты не такая, чтобы этим интересоваться, да и деньги у тебя всегда есть, а все равно молодому человеку надо иметь свои деньги. У него совсем тогда другое самочувствие делается: «Дайте бутылочку лимонаду, получите двадцать копеек». Сам вынимает из кошелька, сам платит. Это совсем другое дело.

С этого дня Раскоттен стал ежедневно бывать у Марии. Иногда он работал с Филовым по нескольку часов в мастерской, потом все вместе пили чай в комнате Марии.

Александр Петрович встретился с немцем так, будто был давно знаком с ним. Раскоттен при появлении Грешина, так же как и при первом появлении Филова, вскочил и вытянулся во фронт.

— Садитесь, садитесь, — сказал Грешин. — Вот еще что вздумали — вскакивать.

— Это отец ее, — сказал Филов Раскоттену.— Ее папаша.

— Дер фатер, дер штуль, мейне, дейне, швейн, данке зер. Вот и все, что я знаю на вашем языке.

— Язык, как бы сказать, не очень-то хороший, — сказал Филов. — Наш будет лучше.

— Они разве могут понять какую-нибудь тонкость! — сказал, сообщнически подмигивая Раскоттену, Грешин. — Изо всех людей, которые на Заборной улице живут, вряд ли найдется такой, чтобы мог понять вас.

— А чего его понимать, — сказал Филов. — Он такой же, как и мы с тобой, мастеровой человек, сапожник он.

— Сапожник! — Грешин, казалось, был разочарован, потом сказал убежденно: — У них сапожник — это все равно что у нас интеллигентный человек. Ты что же думаешь, Филов, что этот немец тебе равен? Ошибаешься. Ты не гляди на то, что он сапожник. У них, говорю, сапожник — это, брат, совсем не то, что у нас.

— Я ваш язык узналь немного, — сказал, улыбаясь, Раскоттен.

— А вот хвалиться — это не стоит, — заметил Грешин. — Ну мы сейча́с узнаем, как вы разговариваете.

Они стали разговаривать. Раскоттен действительно знал уже много слов.

— Вы прямо скажите,— спросил неожиданно Грешин Раскоттена, когда Мария зачем-то вышла из комнаты.— Зачем ходите сюда: от скуки или уют семейный притягивает?

Раскоттен молчал.

— Нет, вы скажите, — вмешался Филов. — Он как отец, как дер фатер, имеет право задать этот вопрос.

Раскоттен хотел что-то ответить, но тут вошла Мария, и разговор перешел на другую тему.

Вечером, перед тем как идти спать, Филов сказал Грешину:

— Вполне правильно задавали вы немцу вопросы насчет того, зачем он ходит сюда. Вы как отец должны знать, о чем именно он думает; если что другое у него на уме, то сейчас мы его помелом.

— А нравится мне немец этот, — сказал Грешин, не слушая Филова. — Пусть ходит. Глядишь, и не так скучно. Хороший немец. Все у него как-то прилажено к месту, слово к слову, мысль к мысли. Нравится мне этот народ, ей-богу. А тебе вот что скажу, Иван Иваныч. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, а ведешь ты себя с этим Раскоттеном неподобающе.

— Как, то есть, неподобающе? — спросил удивленно Филов.

— А так вот, грубо ты себя с ним держишь. Ты думаешь, он такой же, как и ты, сапожник. Нет, он интеллигентный человек, а с интеллигентным человеком совсем другое обхождение, совсем другую аккуратность в разговоре иметь надо. Ежели бы ты попал к студентам, у которых я бываю, ты бы там двух слов не выговорил.

— Что вы все — студенты да студенты. Хоть один из них пришел бы вас навестить, когда вы больны были.

— Это ничего не значит, — ответил Грешин, но лицо его омрачилось.

С тех пор Грешин ежевечерне принимал участие в беседах Марии и немца. Было уютно в комнате Марии.

Комната была маленькая, и настольная лампа не только светила, но и грела.

Мария обычно не принимала участия в разговоре. Она стеснялась почему-то отца и Филова. Она до сих пор не могла освоиться с положением девушки, принимающей молодого человека, девушки, за которой ухаживают. Она стыдилась, сильно краснела, когда Раскоттен обращался к ней.

Грешин теперь еще реже, чем раньше, уходил из дому. Иногда днем, за работой, он вспоминал о том, что скоро должен прийти Раскоттен, и ему становилось радостно.

Однажды Раскоттен не пришел. Все были удивлены.

— Чего это он не явился? — спросил Грешин Марию.

— Возможное дело, заболел,— сказал Филов.— Пойти узнать разве о нем? Да ведь в лагерь-то не пропустят. Завтра небось придет.

Все всполошились, и им было понятно, что составляют они уже одну семью, небольшую семью, которая собирается каждый вечер вокруг стола в комнате Марии. У каждого члена этой семьи есть свое определенное место. Раскоттен сидит рядом с Марией, Филов и Грешин так же рядом — напротив.

Однажды Грешин услышал, что пленные большей частью имеют семьи на родине, а здесь заводят новые и что все равно покинут они эти новые семьи, когда придет время уезжать из плена.

— Ну, как детишки ваши живут в Германии, сведения имеете? — спросил он строго Раскоттена.

— Дети, киндер... — Раскоттен покачал головой. — Дети нет.

Грешин увидел по голубым глазам Раскоттена, что он не врет, и обрадовался.

VI

Днем Смельчаков спал. Приспособить день для сна, превратить его в ночь — это то же самое, что заставить скакуна идти рысью. Ночь — рысь, день — галоп. И день, долженствующий быть ночью, шел, как ему и следовало идти, рывками, толчками, и сон Смельчакова был неспо-

коен. Когда просыпался Смельчаков, видел он солнце, светлые пятна на стенах, слышал тихое жужжание дня. Несмотря на то что он спал днем уже много лет, привыкнуть к такому сну не мог никак. Каждый раз, когда просыпался, казалось, что впереди еще настоящий ночной сон.

Но ночного сна не было. Уже много лет была ночная дремота на стоянках, какая-то ощутимая, трезвая ночь. В сущности, это была даже не ночь, а просто-напросто темнота. Груды мягкой темноты были раскинуты повсюду, темнота подползала совсем близко, закрывала лошадь, ползла к небу, закрывала и его, но все же это была не ночь, потому что спать не хотелось, а был просто выкрашенный черной, легко смывающейся краской день. Не было глубины, ночь не вырастала из земли, ночь не сливалась с домами, с булыжной мостовой, с небом, она была как ртуть в сосуде: при малейшем колебании всюду виднелись ее границы.

Вчера у пролетки сломалась ось, и Смельчаков приехал домой часа в два ночи. Он лег на свою койку, но спать не мог. Он отвык спать ночью. Днем позвал он каретника. Каретник чинить пролетку отказался.

— Смысла нет ее чинить, — сказал он Смельчакову. — Если бы хороший материал поставить, тогда есть смысл. Пролетка-то старая, ведь и рессоры надо менять, и левое крыло. Был бы хороший материал, тогда действительно есть смысл. А так починишь на один день.

— Почему же материала нет? — спросил Смельчаков.

— Война, потому и нет материала.

Смельчаков не умел долго разговаривать. Каретник ушел. Смельчаков некоторое время смотрел ему вслед, потом, вспомнив что-то, догнал.

— Что ж мне делать? — спросил Смельчаков. — Как с пролеткой быть?

— Бросить и забыть, — ответил словоохотливый каретник. — Какая же это пролетка? Хлам! Смысла нет за нее браться.

— А денег у меня на новую пролетку нет, — сказал Смельчаков. — Где же денег достать?

— Ты погоди о деньгах говорить. Ты найди сперва, где ее, новую пролетку, купить, а потом о деньгах

говори. Ее, новую-то, сейчас нигде и не купишь. Война. Какие фабрики были, на военные цели они переведены. Материалу, опять, тоже нету. Вот война кончится, тогда, конечно, другое дело будет.

— А когда она кончится? — спросил Смельчаков.

— Этого никто знать не может, когда кончится. Немцы-то все напирают. Всех они бить хотят. Такой народ!

Смельчаков вернулся к себе, сел на койку и так сидел, уставившись в одну точку, долгое время. В сарае стояла сломанная пролетка. Несмотря на то, что Смельчаков мог ходить по комнате сколько угодно, несмотря на то, что были у него здоровые ноги, сознавал он себя сейчас калекой. Точно не ось была сломана у пролетки, а у него, у Смельчакова, была сломана нога. Он как-то забыл о том, что пролетку тянет рыжая лошаденка, спокойно стоящая сейчас в конюшне. Ему показалось, что это он, Смельчаков, тянет пролетку, что он тянул ее всегда и вот теперь стал калекой и пролетку больше тянуть не будет.

Он пошел в конюшню. Лошадь спокойно жевала сено.

«Не сочувствует», — подумал Смельчаков и ударил лошадь кулаком по морде. Потом вышел из конюшни и направился в трактир.

В трактире он потребовал водки и пил долго и жадно. Все бывшие там с опаской глядели на него. Было известно, что во хмелю Смельчаков буен и жесток.

— Война, — говорил Смельчаков громко, ни к кому особенно не обращаясь. — Война. А где немцы? Покажите мне немцев! Почему я никогда немцев не видел?

Он вышел из трактира. Проходя мимо окна Грешина, увидел Раскоттена.

— Немец? — спросил Смельчаков и сам себе ответил: — Да, немец. Ну, подожди, немец, я сейчас.

Он пошел через двор и через минуту появился в маленькой, хрупкой комнатке Марии. Он подошел к Раскоттену и плюнул ему в лицо.

— Обижаешься? — спросил он. — А куска хлеба человека лишить — это хорошо, по-вашему? Это вполне возможно, по-вашему? Материалов нету! Всех хотите уничтожить.

Он кричал долго. Около окна столпился народ.

— Они у нас свободно живут, — сказал водопроводчик Тучин, — по городу ходят очень даже свободно. Они хотят Россию со всех сторон окружить. Армия чтобы подошла, а эти изнутри.

— Я тебя обратно возвращу! — крикнул Смельчаков, схватил Раскоттена, приподнял и вытолкнул в окно. — Я его сейчас выучу, — сказал он, выпрыгнул сам и наклонился, чтобы поднять с мостовой камень потяжелее.

— Баб завели русских, — крикнул кто-то. — Чего же им теперь не жить! При бабах, при хлебе вольном. У нас кусок отберут и им отдадут. Ишь как испугался, глазами хлопает. Не нравится ему.

Толпа захохотала. Три года длилась война; «немец» — было зловещим словом. Все зло, казалось, было заключено в этом слове. Приходили с фронта искалеченные, ничего не понимающие, озлобленные люди. Становилось голодно, и причиной всего этого были немцы.

Раскоттен был бледен, он прижимался к стене, как к товарищу, сильному товарищу, который мог спасти его.

— Ребята! — закричал Филов. — Что вы, разве так можно?

— Немцев друг, — сказал злобно сапожник Кадкин, у которого недавно убили двух сыновей на войне. — Немцев благодетель.

У Кадкина сжались губы, задергалась на лице гримаса, и он сосредоточенно, аккуратно ударил Раскоттена.

— Бей немцев! — крикнул кто-то весело.

— Он не немец, — закричал отчаянно Филов, — он не немец, он сапожник!

Филов бросился в свою комнату, поспешно схватил ботинок с наполовину прибитой подошвой, горсть деревянных гвоздей, молоток и шило.

— Он не немец! — крикнул Филов опять и сунул Раскоттену ботинок, молоток и гвозди.

Раскоттен понял. Он опустился на землю, на корточки, примостил моментально ботинок между ног, сунул в рот гвозди и быстро, быстро стал вынимать изо рта и вбивать по одному в подошву. Кровь была у него во рту, гвозди были красные. Раскоттен работал быстро, делая те профессиональные движения, какие делают са-

пожники всех национальностей: удар молотком, шилом прокалывается подошва, удар молотком, гвоздь вбивается в дырку, сжимаются губы, опять удар молотком, опять прокалывается шилом подошва... Он сидел, чуть-чуть склонив набок голову. Он не похож был сейчас на солдата, на иностранца. Это был сапожник в своей мастерской, такой же, как тысячи других сапожников.

Толпа отступила.

— Да, — сказал Кадкин, — мастеровой человек, что и говорить.

— Ну, чего вам? — закричал тогда Филов. — Расходиться надо!

Народ стал постепенно расходиться.

Только Смельчаков остался лежать на земле. Он так и не нашел камня, он заснул.

— Вы не ходите уж больше к нам, — сказал Филов Раскоттену. — Раз так прошло, а в другой раз действительно убьют. Мастеровые-то наши, конечно, теперь вас не тронут. Да ведь у нас на Заборной улице и хулиганов много. Всякий темный народ у нас проживает. Недели не проходит, чтобы какого-нибудь убийства не было. Тут народ аховый.

Раскоттен ничего не ответил Филову, повернулся и пошел. Пройдя несколько шагов, он обернулся. Маша была в окне. Она плакала. Он поклонился ей и пошел дальше.

На углу Заборной улицы его догнал Кадкин. Раскоттен испуганно отшатнулся.

— Ты не бойся, иди, — сказал Кадкин. — У меня, понимаешь, два сына на войне убито, а я — старик и работать уж почти не могу. Это хорошо, скажи, пожалуйста, что сыновей убили? Как это мне, приятно? Нет, ты скажи, как по-твоему? А мы что понимаем? Мы, так сказать, народ глупый, необразованный народ. А вот есть просвещенные люди, которые тоже против вас. Крушить, говорят, немцев надо. Знаю я вот одного человека, образованный, из тех самых, что в пятом году баламутили против царя, а что он говорит? Национальность, говорит, для меня первое дело, несмотря ни на что. Нам-то, людям темным, понять все очень трудно, а он говорит: я, говорит, всецело за трудящую массу, но все равно, говорит, родина, все равно, говорит, немцы.

— Ты это о чем? — спросил подошедший незаметно Грешин.

— Я вот о господине Краевиче сейчас говорил, — сказал Кадкин. — Это ваш, как сказать, знакомый, вы к нему даже в гости, Александр Петрович, ходили, я его, конечно, не знаю, но разговор с ним имел. Так вот он очень насчет немцев свирепый.

— Краевич — меньшевик, — сказал строго Грешин. — Ты о нем рассуждать не можешь. Он в тюрьме не раз сидел за свои мысли. Ты, Кадкин, понять такого человека не можешь. У таких людей тонкие рассуждения, уж если они говорят насчет, скажем, национальности, то, наверно, знают об этом.

— Я, я вам скажу, Александр Петрович, — крикнул Кадкин, — я вам скажу, что это чистая ерунда! Между трудящими людьми, между нашим братом мастеровым, национальности никакой быть не может, потому равны мы. Вот я могу этого самого немца обнять и прощения могу у него просить за свое поведение. А почему так вышло? Потому что необразованные мы, темные.

— Так как же ты считаешь? — спросил ехидно Александр Петрович. — Ты так считаешь, что интеллигентный человек Краевич хуже тебя в этих вопросах разбирается? Может быть, он не понимает того, что ты понимаешь?

— Об этом я не знаю, — сказал, сникая, Кадкин. — Конечно, возможное дело, что и понимает он побольше нас, а только мастеровой мастеровому завсегда, я скажу, друг.

Он попрощался с Раскоттеном и ушел.

— Вы насчет социал-демократ говориль, — сказал Раскоттен. — О, я знаю, кто они такой!

Грешин подошел к дому как раз в тот момент, когда Филову удалось наконец растолкать Смельчакова.

— Иди, иди, — сказал Филов, — нечего здесь лежать.

— Да, нечего, идите, — выкрикнула неожиданно Мария.

Филов и Грешин с удивлением посмотрели на нее: Мария всегда говорила тихо. Теперь она плакала.

— Убивается ваша барышня, — сказал Смельчаков Грешину.

— Иди, иди! — закричал Филов. — Убийство затеял, скверный ты человек.

— Это я сознаю, — сказал Смельчаков, — это я полностью сознаю, а вот скажите мне, когда же мне теперь выезжать — днем нельзя и ночью нельзя. Без пролетки я остался. А причина этому — война. Что мне теперь делать, скажите?

Ему никто не ответил, он постоял с минуту и пошел.

А Раскоттен в это время подходил к лагерю. Деревянный гвоздь был у него во рту. Раскоттен выплюнул гвоздь, потом подобрал с земли и спрятал в бумажник. В бараке было душно. Раскоттен лег на свою койку. Он лежал полчаса, потом, точно вспомнив что-то, вскочил и побежал в самый конец барака. Здесь, раскинувшись во сне, лежал на тощей койке Ганс Миллер. Раскоттен толкнул его.

— Что такое? — спросил Миллер испуганно.

— Это я, — сказал Раскоттен. — Скажите мне, Миллер, кажется, вы говорили, что вы социал-демократ?

— О да, — ответил Миллер, улыбаясь. — Я социал-демократ.

Раскоттен ударил Миллера по лицу.

VII

Филов дня через два получил письмо:

«Я скажу прямо. Мне понятно, что вы сами хотите ею завладеть. И все было подстроено, чтобы я ушел или чтобы был убит. Но мне смешно теперь. . .»

Подписано было письмо так: «По поручению германского военнопленного Фридриха Раскоттена русский солдат Вертунов».

— Ну и неблагодарный человек, — сказал Филов, прочтя письмо. — Я его, можно сказать, спас, а у него вот какие слова в ответ нашлись. «Сам хотел завладеть». Мне ведь пятьдесят лет. Что он, не понимает разве?

И тут Филов подумал: «А что, если действительно жениться?»

Если бы не получил Филов письма от Раскоттена, не пришло бы это ему никогда в голову. «Человек пишет об этом, значит, тут ничего такого нет. Что ж с того, что

пятьдесят лет, и в такие годы жениться можно». Так подумал Филов.

На другой день он смущенно говорил Марии:

— Я одинокий человек, Мария Александровна. Но я себя не портил, нет, я себя не портил. А вы барышня, которую я знаю очень даже хорошо...

Грешин усмехнулся, когда Филов сообщил ему, что хочет жениться на Марии.

— Судьба ей, видно, за сапожником быть, — сказал Грешин. — Ты сапожник и Раскоттен сапожник, только есть между вами большая разница, он как бы совсем другой человек. Да, другой они народ, немцы.

Филов сказал смущенно:

— Если вы отрицаете, Александр Петрович, я против вас не пойду.

— Да нет, женись, — сказал Грешин. — Я разве против? Женись.

— Конечно, вам обидно. Вы мечтали иметь зятя интеллигентного, а я, конечно, человек простой. Ведь я ваши стремления хорошо знаю.

— Нет у меня никаких стремлений, — сказал Грешин. — Раньше были, а теперь нет. Лет много мне уже, Филов. Скоро все кончится. А потом, — Грешин усмехнулся, — а потом, возможное дело, все мои стремления от скуки были, от скуки и от невыносимой нашей жизни. А что я понимаю? Простой ведь я человек. Что касается книг, так ведь я прочел всего-навсего три книги, а может быть, четыре, ну уж от силы пять. Простой я человек, а вот мечтал и мечтаниями от скуки спасался.

Филов с удивлением глядел на Грешина. Грешин никогда так не говорил о себе. И стало жалко его.

Через месяц Филов женился на Марии. В день свадьбы, когда Филов был уже слегка пьян, его вызвали во двор. Там дожидался человек в голубой немецкой шинели.

— Вы Филов? — спросил немец.

— Я.

— Раскоттен Фридрих просил передать вам, — сказал немец ломаным языком, — просил передать вам, что он очень горюет. Он, когда писал письмо вам, был как сумасшедший, вы его спасли от смерти, а он обиду вам нанес. Он просил передать, что очень горюет.

— Я не сержусь, — сказал Филов.

— Грех было бы сердиться, — голос немца дрогнул. — Грех было бы сердиться, потому что Фридрих Раскоттен вчера ночью повесился в бараке.

Филов сокрушенно покачал головой.

— Он был самым счастливым человеком в нашем бараке, — продолжал немец. — Он ходил в город, имел знакомую семью, он был рад. Потом он стал самым несчастным человеком в нашем бараке, а теперь, — немец всхлипнул, — теперь он снова самый счастливый человек.

— Зайдите в дом, — попросил Филов.

Немец отказался. Филов вынес ему рюмку водки и кусок пирога. Немец выпил водку, поблагодарил, положил пирог в карман шинели и вышел.

Филов долго смотрел ему вслед.

ВАСИЛИСА

Подходили люди и заглядывали в окна избы Николая Степановича Терентьева. И хотя ничего не было видно, кроме обычного стола, угла кровати, лавки, ничего не было слышно, — стояли подолгу, сосредоточенно, громко разговаривали. И все обвиняли Николая Степановича Терентьева за то, что вчера избил он сына своего, колхозного активиста, комсомольца Сергея. Только Борис Иванович Козолупов пытался смягчить вину Терентьева.

— Человек не вашим судом живет, — говорил он сиплым своим голосом. — Он своим дыханием бывает согрет, человек. У него всегда может случа́й быть. Этого вы не хотите понимать.

Он говорил путано, долго, притворно кашлял для того, чтобы надрывным кашлем этим возбудить к себе жалость и ею, жалостью, приблизить слова свои к истине, сделать убедительными. Он был стар, некрасив и по причине ужасной нелюдимости своей казался всем очень умным и хитрым. Пьяненькое, скандальное прошлое его неожиданно для всех односельчан перешло в тихую, мудрую старость, и всем казалось, что здесь какой-то обман, который вот-вот должен обнаружиться, казалось, что опять начнет Козолупов нахально приставать к молодым бабам и девушкам, что опять по вечерам будет горланить похабные пьяные песни, матерщинить на всю улицу. Его и в колхоз не хотели принимать вначале. Потом приняли, так как убедились, что действительно стал он тихим, спокойным человеком.

— Вы свою выгоду не хотите понимать, — сказал он тогда колхозному правлению. — У меня корова есть?

Есть. Дом есть? Есть. Годы мои большие, помру — все вам останется. Одинокий я человек.

И точно для того, чтобы убедить всех в одиночестве своем, он провел рукой по воздуху, показал на солнце.

Оно стояло в небе, ослепительное, яркое, и звон шел от него по земле. И всем стало как-то вдруг понятно, что хилый, темненький Козолупов действительно очень одинок в этом огромном, молодом, певучем мире, одинок так, как бывает одинок в свежем, зеленом поле старый, высохший деревянный столбик, остаток какой-то древней постройки, неведомо когда и зачем здесь бывшей.

Защищал сейчас Козолупов Николая Степановича неизвестно почему: друзьями они никогда не были, а недопустимость поступка Николая Степановича Козолупову, как и всем, была очевидна.

— Вот попрут из колхоза твоего дружка, — говорили ему молодые ребята, приятели Сергея. — Обязательно надо таких из колхоза гнать. При советской власти это недопустимо, чтобы сына бить. Обязательно выгоним, чтобы и другим пример был.

Они говорили горячо, волнуясь, перебивая друг друга. Они были возмущены поступком Николая Степановича. Было понятно им вполне, что за такие безобразия надо гнать из колхоза. Одно только было непонятно: в чем причина того, что степенный и тихий Николай Степанович Терентьев, который, казалось, даже побаивался расторопного своего сына, избил его, когда сын объявил ему о том, что хочет жениться на Тоне Светловой, хорошей девушке, примерной комсомолке. Да и тайной, собственно, это ни для кого, в том числе и для Николая Степановича, не было: вся деревня знала, что Сергей и Тоня влюблены друг в друга.

Николай Степанович лежал на кровати в сапогах и пиджаке. В избе, кроме него, никого не было, было тихо. Он слышал разговоры, что велись около его окна, он слышал, как люди осуждали его, как Козолупов защищал. И не испытывал ни благодарности к Козолупову, ни ненависти к тем, кто осуждал.

Солнце не заходило в комнату сегодня, и было понятно, что оно прошло где-то неподалеку. День с его звуками, заботами прошел тоже где-то неподалеку. Николай Степанович лежал на кровати уже несколько часов, и

собственное тело от такого непривычного лежания казалось ему чужим, тяжелым, неподвижным. И понятно стало впервые за долгие годы, что такое душа. Она представилась сейчас слабой, как воробей. И показалось, что не в силах она управлять больше тяжелым телом, что не сумеет больше он, Николай Степанович Терентьев, пошевельнуть ногой, рукой.

Он испугался, вскочил с кровати. Подошел к старым и большим часам, единственная стрелка которых много лет назад остановилась на десяти. Он передвинул стрелку с десяти на двенадцать, толкнул маятник. Часы протикали несколько раз и опять остановились: время шло мимо этих часов так же, как этот день прошел мимо него, Николая Степановича Терентьева, мимо его избы. И стало от этого еще больше не по себе.

Тогда он сел к столу и на листе бумаги начал писать прошение. Он попытался изложить причину своего поступка, но слова, которые появились на бумаге, ничего не выражали. Эти слова шли мимо смысла. Он попытался еще раз написать прошение, но слова еще дальше ушли от смысла.

В дверь просунулся Козолупов.

— Сидишь, как сыч, — сказал он не то с сочувствием, не то с насмешкой. — Хоронишься от людей. А вот из колхоза тебя попрут, это определенно. Потому это не пример другим людям — сына своего смертным боем бить. А в колхозе люди живут для примера другим.

Он говорил долго. Он произносил сейчас те самые обвинения, против которых недавно сам восставал. Большой сугроб стоял около окна, он был с желтизной, с грязнинкой: давно не выпадал снег.

— Снегу мало, а притом ветра, — сказал Николай Степанович. — Придется снегозадержание делать, как в прошлом году.

— А из колхоза тебя помелом, это как факт, — продолжал Козолупов. — И за дело. Не для того тебя в колхоз приняли, чтобы ты фулюганил.

Он опять говорил долго, потом неожиданно смолк и суетливо стал рыться в боковом кармане пиджака, вынул письмо и прочел:

«...и еще сообщаю вам, любезный муж наш Борис Иванович, чтобы вы людям не верили, будто бы я путаюсь

с Колькой Терентьевым, потому что врут на меня люди, позорят напрасно. . .»

Он прочел эту фразу два раза, положил письмо на стол. Письмо было старое, пожелтевшее, ему было много лет. На конверте Николай Степанович прочел: «Получить рядовому Семеновского полка третьей роты второго взвода Борису Ивановичу Козолупову».

— Думаешь, я не знаю? — сказал Козолупов. — Я все знаю и понимаю. Жил ты с Василисой моей, знаю, и Сережку ты избил по злому делу: я, мол, Николай Степанович Терентьев, всю жизнь мучился. Меня женили на Марье, а любил я Василису, а вот Сережка какую полюбил, на той женился. Злой ты мужик, завистливый. — Он подошел вплотную к Николаю Степановичу и добавил: — Страшный ты человек, к родному сыну страшный.

Они стояли сейчас близко друг к другу настолько, что сливались их дыхания. Оба были стариками, в возрасте их, казалось, не было разницы. Теперь же было видно, что Козолупов все же немного старше Николая Степановича, что он немного меньше ростом, тщедушнее.

— Да что ты! — сказал смущенно Николай Степанович и отступил.

— Я все знаю, — продолжал Козолупов, — и почему Василиса руки на себя наложила. Я от этого всю жизнь свою сжег, пропил ее, уничтожил. Прощай.

Он вышел из избы Терентьева. Вечерело, пахло весной в воздухе, и казалось, что вместе с этим вечером пройдет зима и завтра утром ее уже не будет.

Козолупов постоял несколько минут у двора Николая Степановича, потом решительно зашагал к себе. Когда вошел в свой дом, было уже совсем темно. Он не зажег света, подсел к окну. На улице кто-то громко пел песню, и она жужжала на стекле, как муха. И стало от этого заунывно, тоскливо еще больше, и невыносимым показалось одиночество.

Козолупов опять пошел к Николаю Степановичу.

— Ну, скажи, что можешь, — попросил он так, точно и не уходил вовсе, а только отвернулся.

— Вот видишь, я какой, — сказал Николай Степанович, выходя на середину комнаты и протягивая руки точно для того, чтобы показать их силу. — Ну что ты против меня? Ничего. А отец мой еще поскладнее был и

покрасивше меня. Ну, а всю жизнь мучились. Рабочие руки нужны были в семью, в хозяйстве, и женили нас в пятнадцать годов. Так именно я рассуждаю?

— Так, — сказал Козолупов, — так именно.

— А потом ведь всю жизнь надо жить.

— Надо, — сказал Козолупов.

— Вот ты и пойми, — сказал громко Николай Степанович, — ты пойми.

Он говорил сейчас о том, что он, Николай Степанович, и отец его, и дед, и все Терентьевы — складные, сильные, красивые люди — тяжело прожили жизнь. Их женили молодыми, а потом, через несколько лет, приходила первая любовь. Она приходила неожиданно, как приходит в поле летний ливень, и, как от ливня в поле, негде было от нее укрыться. И вот Сергей, тщедушный, хилый, не чета ему, Николаю Степановичу, не чета отцу его, Степану Петровичу, и деду, первый из всего рода Терентьевых начинает по-настоящему жить.

— ...И тут я зашелся. Господи, думаю, почему ему полагается такое? Чем он нас лучше? Да разве мы хуже его были?

— Они колхоз придумали, — задумчиво сказал Козолупов. — А мы что с тобой придумали?

— ...Господи, думаю, Василиса руки на себя наложила!

— Ты об Василисе не вспоминай, — строго сказал Козолупов. — Не велю я тебе.

Темное окно вдруг зашевелилось, задвигалось: неожиданно стал падать снег, и вместе с окном зашевелилась вся эта грязная комната, стала похожа на вагон третьего класса, тихонько движущийся по белой снежной равнине.

— Ты Василису не вспоминай, — повторил Козолупов строго. — Я тебе не велю.

Палата, где лежал Сергей, выходила окном в поле, и день был отсюда виден отчетливо, ясно. Впервые за всю жизнь Сергей понял, что такое день, что такое вечер, — они не сливались вместе, как раньше, он проследил их начало и конец. Это развлекало. Он лежал уже два дня, в палате с ним никого не было, было скучно,

ныла рука. Врач опасался, что повреждено легкое, но час тому назад, осмотрев Сергея, заявил, что все в порядке, что завтра можно будет выписать.

Козолупов вошел в палату тихо, робко.

— Сломали тебя? — спросил он Сергея. — Ну ничего, парень ты молодой, а от молодых болезнь отскакивает. Обижаешься ты на отца? Зверем-то отец обернулся, родной отец!

— Ладно, — сказал Сергей, нахмурившись, — сам знаю.

— Меня к тебе ни за что пропускать не хотели. Я говорю: «Дело есть», а они не пускают.

— Дело?

— Дело. Ты, Сережка, отца не топи, просит он тебя об этом.

— Ври! — сказал Сергей и еще больше нахмурился. — Такой будет просить! Сейчас! Буян! Он мать, покойницу, как бил. Ты не знаешь, так не говори.

— Честное слово, просит. Так, мол, и так. За-ради господа бога, пусть простит, есть это несчастный случай — и больше ничего.

— Нет уж, — сказал Сергей, — мы этот вопрос сумеем поставить.

— Поставьте, поставьте, — сказал Козолупов. — Мне-то что? Почему я стараюсь? Мне это ни к чему совсем. Твой он отец, ты его сын, я посторонний человек между вами. — Он подошел вплотную к койке и спросил строго: — А ты знаешь, что твой отец вволю никогда хлеба не поел? Знаешь?

— Знаю, — ответил Сергей.

— Ну, смотри тогда, — еще строже сказал Козолупов.

— Мать, покойницу, он шлюхой называл. Это как по-вашему?

— Очень стыдно, — сказал Козолупов, — только ты прости его, Сережа. Ну куда ему деваться, если из колхоза его выгонят? Ведь за всю жизнь свою он только теперь жить начал по-настоящему. Горькие вы были бедняки — это все знают. Мужик он, работник, об этом что говорить. Главное — чистосердечно слово дает: не буду больше никогда драться, и больше ничего. Ну, Сережка!

— Ладно. Там увидим, — сказал Сергей мягче. — А ты иди, тут долго сидеть не разрешают.

— Ну прощай, — сказал Козолупов, — я надеюсь.

Он вышел из палаты на улицу. Шел медленно, за косогором начиналось кладбище. Он шел туда. Он шел и думал о Василисе, о молодой, красивой, веселой Василисе, похожей на цыганку. Николай Степанович Терентьев, тогда молодой, видный, рослый Колька Терентьев, был тоже похож на цыгана. И были они оба — он и Василиса — точно одной прекрасной породы. А он, низкорослый, сухощавый Козолупов, был им совсем чужой. Он подошел к кладбищу. Здесь тридцать пять лет назад похоронил он Василису. Он остановился у старого креста. Гудел ветер в поле, вдалеке началась метель.

— Василиса, — сказал он и заплакал. Ему стало вдруг радостно оттого, что отвлек он сейчас беду от Николая Степановича, от того, кого любила Василиса и кто был ему, сам того не подозревая, самым близким теперь на свете человеком.

Метель подходила все ближе, ближе. Козолупов стоял около старого креста и глядел в поле, точно дожидался метели. Он думал о том, что скоро всему будет конец, что он одинок, что жизнь прошла по пустякам, так, даром, а вот Сережа и все эти молодые ребята будут, безусловно, жить лучше, умнее, но что ему, Козолупову, теперь это все равно.

— Васа, — сказал он, — Васа... — И припал, старенький и хилый, к твердому молодому снегу, к твердой земле. Ветер отнес его слова далеко. Метель была уже здесь.

А на другой день в избе Николая Степановича было много народу, и Сережка говорил отцу:

— Мы не поглядим, что ты человек исправный. Мы таких в колхозе держать не будем. Нам надо чисто жить. А подсылать ко мне людей тоже незачем, я сам все знаю. Старое это мнение, чтоб рукам волю давать, этого теперь не может быть. Один раз пропустили, а в другой раз не обижайся — выгоним. Ты старайся понимать, что происходит, старайся вникнуть в новую нашу жизнь. Мы тебе поможем. А не хочешь — смотри.

Он говорил долго, а Николай Степанович кланялся время от времени и что-то бормотал. А потом, когда

народ разошелся, он обнял Сергея и стал что-то говорить непонятное про Козолупова, про себя, про старую жизнь, про Василису, и слезы были у него на глазах.

Через час, когда пришла Тоня, Николай Степанович изо всех сил старался ей угодить и даже предложил поставить самовар и выпить чаю, чего никогда по причине своей угрюмости не предлагал никому.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Дворник одного из больших московских домов, Иван Спиридонович Рощин, очень обрадовался, когда почтальон подал ему письмо. Письмо было, конечно, от сына, так как некому больше было писать старику. Сын, Андрей Иванович, жил в Ростове, работал сторожем в универмаге и часто писал отцу. Письма были сухие, обидно снисходительные, без любви, без уважения и содержали всегда просьбу прислать денег. Конечно, и это письмо было таким же, но Ивану Спиридоновичу очень хотелось, чтобы кто-нибудь поскорей прочел ему это письмо: сам он был неграмотный.

Иван Спиридонович долго вертел письмо в руках и думал о сыне. Сын был единственный.

В комнате стемнело, буквы на конверте слились в черные полоски, у старика зарябило в глазах. За окном дул сильный ветер, снег валил большими хлопьями. Во дворе зажегся фонарь, и снег набросился на него яростно, со всех сторон.

«К утру навалит кучу, — подумал Иван Спиридонович, поглядев в окно. — Только управляйся! Спать надо».

Но спать он не лег, снял со стенки полушубок, надел его и вышел из дворницкой.

На дворе мело сильно. Это была первая снежная буря. От фонаря шли на старика полчища снега.

«Часов с пяти надо начинать сгребать», — подумал Иван Спиридонович.

Он любил эту зимнюю работу, начинавшуюся спозаранку и заканчивавшуюся только к вечеру. Ему было радостно, выйдя ранним утром на крыльцо своей двор-

ницкой, наблюдать, как изменился двор после снегопада. Он любил эту ни с чем не сравнимую белизну, без единого пятнышка, без единой грязнинки, белизну, которую видел он один, так как вставал раньше всех в доме. Он вооружался лопатой и шагал осторожно по двору; ему жалко было нарушить чистоту снежного покрова. И от этой удивительной чистоты и воздух был чистым, было приятно дышать и работать. После первых десяти взмахов лопатой закипала кровь в жилах, горели щеки, руки, двигаться было легко и весело, почти как в молодости.

Младшего дворника Сергея дома не оказалось, и прочесть письмо было некому. Надо было идти домой спать. На дворе мело еще сильнее. Иван Спиридонович быстро прошел к себе, снял полушубок, повесил на гвоздь, откинул одеяло на койке и хотел снять валенки, но в это время дверь отворилась, и тучи пара ворвались в комнату. Пар растаял мгновенно, и перед стариком предстал жилец из 172-й квартиры, Семен Кошкин.

Иван Спиридонович поморщился. Он не любил этого высокого, несклепистого парня, чересчур румяного, с огромными кистями рук, настолько огромными и тяжелыми, что, когда клал Семен Кошкин их на стол, казалось, надо будет помочь ему их унести. Иван Спиридонович много лет работал дворником в этом доме и Кошкина знал давно. Когда-то Кошкин был подручным истопника, ходил перемазанный углем, всегда что-то напевал под нос и на вразумления Ивана Спиридоновича не обращал никакого внимания. А вразумлял Иван Спиридонович Кошкина часто и справедливо.

— Ты все поешь, — говорил Иван Спиридонович. — Пожалуйста, пой, если тебе нравится. Но жалобы квартирантов на низкую температуру кто должен принимать? Тут обратно возникает вопрос: нужен ли нам такой истопник или, может быть, надо его удалить отсюда?

— Вы, дядя Иван, прилипчивый человек, — отвечал обыкновенно Кошкин, — с вами только начни — и до утра разговор. Вы идите, дядя Иван, по своим делам и не мешайте.

— Грубиян ты, — говорил Иван Спиридонович. — Хорошо, ты истопник, а если бы тебе направление вышло в швейцары? Мог бы ты с таким характером достигнуть? По десяти французских слов швейцары в хороших домах

знали. Ты шуруй, шуруй и помни, что старший дворник — за всех ответчик и над всеми вами поставлен.

И уходил, хлопнув дверью, из котельной.

Вскорости Кошкин ушел с должности подручного истопника и, что поразило Ивана Спиридоновича в самое сердце, превратился в жильца дома. В то время в 172-й квартире освободилась маленькая комнатка. За Кошкина хлопотала дирекция вечерних курсов, где он учился, и сам он бегал несколько раз в райсовет, потрясал там бумажонками, из которых явствовало, что он, Кошкин, доброволец гражданской войны и что отец его был всю жизнь ломовым извозчиком в Пензе. Как бы там ни было, комнатку в 172-й квартире он получил и стал жильцом дома. Этого простить ему Иван Спиридонович никак не мог. Он относился к Кошкину с нескрываемой неприязнью и отворачивался от него на улице. Кошкин не обращал на это внимания и только раз подошел во дворе к Ивану Спиридоновичу и сказал:

— Дядя Иван, ты отворачивайся сколько хочешь, а вот имей в виду: вода у нас примерзает к ступенькам на лестнице, люди будут ноги ломать. Сколоть надо лед, твоя обязанность!

Вся кровь забурлила в старике, и он сказал Кошкину так, как не сказал бы никому никогда, так как был очень вежлив с жильцами:

— На обязанности мои указания принимаю только через домоуправление, как в смысле ступенек, так в смысле всего другого, а если я неподходящий, то для этого есть управдом Александр Алексеевич, а не каждый жилец, которых у нас тысячи и который, может быть, черт знает что!

Кошкин с удивлением посмотрел на Ивана Спиридоновича. Старик помолодел от гнева. Маленький, коренастый, еще очень сильный, он, казалось, вот-вот полезет в драку. Морщинистое лицо его почти что улыбалось от волнения.

Кошкин ничего не сказал старику и отошел, по обыкновению своему что-то задумчиво напевая.

Прошло несколько лет, и как-то раз какой-то гражданин приличного вида попросил Ивана Спиридоновича отнести письмо в 172-ю квартиру и отдать его там доктору Семену Семеновичу Кошкину. Иван Спиридонович

даже сплюнул в сторону от растерянности и послал письмо в 172-ю квартиру с каким-то мальчишкой. Вечером он рассказал дворнику Сергею об этом и с ужасом обнаружил, что Сергей нисколько не удивлен.

— А что же? — сказал Сергей. — Конечно, он доктор. Ты-то разве не знаешь?

Иван Спиридонович так не любил Кошкина, так не интересовался его судьбой, что действительно этого не знал.

— Доктор! — ехидно рассмеялся Иван Спиридонович. — Уж я-то, милый человек, тридцать пять лет в Москве дворником и швейцаром в лучших домах. Выучился он, не спорю. Советская власть каждому человеку книжки подкидывает. Только дело не в лекарствах одних, а в душе. Доктор — это обозначает интеллигенция. А душа, милый ты мой, у интеллигенции по наследству идет. Если папа его был, так сказать, бухгалтер или инженер путей сообщения, то он в том же смысле становится доктором или кем еще другим. У него тихий, обходительный характер с детства должен быть. «Здравствуйте», «Пожалуйста», «Будьте себе так любезны». Вот что такое доктор! Я, милый человек, тридцать пять лет в лучших домах жил, уж я-то докторов настоящих повидал. А ты плетешь: Сенька Кошкин — доктор!

И вот теперь этот Семен Кошкин стоял перед Иваном Спиридоновичем и как ни в чем не бывало улыбался.

— Дядя Иван, — сказал Кошкин, — черт паршивый, что ты на меня злишься-то в самом деле?

— Слов ваших не понимаю, — сухо сказал Иван Спиридонович. — Если по какому жилищному делу пришли, то скажите, если без дела, то, возможно, я сплю в такое время, тем более нам завтра с утра снег убирать.

— Женился я, дядя Иван, — сказал Кошкин.

— Хорошее дело, — сказал старик очень сухо.

— Ну вот, переезжаю в двести семидесятую квартиру. Жена свою комнату, а я свою обменяли на две вместе, в двести семидесятой квартире.

— Шахер-махер, — ехидно сказал Иван Спиридонович.

— Конечно, шахер-махер, — весело согласился Кошкин, нисколько не обидевшись, — а то как же? Хлопот было до черта! Но теперь все устроилось. Так вот, прошу

тебя, помоги мне завтра вещи перетащить. Я тебе, конечно, заплачу.

— У нас завтра со снегом делов будет много, — сухо сказал Иван Спиридонович.

— Значит, не можешь?

— Выходит дело, что так.

— Ну, что ж с тобой делать!

Кошкин направился к двери, и тут Иван Спиридонович вспомнил о письме, лежавшем на столе. Очень хотелось ему поскорей послушать, что пишет сын. А до утра еще времени сколько! Было очень противно ему просить Кошкина, но, когда Кошкин открыл уже дверь, старик не выдержал и сказал:

— Если завтра со снегом управлюсь, может быть, я вам подсоблю. Вот видите, письмо от сына получил, вследствие своей малограмотности разобраться не могу. Что вы на это скажете?

— Давай прочту, — сказал Кошкин.

Он взял письмо со стола и про себя прочел его, потом поглядел на старика очень внимательно. Старик даже глаза закрыл, так стыдно ему было Кошкина.

«Неужели Андрей еще обиднее прежнего письмо написал? — подумал он. — Неужели он так же недостойно денег просит на пьянство свое?»

— Ну вот, слушай, — сказал Кошкин. — Ну, значит, так: «Здравствуйте, дорогой наш отец, Иван Спиридонович...»

— Какой там отец сказано? — тихо спросил старик.

— Дорогой наш отец. «Шлю вам свой сыновний любящий привет и наилучшие пожелания от самого сердца нашего, скучаю я по вас...»

Старик слушал, закрыв глаза. Кошкин искоса то и дело поглядывал на него и читал письмо, запинаясь. Наконец письмо было прочитано до конца. Кошкин замолчал. Старик с минуту сидел с закрытыми глазами, потом открыл их, как-то очень неуклюже и поспешно протер ладонью и внимательно поглядел на Кошкина.

— Ну, спасибо, — сказал он наконец. — Хорошо читаете. Доктор вы теперь?

— Доктор.

— Приукрасили вы малость письмо-то. Детей сами пока не имеете?

— Нет.

— А насчет денег приписка какая есть?

— Насчет денег?

Кошкин взял письмо со стола, поглядел на него и безразличным голосом сказал:

— Кажется, нету.

— Вы ищите, ищите, там должно быть, — сказал старик.

— Ах, да! — сказал Кошкин, еще более безразличным голосом. — Тут действительно еще несколько слов насчет денег — не хватает ему за квартиру заплатить.

— Я знаю, какая это квартира, — сказал старик.

Он взял письмо, аккуратно сложил и спрятал в карман.

— Спать чего-то мне не хочется, — сказал он, — может, чайку со мной выпьете?

— С удовольствием, — сказал Кошкин и снял пальто. — Да и ко мне бы, дядя Иван, не грех тебе зайти.

— А что же, можно, — сказал старик.

Он разогрел самовар, поставил на стол сахар, баранки. Кошкин просидел у него часа два. Старик рассказывал всякие истории, которые узнал за долгую свою жизнь. Истории были вначале грустные, потом становились все веселее. Под конец старик совсем развеселился и спел бойкую солдатскую песню, которую пели в четырнадцатом году на германском фронте.

Чай был допит. Кошкин встал со стула, попрощался.

— Ты обязательно приходи ко мне, дядя Иван, — сказал он старику. — Что это, в самом деле! Старые знакомые, а друг от друга бегают! И подлечиться когда нужно будет — прямо без стеснения ко мне заходи, пожалуйста. Вылечим не хуже других.

— Ничего она у тебя? — лукаво спросил старик.

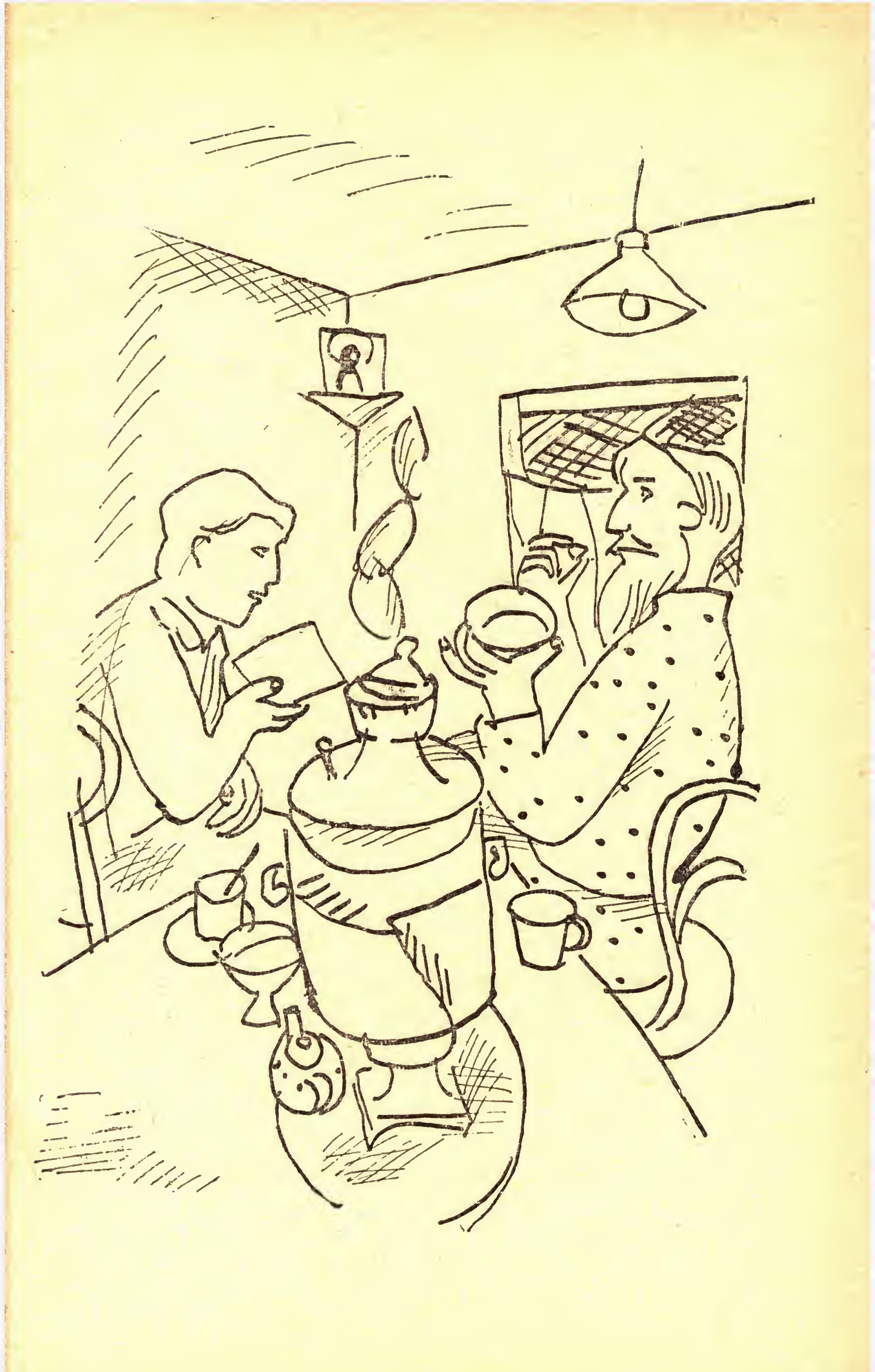
— Как кому, а мне нравится.

— Фигуру имеет интересную? — еще лукавее спросил старик.

— Как кому, дядя Иван.

Когда Кошкин ушел, Иван Спиридонович разделся и лег спать. Письмо сына он вынул из кармана, несколько минут рассматривал, потом положил бережно под подушку.

Он долго не мог заснуть.



«Обязательно к Сене лечиться пойду, — думал он. — Доктор он, может быть, не хуже других, и свой человек. И все они свои, такие вот, и Огурцов из трехсотой квартиры и Глинкин Петя из сто тринадцатой, в лаптях ходили недавно, уголь шуровали, а теперь инженеры, доктора. Свои люди!»

Кошкин, придя домой, сел к столу, взял конверт и быстро, боясь забыть, написал адрес «Ростов-на-Дону, улица Фрунзе, 8, кв. 6. Андрею Ивановичу Рощину». Потом взял листок бумаги и написал:

«Не будучи с вами знакомым, должен со всей суровостью сказать вам о недопустимом вашем отношении к отцу вашему Ивану Спиридоновичу. Я знаю Ивана Спиридоновича много лет, может быть, не меньше, чем вы его знаете. И многие у нас его знают, и никогда не допустим мы, чтобы вы к вашему отцу относились...»

Кошкин долго писал письмо, лег поздно, но встал рано утром: надо было переезжать, собирать вещи, книги. Одевшись, он подошел к окну. Тихий снег лежал повсюду и светил, ослепляя. Бойко и весело покрикивая на своих помощников, во дворе орудовал Иван Спиридонович.

СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ

Ранним зимним утром коридорный гостиницы «Волга», старый и строгий человек, зайдя по делу в комнату иностранного специалиста инженера Корфа, поразился чрезвычайно: Корф сидел за столом и торопливо писал письмо. Подле Корфа на диване полулежала девушка в халате, с сонным лицом. Она страшно испугалась: вскочила с дивана, стала поправлять халат, отвернулась... Но все это не тронуло старика.

— Без прописки ночевать нельзя, — сказал он угрюмо.

Коридорный всегда восторгался чистой жизнью Корфа и теперь был очень обижен. Глубокий старик, он редко выходил из гостиницы в город, а когда выходил, город казался ему меньше гостиницы. Широкая деревянная лестница, устланная порванным ковром, гипсовые статуи у входа, большое туманное зеркало, в котором всегда, всю жизнь отражалась железная печка, — все это, надоевшее за долгие годы, теперь, в старости, стало казаться очень значительным и важным. И чем значительнее становилось все это, тем больше уважал старик Корфа — тихого, спокойного жильца.

— В шестом номере бухгалтер жил. Раз привел — предупредили. Второй раз привел — выселили. Об вас я совершенно другое мнение имел, но сковырнулись...

— Жена.., — сказал Корф. — Это есть мой жена, Иван Иванович!

Коридорный ушел.

«Старика каждый дураком считает, — думал он, направляясь в свою комнату. — Жена! Сам ведь недавно

о жене своей и о детях рассказывал, и карточки ихние я даже видел. А теперь, пожалуйста, жена!»

Когда старик ушел, Корф обнял девушку.

— Машя! — сказал он. — Милый мой Машя!

— Ну вот, — сказала она, — вам уже сорок лет, а вы расстраиваетесь. . .

За окном начался снегопад — в комнате потемнело.

— Я носки ваши положу в чемодан сбоку, — сказала Маша. — Галстуки тоже туда, вообще все мелкие вещи. Какой снег на улице! Вы меня скоро забудете, Поль Оскарович, до первой станции — и вся память!

— Я не забуду вас вся моя жизнь, — сказал Корф растроганно.

— Многие так говорят, и многие, конечно, забывают.

Она вынула из шкафа костюмы Корфа и стала укладывать их в чемодан. Задумалась, оттолкнула чемодан и начала быстро одеваться. Он обнял ее и забормотал что-то жалобное, сбивчивое. Потом он проводил ее до подъезда. Снег ворвался на мгновенье, покружился слегка перед Корфом и затих на рваном ковре.

— Жена! — сказал коридорный, наблюдавший это.— Зачем только тень пускать!

— Жена, — строго сказал Корф. — Я сегодня уезжаль, скажите заведующий, чтобы выписать счет.

В большом зеркале отражалась железная печка, раскрашенная стенка, темный угол. Зеркало напоминало картину. Около зеркала было светлее, чем во всем коридоре. Старик остановился здесь, надел очки и проверил счет: заведующий был молодой, недавно поступил, — мог ошибиться.

— На самом строительстве небось комната вышла? — спросил старик Корфа, проходившего в этот момент по коридору.

— Нет, я совсем уезжаль от вас, на родину, — ответил Корф и подумал о том, что вот он, Корф, больше уже никогда не будет глядеть в это зеркало. Так и будет жить без него долгие годы, огромную жизнь, этот скучный, надоевший уголок, состоящий из железной черной печки и раскрашенной стенки. И стало Корфу от

этой мысли весело, и Маша показалась ему теперь очень смешной и совсем некрасивой.

Потом, в комнате, старик растолковывал Корфу смысл каждой цифры в счете. Корф не слушал: он думал о своем.

Снегопад усилился — в комнате стало темно.

— При такой погоде днем можно зажечь свет, разрешается, — сказал старик.

Корф не обратил внимания на эти слова. А может быть, ему сейчас нравилась темнота.

— Два года прожиль у вас, — сказал Корф торжественно. — Ви присаживайтесь, пожальста. Каждый день виделись, а теперь уезжаю навсегда. И никогда! И никогда ми не увидимся.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда, — бодро сказал старик.

Корф поглядел на него с удивлением. В комнате стало совсем темно: за окном была буря.

— Ви последний человек, которому я могу сказать правду. Этот девушка — не жена мне.

— Мы сами разбираемся, — сказал старик.

— Я живу с ней год, — продолжал Корф, — и только сегодня, в день мой отъезд, я позволил ей зайти сюда.

— Я ничего, — сказал коридорный смягченно, — будьте любезны, пожалуйста.

— А дома у меня жена и дети. Я не люблю мой жена. Я равнодушен к мои дети. Но мой дольг, я знаю, выше всего. Мне скучно ехать домой. Дома я буду запирать иногда мой комната и писать письмо мой Машя. Она глюпая и смешная девочка, но мне не нужно чужой ум — у меня много свой.

— Влюбились? — спросил старик.

— Влюбились, — печально подтвердил Корф.

Старик ушел от Корфа. У себя в комнатушке он сел на кровать. Ему захотелось лечь и заснуть. Он плохо чувствовал себя сегодня: очень ныли ноги. В дверь постучали. Это был Корф. Сейчас, когда на нем были пальто и серая шляпа, он показался старику очень молодым, очень умным, очень красивым.

— Пожальста, наймите мне извозчика на вокзаль.

Я уезжаю навсегда. Я оставляю здесь любовь моя. Я буду жить с противной жена и тосковать.

Корф был очень растроган сейчас.

— Постеснялись бы говорить, — грубо сказал старик, — слушать вас противно.

— Как? — спросил Корф.

— А так. В старое время у нас так рассуждали. Теперь же, по-нашему, вот как: напиши письмо жене — не люблю, мол, — и живи с Машей. Какую любим, с той живем.

— Ви старый человек, — сказал Корф, — ви дольжны понимать, что есть семейный дольг, ви дольжны знать, что такое есть жена и что такое есть глюпая девчонка. Что ви, пустой старик, можете понимать об это? Наймите мне извозчик, пожальста.

— Когда человек любит, тут семейный долг, Поль Оскарович, ни при чем, — назойливо сказал старик. — А то только слова у вас: «Маша, Маша!» Да разве это любовь? Эх, вы!

— Как ви так говорите! — крикнул Корф. — Ви не сегодня-завтра будете видеть смерть.

— Это еще вопрос, кто скорей будет видеть смерть, — сказал старик со злостью.

— Я не хочу ссориться с вами, — сказал Корф смягченно, — ви биль так любезен все время, я очень добрий сегодня, я очень рад, что еду на свой родина.

Старик резко повернулся и вышел из комнаты. Через несколько минут он привел извозчика и уложил чемодан Корфа в санки.

— Прощайте, мой милий друг, — сказал Корф и протянул руку. — Я прощаю вам все, потому что ви есть темный человек.

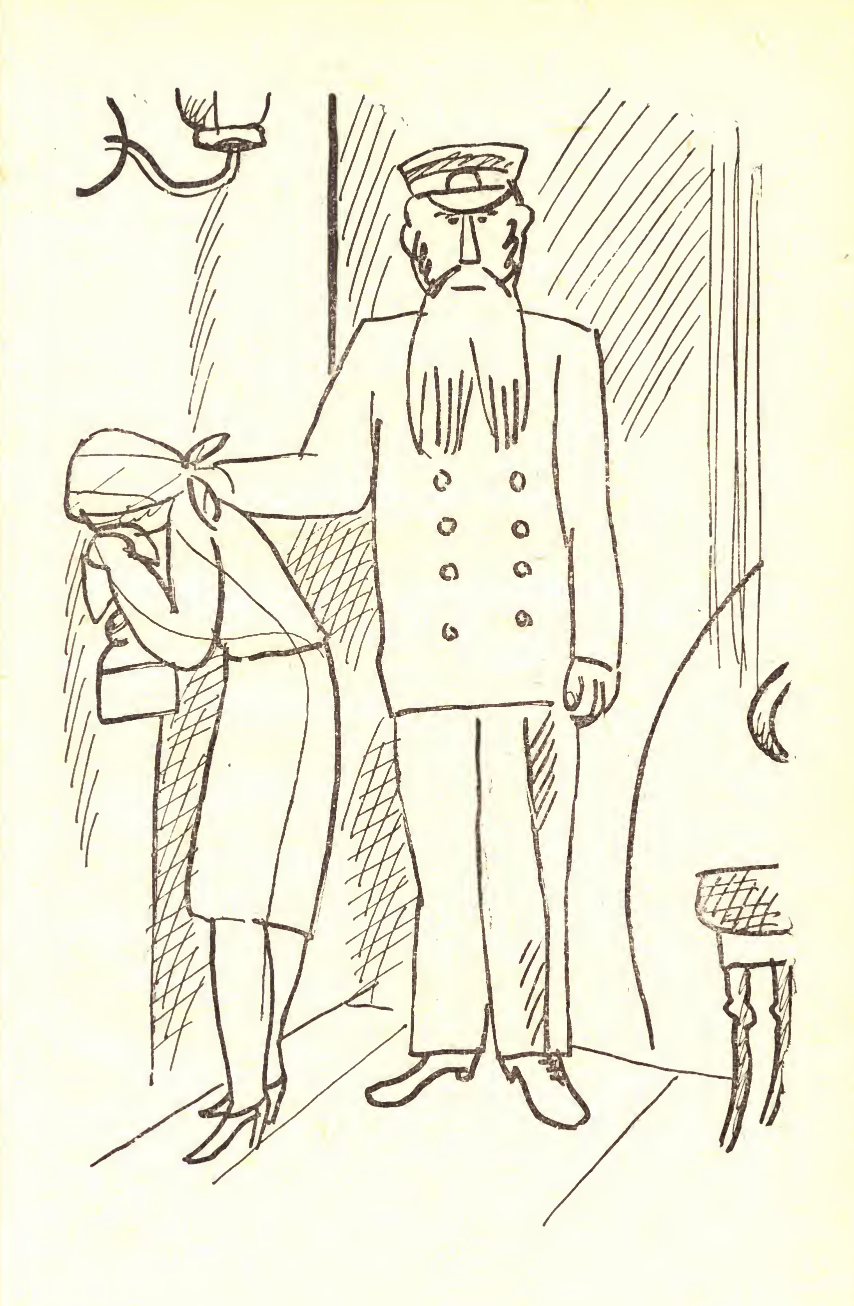
Старик не принял руку Корфа и пошел в гостиницу. Открывая дверь, он увидел: Маша стоит и смотрит вслед удаляющимся санкам.

Старик подошел к ней.

— Что же мне с тобой, девушка, делать? — спросил он ее строго.

Она заплакала.

— Если вы предполагаете, что в смысле подарков... — сказала она, всхлипывая. — За год одну сумочку подарил, и то я не взяла, чтобы не подумал.



— Влюбилась, — сказал старик уже мягче. — Ну что ты плачешь? — Он погладил ее руку. — Мало тебе наших парней хороших? Ну и не говори мне, пожалуйста, ничего, не расстраивай меня, я старый, мне расстраиваться вредно.

Через минуту он вошел в комнату, из которой только что выехал Корф. Сел на стул и задумался.

— Ну и глупая же ты, Маша! — сказал он тихо. — Не понимаешь ты еще, какая есть на свете настоящая любовь.

Снегопад кончился — в комнате стало светло. Здесь было теперь очень неуютно: множество газет, какие-то коробочки из-под лекарств, брошюры, веревочки. Здесь был холодный, ни с чем не сравнимый беспорядок, какой всегда бывает в комнате гостиницы, когда из нее выезжает жилец.

КАРТИНА

На вокзале Виктора Сергеевича Радецкого встретили так, как и подобало его встречать. Два представителя областного союза художников и один весьма бойкий человек средних лет, работник то ли областного управления культуры, то ли еще какого-то учреждения, ведающего делами искусства, ожидали на платформе поезда из Москвы. Бойкий человек первым подошел к Виктору Сергеевичу, как только тот вышел из вагона, и ласково-заискивающим голосом сказал:

— Огромная радость, Виктор Сергеевич, охватывает, когда вы появляетесь в нашем городе.

На его худощавом, длинноносом лице была действительно радость. Ее имелось достаточно, чтобы поделиться ею с двумя представителями союза художников. Сделал он это весьма небрежным кивком головы в их сторону, как бы этим присоединяя двух немолодых, немного угрюмых людей к своим чувствам; но сделал это так, что отчетливо стало видно, и даже глупцу было бы ясно, что главная роль в столь немаловажном деле, как встреча Радецкого, принадлежит не кому иному, как именно ему. И надо сказать, художники были вполне согласны с тем, что этот бойкий человек в безукоризненном сером костюме, в рубашке небесно-голубого цвета с расстегнутым воротом, — что он тут, на вокзале, да и не только на вокзале, а повсеместно, главное лицо в делах организационных и что от него, а отнюдь не от них, зависит то, как будет принят в их городе знаменитый художник Радецкий.

В купе было очень душно, Радецкий почти не спал всю ночь, и настроение его поэтому было сейчас неважным. Он был раздражен, и ему хотелось, чтобы поскорее закончилась эта встреча на вокзале.

— Мы вам страшно благодарны, Виктор Сергеевич, — продолжал бойкий человек, — что вы согласились открыть у нас выставку молодых художников области.

«Э, да, видно, он еще долго собирается болтать, — подумал Радецкий, — придется его подсократить».

— Это сыграет огромную роль, — слегка захлебнувшись от наплыва восторженных чувств, продолжал человек в сером костюме.

Радецкому было понятно, что если бы спросили этого человека, какую же, собственно, роль это сыграет, он не сумел бы ответить ничего путного. И Радецкий именно это и спросил:

— А какую роль это сыграет?

Человек в сером костюме несколько опешил, но всего лишь на какую-нибудь секунду, так как, будучи весьма многоопытным работником, он не привык теряться.

— Ответ тут очень простой, — произнес он аппетитным своим голоском. — Когда такой талантливый, такой большой художник открывает выставку молодых, когда им, так сказать, путевку в жизнь дает сам Радецкий! . .

Виктор Сергеевич опять перебил бойкого человека:

— Та́к уж они этого Радецкого любят? Да бросьте вы! У этого Радецкого немало старомодных и никому не интересных холстов. И вот уже второй год Радецкий ничего и написать-то не может. . .

Радецкий говорил, а встретившие его на вокзале люди улыбались. Радецкий знал, что любые слова его вызывают дружелюбные улыбки; он привык к этому, так как, несмотря на молодость, был знаменит уже довольно давно. С ним произошло то, что иногда случается с людьми искусства: он стал знаменит сразу, как только появились его первые картины. Радецкий вполне освоил, что может говорить все, что ему ни заблагорассудится, говорить непонятно, насмешливо. И все равно все будут довольны его словами.

Он хитро подмигнул и попросил:

— Но вы, товарищи, это так широко уж не распространяйте! Это я только вам сообщаю. А то узнают, и тогда на меня и внимания в вашем городе не обратят!

Он расхохотался, и от этого полное его лицо с толстыми щеками и маленьким носом стало еще полнее и показалось женским. Смеялся он тонким голоском, немного всхлипывая. Но все равно всем очень понравились и его слова, и он сам. Все тоже смеялись.

— Ну, я полагаю, что высокие договаривающиеся стороны могут проследовать в город! — сказал Радецкий. — Пошли, товарищи, пошли!

И, взяв свой маленький чемоданчик, зашагал по платформе.

День этот выдался хлопотливым, а потому утомительным: Радецкий побывал в обкоме, в союзе художников и еще кое-где. Много говорил, и говорил не то, что было интересным, а как-то вяло, нудно. Но окружающие, как обычно, одобрительно улыбались и в полном согласии с ним, с Радецким, кивали головами, а ему самому было скучно и даже тоскливо, и он очень жалел, что согласился приехать в этот город. Сейчас бы ему, Радецкому, не выставки молодых художников открывать, не речи произносить, а отправиться бы из Москвы куда-нибудь в глушь, побродить в одиночестве по полям, по лесам и подумать о том, как ему дальше быть, как найти новые темы, потому что те, которые интересовали его прежде, теперь казались незначительными, никому не нужными; подумать бы о том, как сделать, чтобы не пришлось, так сказать, закрыть его, Радецкого, выставку, закрыть надолго, а то и навсегда. А что, может и так случиться! Хорош он, Радецкий, или плох, но он не станет притворяться в искусстве, подражать другим, использовать то огромное имя, которое имеет. Внешность, черт ее побери, женская, а характер — мужской, очень даже мужской! И если покинуло его вдохновение навсегда, то он, Радецкий, не побежит за счастьем вприпрыжку, умоляя судьбу свою хоть что-нибудь подкинуть на бедность, а отложит в сторону кисти, холсты и поищет для себя какое-нибудь другое занятие.

И когда часу в восьмом вечера Виктор Сергеевич вошел в свой номер, он был очень доволен, что день кон-

чился, что теперь до утра никто уже не потревожит его покой.

Через минуту раздался резкий телефонный звонок. Радецкий взял трубку.

— Говорит междугородная. Вас вызывает Москва!

А еще через минуту послышался голос Вали:

— Здравствуй! Как я рада, что застала тебя. Как ты доехал?

— Спасибо. Неплохо. Несколько раз на поезд нападали разбойники и пытались зарезать твоего мужа. Потом налетела стая волков. Хотели загрызть твоего мужа. Отбился. У самого города в вагон ворвался тигр. Свирепый, африканский. Еле справился.

По ту сторону провода послышался грустный вздох и последовал вопрос:

— Хандришь?

— Хандрю.

— Не надо было ехать.

— Не надо было. Ну и что?

— У меня к тебе просьба!

— Я благороден и женские просьбы выполняю.

— Мне Адель Семеновна сказала, что в этом городе продаются чудесные костюмчики джерси. Я прошу тебя, купи мне, если будет, серого цвета. А если не будет серого, то любого по твоему вкусу.

— Хорошо. Куплю.

— Перестань хандрить.

— Перестану.

— Ну поцелуй меня!

— По телефону не умею.

— Мысленно, мысленно, дурачок.

— Ну что это за поцелуй такой — мысленный?

— А я целую тебя. Жду! Не хандри! Глупенький ты мой!

— У меня к тебе огромная просьба, Валюша!

— Ну, какую же твою просьбу я не выполню?

— Скажи мне, пожалуйста, кто эта Адель Семеновна? Если я не узнаю, я не засну до утра.

— Это двоюродная сестра Люси.

— Ага, Люси. Прекрасно. Что ж, почему бы Люсе и не иметь двоюродную сестру? Все имеют, и даже по нескольку штук. А Люся что, хуже? Но теперь возни-

кает новый жгучий вопрос. А кто такая эта Люся? Вот бы еще что узнать!

Раздался посторонний голос:

— Ваше время истекло.

А затем торопливо проговорила Валя:

— Ну, целую тебя крепко, крепко, Витенька! Жду!

Затем в трубке послышался резкий шум и сквозь него — голос:

— Вы говорили три минуты! Ваше время истекло!

Радецкий сказал:

— Это ужасно, честное слово. Жестоко! Ей-богу, жестоко! Неужели же мое время истекло! А я-то думал, что оно только начинается.

В трубке раздался смех.

— А вы веселый!

И тишина.

Радецкий положил трубку.

— Да, я веселый! — сказал он. — Я очень веселый! У меня обширные новые познания! Богатейшая эрудиция! Я знаю теперь, кто такая Адель Семеновна. И не надо отчаиваться, я обязательно узнаю, кто такая Люся. Узнаю!

Он подошел к зеркалу.

«Маленького роста толстячок. Фу, какая гадость. Бывают же счастливцы, которых судьба награждает высоким ростом, красивой фигурой, мужественным лицом. Им тоже иногда звонят жены по междугородному телефону, но никогда они не говорят о костюмчиках джерси. То есть говорят и о костюмчиках, но сперва о любви».

Вдруг Радецкий ощутил, что в номере его появилось что-то новое. Правда, утром он пробыл в нем не больше получаса, но теперь что́-то тут изменилось. Ну да, конечно, на стене появилась картина. Утром ее не было. Письменный стол был, цветастый ковер был, кровать, застеленная голубым одеялом, в углублении стены была. А может, была и картина?

Радецкий подошел к картине поближе. Да нет, ее тут не было утром. Вгляделся внимательно. Не могло быть! Он, Радецкий, несмотря на то, что утром очень торопился по делам, такую картину бы заметил. Не мог не заметить.

Картина была довольно большая. Внизу на белой

дощечке, прикрепленной к ней, было начертано и название ее: «После работы».

На картине — парень и девушка. Они куда-то направляются. Она — впереди, он — позади. Парень, видно, устал после работы, из чего можно заключить, что он не лодырь какой-нибудь, не прощелыга, не тунеядец, а вполне сознательный, примерный труженик в поте лица своего. Ему бы сейчас пойти отдохнуть после трудов, но он следует за девушкой, так как любит ее. Художник, видно, старался изо всех сил это отразить, но нельзя сказать, что ему это удалось. Судя по взгляду парня, устремленному на девушку, он вовсе не любил ее, а лишь покорно подчинялся воле художника. И казалось поэтому вполне вероятным, что он вот-вот свернет в сторону. Девушка же даже и не заметит этого, так как и она тоже любит парня согласно директиве художника, а сердце ее холодно. Художник не лишен был оригинальности, и потому не совсем было понятно, где, собственно, находятся молодые люди: вокруг лиловатый туман и очертания не то гор, не то еще чего-то. И еще: парень держал в руке большой карандаш. Зачем? Это, очевидно, было неведомо никому, возможно, и самому художнику, а люди, купившие эту картину, очевидно, постеснялись спросить у ее творца, зачем парню понадобился карандаш. Наверное, боялись обнаружить свою отсталость от новых веяний в искусстве.

Радецкий с минуту смотрел на картину. Потом расхохотался.

Кто-то постучал в дверь.

— Пожалуйста! — крикнул Радецкий.

В комнату вошел мужчина лет под пятьдесят, небольшого роста, худощавый, с кадыком на длинной шее, одетый в хороший коричневый костюм, очень гладко причесанный, почти прилизанный.

— Извините за беспокойство, товарищ Радецкий, — сказал он.

— Пожалуйста, пожалуйста!

— Разрешите назвать себя: Кочетков Павел Матвеевич — директор гостиницы. Позвольте вам вручить вечернюю газету, где обозначен ваш приезд в наш город.

— Спасибо! — поблагодарил Радецкий. — Зачем вы беспокоились?

Он взял у пришедшего газету, посмотрел на первую страницу, где было обозначено:

«Прибывший из Москвы в наш город крупнейший художник Виктор Радецкий откроет выставку картин молодых художников области».

Виктор Сергеевич положил газету на стол и был уверен, что директор гостиницы удалится.

— Но это, так сказать, попутно, — произнес директор, указывая на газету. — Пришел, знаете ли, извиниться.

— За что? — удивился Виктор Сергеевич.

— Вот именно за это. — Директор показал на картину. — Помощник мой, молодой еще человек, вообще-то расторопный, но ума не имеет. Только что я узнал, что картину эту он в ваш номер повесил. Спрашиваю его: «Ты соображаешь, Василий Семенович, что ты сделал? В комнату какого человека ты повесил картину? Это же Радецкий! Понимаешь, Радецкий! Мог бы ее повесить в номере тех, кто там по торговой части, кто землеройными работами ведает. Или вот у нас три номера занимают в данное время работники снабжения стройматериалами из районов. У нас же разнообразные живут люди. Всякие. А ты ее пристроил в номер знаменитого художника».

Кочетков вынул из кармана синий платок и вытер лицо.

— Ну конечно, он растерялся, мой помощник, и отвечает. Что же он отвечает?

Кочетков попытался рассмеяться. Но смех этот больше был похож на стон, так был смущен директор.

— Так что же он, Василий мой Семенович, отвечает? У вас тут, Виктор Сергеевич, на стене маленькое пятно от сырости, и он, видите ли, это пятно хотел закрыть.

Голос директора стал властным.

— Закрой! Пожалуйста, закрой! Есть же, слава богу, у нас в гостинице и настоящие картины. Располагаем и натюрмортами вполне приличными: заяц там, вытянутый вдоль, утка, ружье, охотничья сумка! Или в вазе розы очень даже прекрасные. Имеется вид на Волгу с высокой горы. И прочее. Все картины или членов областного союза художников, или союзом этим рекомендованные. А как же! Но не эту же, — он указал на картину, — вешать в номер к самому Радецкому.

— Да ну, пустяки, — успокоил директора Виктор Сергеевич.

— Я распорядился: сейчас придут, снимут ее, унесут от вас.

— Да вы не волнуйтесь. — Радецкий пододвинул к нему кресло. — Присаживайтесь, закуривайте!

— С большим даже удовольствием!

Кочетков взял из пачки Радецкого предложенную ему папиросу, сел в кресло, закурил и протянул свою зажигалку Радецкому. Он очень внимательно глядел на то, как закуривает Виктор Сергеевич, стараясь не упустить ни малейшего его движения, а думал в это время о чем-то, что для него, видно, было очень тягостным. Кадык на длинной шее, все время прытко передвигавшийся сверху вниз и обратно, теперь замер на месте и тоже, казалось, был тягостно озадачен.

Молчание длилось минуты две. Наконец директор сказал:

— Вообще имею с этой картиной канитель. И даже большую канитель.

— А что такое? — участливо осведомился Радецкий.

— Даже и не знаю, как сказать вам. Предчувствую смех с вашей стороны. А это неприятно.

— Смеха не будет, — сказал Радецкий.

— Вряд ли, — усомнился директор.

— Если я вам сказал, что не будет, то не будет, — заверил его Радецкий. — Я вот уже два года как не смеюсь. Даже больше: в августе исполнится три года, как я засмеялся в последний раз.

Директор с испугом посмотрел на художника.

— Это что же, согласно, так сказать, творческому процессу?

— Именно! — обрадованно подтвердил Виктор Сергеевич, так как за секунду до этого не знал, чем объяснить Кочеткову длящуюся уже почти три года свою мрачность. — Так что рассказывайте!

— Рассказать-то можно, — произнес со вздохом директор. — Но смысл донести сложно.

— А мы разделим труд, — предложил Радецкий, — вы, Павел Матвеевич, рассказывайте, а я буду доносить смысл.

Директор опять с испугом посмотрел на Радецкого. Зажег потухшую папиросу и сказал:

— По натуре, товарищ Радецкий, ну как бы вам сказать. . . сочувствия я к людям еще не потерял.

— И прекрасно, — похвалил Радецкий. — Зачем терять, когда можно не терять.

Теперь директор поглядел на Радецкого уже строго.

— Живет тут в городе Снегирев Алексей Петрович, старый уже человек, за семьдесят ему, пожалуй. Полковник он в прошлом, Снегирев этот. А я, Виктор Сергеевич, в течение полутора лет, вплоть до ранения, был в его полку политруком роты.

Кочетков на мгновение задумался, очевидно в поисках нужных слов.

— Не сумею я вам его вообще так выразительно описать, чтобы он предстал перед вами, — наконец произнес он, — одно только скажу: характер у него был неуравновешенный. Отчасти даже сумасбродный. Резкие выражения, граничащие с грубостью. То все ему кажется плохим. И это и то. А то вдруг все хорошо. И даже то хорошо, что на самом деле плохо. Вообще, человек сложный и не во всем понятный. Но приспособился я к нему, и жили мы с ним дружно и повоевали неплохо. Всего повидали. Теперь, если вспоминаешь, что мы с ним повидали за войну, то оно даже возникает в сознании как неправдоподобное. Пришлось нашему полку очень трудно. Но до отчаяния не доходили, а, наоборот, сохранили себя, твердость не теряли.

Кочетков докурил папиросу, потушил ее в пепельнице, мгновение подумал и закурил новую.

— И вот, можете вы себе это представить, Виктор Сергеевич, иду я по улице, гляжу — Снегирев. Узнал я его, прямо вам скажу, с трудом: старый стал, израненный, больной. И ранение такое наглядное: вместо левой ноги — протез. Одинокий он, совсем никого из родных у него уже в живых не осталось, всех пережил, но рассуждает так вообще. . . с настроением. Бодро, я бы сказал. На пенсии, конечно. Ни в чем не нуждается. Соседка его по квартире, сильно пожилая вдова, обед ему варит и комнату прибирает. Обрадовался он мне. Узнал, что я директором гостиницы, поздравил: «Это, говорит, пост хороший, видный, это, говорит, ты, Павел Матвеевич,

достиг высоты; и я тебе, говорит, Павел Матвеевич, в скором времени подарок преподнесу». — «Какой же, спрашиваю, подарок, товарищ полковник?» — «У меня, говорит, Павел Матвеевич, талант обнаружился к рисованию, к живописи, вообще к искусству. В молодости он у меня проявлялся, но жизнь не дала сосредоточиться в этом отношении. А сейчас время свободное, вот талант и брызнул». Я, конечно, особенного внимания не обратил, но месяца через два он вот эту картину, что сейчас в вашем номере на стене висит, мне на такси и привозит. «Вот, говорит, тебе, Павел Матвеевич, картина, не благодари, писал я ее долго, но достиг. Удача большая».

Кочетков докурил новую папиросу, потушил и, очевидно уже не отдавая себе отчета в том, что творит, закурил новую.

— Ну, что мне было делать? Взял я эту картину и приспособил ее в кладовую, где у нас продукты лежат. Но старик дней через пять наведался, увидел, где его картина помещается, задрожал весь.

Кочетков вскочил с кресла, заходил по номеру.

— Эх, товарищ Радецкий, вспомнил я, как мы город Рославль восемь суток брали под его командованием. Каким орлом он выглядел — сильно, очень сильно в плечо был ранен, а на предложение отправиться в госпиталь только засмеялся. Вообще солдат... что говорить. А сейчас он стоит передо мной в кладовой, переживает, дрожит. «Алексей Петрович, — говорю ему, — это мы ее сюда временно повесили. А будет она находиться у нас в номерах». Приободрился он. «Вот это, говорит, другое совсем дело. Люди обязательно должны на нее смотреть. Потому что это удача большая. И парень какой! И девушка! И карандаш у парня в руке. Почему, по-твоему?» — «Не знаю, говорю, Алексей Петрович». — «Ах, не знаешь! А ты подумай! Да потому, что молодежь наша стремится к учению, в то время как буржуазная молодежь. . .» Говорит он, Виктор Сергеевич, политические монологи, а я смотрю на него и вспоминаю бои под Белгородом, под Харьковом, вспоминаю, что, когда меня под деревней Селезневкой сильно ранило, сам он, Снегирев, укладывал меня в санитарную машину, целовал в лоб и слезы текли у него по лицу. «Еще увидимся, старший лейтенант, обязательно мы увидимся!»

Кочетков остановился посереди номера, умолк, вынул носовой платок из кармана, высморкался.

— Ну что мне оставалось делать с этой картиной, товарищ Радецкий? Стал я ее и в разные номера помещать, к тем приезжим, кто попроще и кто особенно не возражал. Но подолгу особенно старался не оставлять на одном месте, избегая скандала. Ну, а как же? Ведь проверка тоже у нас бывает. Приезжают из горсовета. Всем разве объяснишь, почему такая картина в номере красуется. Лучшая гостиница в городе.

Кочетков невесело усмехнулся.

— Я даже насчет карандаша осмелился как-то возразить. Нельзя ли, говорю, Алексей Петрович, карандаш вычеркнуть. Он, так сказать, слегка выпадает из общего смысла картины.

Усмешка на устах Кочеткова стала уже горькой.

— Налетел на меня Снегирев. «Это карандаш-то, говорит, выпадает? Человек ты, Павел Матвеевич, неглупый, но сути явлений ухватить тебе не дано! Если хочешь знать, то карандаш этот, он именно освещает...»

Кочетков снова сел в кресло.

— Бранил он меня довольно долго. Нет во мне, оказывается, никакого внутреннего горения. Вот так. И здравого смысла тоже, оказывается, нет.

Кочетков вздохнул.

— Только вероятнее всего, недолго мне с этой картиной осталось канителиться: старик совсем слабый стал. Вот уже, наверное, недели две как не показывается. А то все ходил, спрашивал: «Что это, говорит, моя картина у тебя, Павел Матвеевич, по всем местам скачет?» Ну, я отвечаю, конечно, что всем, мол, интересно ею полюбоваться, вот мы ее с места на место и переносим. Выхожу, одним словом, из положения.

Кочетков прислушался.

— Все собираюсь к нему съездить, узнать: жив ли? Да вот крутишься тут с утра до ночи и с ночи до утра.

Он опять прислушался. Теперь уже и Радецкий слышал, как в дверь тихонько стучали.

Кочетков вскочил с кресла.

— Ну вот, и пришли за ней.

— Не надо, — сказал Радецкий, — не надо уносить ее. Пусть остается. Выходит, что картина эта... побирается

по номерам. А ведь, в сущности, не картина, а старик.— Он мгновение подумал и произнес: — Неприлично это получится.

— Кто здесь Снегирев? — спросил он довольно громко и настойчиво. И, не получив ответа, повторил: — Кто здесь Снегирев?

Ответа и теперь не последовало. Да и не могло последовать, потому что вопрос этот задал не кто иной, как сам Алексей Петрович Снегирев. И не то чтобы в связи с болезнью ему изменили разумные суждения или мысли его путались от страшной слабости, что владела им уже две недели. Да, конечно, болезнь тут играла некоторую роль. Очень часто перед глазами возникал какой-то розовенький туман. Но тут действительно хотелось понять, кто же именно он, Снегирев, в данный момент, что он представляет собой в те последние дни, а может быть, часы, когда мир, бывший некогда огромным и даже необъятным, включавшим в себя и Россию, и Германию, и Чехословакию, и Болгарию, мир, в котором было небо, то ясно-голубое, то грозовое, все в тучах, мир, в котором были реки, моря и даже один океан, — этот мир вдруг превратился всего в одну, правда довольно большую, комнату, обставленную обыкновенной, не слишком хорошей мебелью, в комнату, где было много жестянок с красками, кистей, холстов, два-три подрамника и несколько неоконченных картин. Да, он совсем забыл: в его мире была еще одна африканская жаркая страна и два прыжка с парашютом на территорию противника. И вот этот огромный его мир сократился до размеров одной комнаты. И эта комната стала теперь его, Снегирева, миром. Правда, надо думать, ненадолго. Совсем ненадолго. Но все равно он, Снегирев, хочет знать, кто же он в этой комнате? Ну, скажем, так: он, Снегирев — полковник, военный специалист. Но этому крошечному мирку военные специалисты ни к чему. Ни с кем эта комната воевать не собирается. У него, у Снегирева, врожденные способности к мелодекламации. С огромным успехом он на вечерах самодеятельности читал «Три пальмы» или «Выхожу один я на дорогу». Но тут некому слушать. Так кто же он в данное время, Снегирев? Неужели только часть обстановки, как стол, как кресло? И он, впервые

в жизни попавший в такое положение, хотел задать себе еще один раз этот вопрос: «Кто здесь Снегирев?» Задать громко, а не мысленно, потому что за две недели болезни, за две недели, что провел он неотлучно в комнате, ставшей последним этапом на пути, длившимся почти семьдесят три года, в комнате, откуда уже нет ему выхода, ему надоели мысленные вопросы, и казалось, что если вопросы эти будут заданы громким голосом, то, черт возьми, одиночество не будет так угнетать.

И то ли поэтому, то ли еще почему, одиночество вдруг разом кончилось.

В комнату вошел полный человек, лет под сорок, и тонким голосом сказал:

— Здравствуйте, Алексей Петрович! Я художник Радецкий.

«Сон», — подумал Снегирев и решил промолчать и понаблюдать, как сон этот дальше разовьется.

— Я вижу, вы мне не рады, — продолжал Радецкий.

И лицо его стало печальным.

«Черт его знает, — подумал Снегирев, — а может, и не сон? А если не сон, то зачем ко мне приедет из Москвы сам знаменитый Радецкий?»

И решил опять промолчать.

— Я ознакомился с вашей картиной «После работы», — продолжал Радецкий. — И она произвела на меня большое впечатление.

«Сон! — окончательно решил Снегирев. — Так я и поверил, что сам Радецкий пришел в восторг от моей картины. Картина моя хорошая, что там говорить. Но уж не такая, чтобы поразить Радецкого А почему бы в этом же сне я не мог ему ответить? Вот еще! Да я и наяву бы не струсил!»

— Стыдно лгать! — сказал он. — Талантливейший художник. Известная всем и каждому личность, а лжет, как. . . даже и не знаю, что сказать. Придумайте сами. . . Безусловно, талант у меня имеется, но не таков он, чтобы поразить вас и вынудить из Москвы приехать.

«Очень что-то грубо я его одергиваю, — подумал Снегирев. — Но ведь это во сне! Тут же все путается и полная безответственность. . .»

— Может, вы вопрос мне хотите задать, товарищ Радецкий? — продолжал Снегирев. — Зачем, мол, вы карти-

ны рисуете? Талант, конечно, у вас налицо, но, видно, картины эти самые вам не легко даются в связи с возрастом и состоянием здоровья?» А я вам, товарищ Радецкий, в свою очередь задам вопрос: а что мне еще делать? Что? Я всю жизнь со смыслом прожил. Что там ни говори, как с двенадцати лет пошел действовать рабочий паренек, так тут и тюрьмы царские, и войны, и революции. Боролся за красоту жизни для людей. А теперь даже за красоту жизни близких людей бороться не могу. Их нету, нету. Ни сына, ни дочери, ни жены. Всех пережил. Один я. Прогулки? Есть прогулки Книги? Читаю. Врачи и вообще все люди дружески поучают: «Живите себе спокойно, Алексей Петрович. Вы заслужили. Вы создавали советскую нашу власть, которой вот-вот пятьдесят лет исполнится. Слава вам и низкий поклон!» А задний смысл этих слов какой? «Живите для себя, Снегирев!» А я не могу только для себя. Если бы я за всю мою жизнь хоть немножко привык к этому, я бы сейчас пытался... но не было у меня этого, чтобы только для себя. Дня одного не было за всю мою жизнь, чтобы только для себя. Да что там дня, часу не было. И вот я хочу людям талантом своим полезным быть. Посмотрят на мои картины и почувствуют...

И тут он подумал: «Сейчас я проснусь. Еще одна минута. Уходит, уплывает сон от меня».

И он заснул.

Радецкий несколько минут глядел на лежащего перед ним старика. Старик был седым, и голова его сливалась с белой подушкой. Радецкий огляделся: в комнате было чисто и даже уютно. Чувствовалась чья-то заботливая рука.

В комнату вошла женщина. Вернее сказать, вплыла, так как была очень толстой и движения ее тоже были округлыми, все вообще как-то округлилось у этой похожей на тумбу старухи.

— Лучше бы нам с вами в другую комнату пройти, — сказала она Радецкому, — а то Алексей Петрович проснется. Пусть поспит, последнее время это ему удается не часто.

Радецкий последовал за ней в соседнюю комнату. Эта была поменьше, чем та, которую занимал Снегирев; обставлена она была так, что создавалось впечатление,

будто владелица ее собралась жить вечно: двухспальная, большая старинная высокая кровать, старинный дубовый комод, продолговатый и тоже дубовый стол на толстых ножках и даже стулья необыкновенной прочности. Мебель старая, очень старая, но годы никак не сказались на ней, наоборот, как бы еще укрепили ее. Старинные стоячие часы, высокие, чуть не под самый потолок, мерно тикали, и через минуты две начинало мерещиться, что кто-то невидимый осторожно бродит по комнате. Казалось, что и воздух тут был под стать мебели, тоже старинным, впущенным сюда однажды, раз и навсегда.

— Посидите, отдохните, — сказала старуха и придвинула Радецкому стул.

— Да я не устал, — произнес он, но на стул сел и спросил: — А как вас зовут?

— Зинаида Ивановна! — ответила старуха.

— Ну, коль скоро мы с вами вдвоем оказались, так расскажите что-нибудь, — попросил Радецкий.

— О чем же я могу рассказывать? — даже удивилась она. — Рассказывать мне совершенно не о чем. В жизни у меня никаких эпизодов не было. Вот не было и не было. Тридцать пять лет с мужем прожила, пятнадцать вдовою. Он ежедневно на службу ходил, в почтовое отделение, я — кондукторшей на трамвае работала. Жили хорошо. Очень хорошо. Умер он, я в трамвае еще три года отъездила и на пенсию вышла. Вот и все мои рассказы.

— Вспоминаете его?

— Неправильно вы выразились. Не забываю, вот как следует сказать. Об одном вот думаю: уж если все равно ему судьба такая умереть, почему не умер на войне, чтобы с бо́льшим смыслом? А так что получилось? Пил чай за столом и вроде поперхнулся. Я ему говорю: «Кирюша, откашляй!» А он смеется. Что такое, думаю. Почему это он смеется? А это он вовсе не смеется, это смертная гримаса уже по лицу его ползет.

Так бывает: люди о чем-нибудь говорят и даже с интересом слушают друг друга, вопросы задают, ответы получают, а у обоих у них в это время совсем другие мысли, и мысли эти вот-вот породят совсем другие слова, не похожие на те, что теперь произносятся. Это возникает близость, вдруг, неожиданно возникает она между людьми, ничем не похожими друг на друга, — вот как эта,

старая женщина, например, и художник Радецкий. Близость эта повелевает им думать о том, что для обоих крайне важно, куда важнее, чем разговор, который они ведут. И ничего тут не надо объяснять, а можно вне всякой логики перейти к тому, что действительно интересует обоих. Вот и Зинаида Ивановна вне какой-либо логики сказала:

— Алексей Петрович такой человек, что ему обязательно надо, чтобы в жизни была красота и стремления. Он на партийный учет в ЖЭК перешел и с таким жаром поручения выполнял! Это из-за его забот детские площадки устроили, уборку двора и прочее. А потом сердце ему отказало в этом отношении. Сидит дома он день-два, я думаю — что же это? Гляжу, скрылся и привозит холсты и краски. Располагается и действует. — У нее появились слезы, которые она втерла в глаза грубыми своими пальцами. — Только, вероятнее всего, ненадолго это. Плох.

Она помолчала.

— Заставил он меня жизнь продумать. Прожить заново жизнь нельзя, конечно, но разобраться, что было в ней и чего не было, можно. Жила я хорошо. И муж мой, Кирилл Трофимович, жил хорошо. А настоящих стремлений у нас с ним не было, оказывается. Жили себе и жили. И так я об этом и не узнала бы, если бы Алексей Петрович рядом не поселился. А Кирилл Трофимович так и умер в полном убеждении, что жизнь он прожил со смыслом. А как он ее прожил? Изо дня в день. Вот и все.

Она опять помолчала.

— Ну я, конечно, стараюсь. Готовлю Алексею Петровичу. Присматриваю вообще. Прибираю. А ведь у него беспорядок то и дело возникает. Набросано, краски эти, кисти. Он же мужчина, спрос с него какой же? Меня в районной нашей поликлинике знают только с хорошей стороны. Приходят к Алексею Петровичу врачи оттуда, безусловно подумают: «Неужели она у больного одинокого соседа прибрать не могла? Что же это за женщина? И как мы в ней ошиблись». Тем более мне, например, послезавтра идти анализ на холестерин делать.

И тут опять нарушилась близость между ними, так как Радецкого то, что она сейчас сообщала, вовсе не интересовало. И он с удивлением заметил, что лицо ее сей-

час совсем не похоже на то, каким оно показалось, когда Зинаида Ивановна открывала ему полчаса назад входную дверь. Впрочем, это было то же самое лицо — с маленьким толстым носом, с круглым подбородком, с теми же двухцветными, не то серенькими, не то голубенькими, глубоко сидящими маленькими глазками, но сейчас это лицо отражало совсем другую душу.

И, как бы в соответствии с этим, она сказала:

— Он идет по жизни, окруженный красотой. Для нас с вами жизнь она и есть жизнь, а для него — совсем что-то другое, простому человеку непонятное, случись с ним что — не знаю даже, как с другими людьми в соседстве жить стану. Неинтересно уж теперь будет, так ерунда какая-нибудь пустая.

Она еще долго говорила что-то, но Радецкий слушал уже невнимательно. Он думал о том, что имеются в мире большие и широкие дороги, удобные для ходьбы. И люди идут по ним, встречаются, расходятся. И так всю жизнь можно проходить, не зная, что есть еще в мире и множество, великое множество тропинок, таких узких, что по ним непросто пройти, а надо с трудом пробираться. И, пройдя по такой тропинке полпути, многие поворачивают, чтобы вернуться на удобную широкую дорогу. А умирая в старости, они и думают, что многое, многое знают. И другие думают о них то же. Но на самом деле ничего-то они не знают, ничего не видели и не о чем им перед смертью рассказать людям.

Войдя в свой номер, Радецкий зажег верхний свет и долго смотрел на картину, но вместо парня с ненужным карандашом в руке из дешевой золоченой рамы на него смотрел усталый одинокий старик, разучившийся отличать сон от яви. В дверь постучали, но Радецкий не откликнулся. Потом от порога донесся вкрадчиво-любезный голос Кочеткова:

— Так что, картину-то снять? Или, может, бог с ней, пусть висит?

Радецкий не отозвался.

— Находитесь в творческом процессе, — робко произнес Кочетков. — Ну-ну, не буду мешать.

И он беззвучно удалился.

ПЕВИЦА

Певица была безголосой. Об этом, пожалуй, знала лишь она: в ресторане второго разряда «Днепр», находящемся в одном из новых, отдаленных от центра районов Москвы, только через микрофон достигал посетителей ее голос. Пронесшись по залам, оглушительный, раскатистый и грубый, он возвращался на эстраду к певице, притаскивая с собой то нетрезвые выкрики, то стук ножей и вилок. . . всякое.

Певица старалась не замечать микрофона. Она побаивалась его, как побаиваются пожилые, некрасивые женщины зеркал, но она была страшно благодарна тому, кто изобрел этот аппарат. В сущности, вместе с ним он «изобрел» и ее, Полину Андреевну Доссэ, предоставил ей возможность считаться артисткой, состоять в союзе Рабис.

Конечно, во всем этом даже и сходства никакого не было с прошлым. Одна из лучших артисток эстрады — Доссэ. Аншлаги. Как только в городе появлялась афиша — «Полина Доссэ — интимные песенки», — тут же у кассы театра, где проходили гастроли, выстраивалась длиннющая очередь.

Были ли эти песенки поистине интимными? Кто их знает! Но все они отражали несчастную любовь. Считалось, что если бы в них пелось о счастливой любви, они утратили бы значительную долю своей интимности.

Однажды администратор одной областной филармонии, пожилой и очень опытный в делах эстрады, прослушав репертуар Доссэ, сказал:

— Эту песенку о ландышах придется отставить, По-

лина Андреевна. Она... выпадает... выбивается как-то. Сами по себе ландыши не вызывают возражений. Но песенка сама недостаточно интимна. Моряк любит рыбачку. Рыбачка любит моряка. Ну и что?

— А буря? — спросила Полина Андреевна, которой очень нравилась эта песенка. — И к тому же морская буря!

— Ну, буря. А что она прибавляет к интимности, эта ваша буря? Если бы во время бури он ее бросил в воду, как Стенька Разин персидскую княжну... Но, во-первых, это никак всем предыдущим не подготовлено, а потом, нам с вами не разрешат: советский моряк — не атаман, даже если это и положительный атаман.

После этого она уже не предлагала администраторам концертных организаций песенок о счастливой любви и не заказывала их для себя у тех поэтов и композиторов, что «работали» на нее. Имена их не упоминались вовсе, ни в программах, ни в афишах, и считалось, что сама Доссэ сочиняет слова и музыку песенок. Полина Андреевна хорошо относилась к поэтам и композиторам, что «работали» на нее, но торговалась с ними. Они и впрямь иногда запрашивали цены непомерно высокие. Ей казалось, что эти поэты и композиторы плывут в ледоход на хрупких льдинках; до берега еще далеко, а льдинка вот-вот может треснуть, развалиться, и как бы ей, Полине Андреевне, неосторожно не ускорить гибель льдинки, а следовательно, и человека на ней. Но льдинки все же нет-нет, а безо всякого ее участия переворачивались. И тогда «работающие» на нее приходили к ней пьяные, грубили ей, случалось, плакали, требовали немедленных крупных авансов и даже оскорбляли ее. А потом поэты читали ей охрипшими голосами заветные свои стихи, композиторы играли на пианино заветные мелодии. Это были плохие произведения, но Полина Андреевна хвалила их. Случалось, что некоторые из неудачников объяснялись ей в любви, говорили, что давно уже без ума от нее, но в трезвом состоянии не решались открыться, так как прекрасно понимают разницу между знаменитой Полиной Доссэ и ими, никому не нужными, плывущими на льдинках, которые вот-вот опрокинут их в бушующую воду.

И вот как-то раз, когда один из таких, на льдине путешествующих, ушел от нее, она вдруг почувствовала,

что он нравится ей. Все время, усердно, от всей души исполняя песенки о несчастной любви, она почти не разбиралась уже в любви счастливой.

Да нет, это, кажется, именно счастливая любовь. Она жила вне предрассудков, эта модная эстрадная певица, и решила проверить, не ошибается ли. Она нагнала ушедшего от нее композитора в вестибюле самой лучшей в городе гостиницы «Бристоль», где занимала номер-люкс. И провела с этим композитором ночь.

Увы, и эта любовь не была счастливой. Роман с композитором продолжался недолго. А когда родился ребенок, Полина Андреевна отвезла его к своей маме в город Козлов, который тогда еще не назывался Мичуринском. Маме было немало лет, и она с радостью приняла внука, так как никаких занятий у ней не было.

Полина Андреевна аккуратно присылала деньги на содержание Володи, да и сама часто наезжала в Козлов. Бабушка внуком не могла нахвалиться, всем он был хорош: добрый, ласковый. Только уж очень тих, молчалив, задумчив. Полина Андреевна почти не знала отца своего сына и потому не могла с уверенностью сказать, что сын унаследовал черты отца. Но так как сама она была вовсе не тихой, а, наоборот, шумной, не молчаливой, а болтушкой, и задумываться вообще как-то не умела, то, очевидно, сын пошел в отца.

Полина Андреевна очень любила сына. Ей нравились прогулки с ним по городу, теперь уже не Козлову, а Мичуринску. Город был полон зелени. Зелень распирала его. Он так напоминал собой сад, что тротуары и мостовые, казалось, доставлены были сюда на короткое время из других мест и скоро их увезут обратно.

Полина Андреевна всегда с нетерпением ожидала момента, когда дела ей позволят выбраться в Мичуринск.

И вот однажды, когда июньским светлым воскресным днем такой момент пришел и она собиралась ехать на вокзал, чтобы отправиться к сыну, радио возвестило войну с фашистской Германией.

Сегодня в ресторане почему-то пьяных было больше, чем обычно. Не то чтобы они вели себя слишком безобразно, но кое-какие неприятности все же случились. Дво-

их молодых людей, начавших громко распевать песни, пришлось долго убеждать замолкнуть, а один гражданин упился до такой степени, что потребовалось пригласить милиционера, чтобы увести его из ресторана.

Обычно немедленно после подобных эксцессов директор «Днепра» Павел Сергеевич Холмик, пожилой, сухощавый, как-то редко мигающий человек, вежливый и напористый, вбегал на эстраду и решительно произносил:

— На вас уповаем, артисты! Создайте поскорее атмосферу! Окуните, окуните, так сказать, зал!

И оркестр, состоящий из пианино, скрипки, виолончели, вместе с Полиной Андреевной «создавал атмосферу», «окунал» посетителей ресторана «Днепр» в звуки весьма и весьма разнообразные, иногда даже замысловатые, но рожденные наспех, без радости, без вдохновения. И потому казалось, что все на этой эстраде хитрят, притворяются, занимаются не своим делом, оглушены тем шумом, который сами зачем-то создают.

Бывает иногда так: через щель в двери выползает из квартиры на площадку лестницы кошка, оглядится, испугается чего-то и быстро убегает обратно. Так и из этого шума на эстраде вдруг являлась мелодия красивая, гибкая, нежная; она звучала полминуты, иногда минуту, но, испугавшись грохота и шума, что свирепствовали вокруг, торопливо возвращалась туда, откуда явилась, в мир прекрасный и сказочный, что был за тридевять земель от этой эстрады, утопавшей в табачном дыму.

Полине Андреевне казалось, да нет, она просто была уверена, что только благодаря ее пению возникают время от времени такие прекрасные мелодии. И сегодня, несмотря на то, что выкриков нетрезвых людей, так мешавших ей, было немало, такие мелодии являлись. Да, сегодня она хорошо пела. И после одного особенно удачного исполнения победно оглядела зал.

В дальнем углу за небольшим столиком — двое; немолодой уже полковник и юноша, широкоплечий, рослый, очень похожий на полковника, может, сын его, а может, и внук.

Полина Андреевна не была ни вздорной, ни суматошной женщиной, и ей часто приходилось глубоко задумываться и подолгу решать серьезные вопросы, касающиеся ее жизни. Но вместе с тем она любила иногда размыш-

лять и о том, что для нее, собственно, никакого значения не имело. Так сейчас, глядя на тех, кто сидел за столиком в дальнем углу, она мысленно делала следующие расчеты:

«Ну, хорошо, предположим, полковнику пятьдесят, женился он двадцати лет. Что ж, и в более раннем возрасте женятся. Значит, он женился. Прекрасно. Через год — ребенок. Значит, если сын его тоже двадцати лет женился и тоже через год у него — ребенок... Сейчас у нас тысяча девятьсот шестьдесят седьмой... Но, может, полковнику уже пятьдесят пять... скорее всего, даже пятьдесят пять или пятьдесят шесть...»

Она внимательно поглядела на полковника. Сейчас он смотрел в зал. Лицо его было открыто ей. С годами у нее сильно развилась дальнозоркость, и она прекрасно видела, какой у полковника широкий, выпуклый лоб, какие густые, с сединой брови, какой прямой, красивый нос. И еще она увидела, как рядом с полковником вдруг появился молоденький капитан.

Часто во время Великой Отечественной войны человеку, звонившему по телефону Доссэ, соседи по ее квартире отвечали:

— Полина Андреевна в составе концертной бригады выехала в действующую армию.

На самом же деле в составе концертной бригады Полина Андреевна находилась весьма недолго. Обычно в штабе фронта Полина Андреевна, с благословения начальника отдела культуры Политуправления, расставалась с другими участниками бригады и, захватив с собою аккомпаниатора-гармониста Василия Петровича Селезнева, человека средних лет, не по годам молчаливого и задумчивого, но умеющего как-то, не произнося ни слова, принимать активное участие в беседе, так что людям казалось потом, что и он также о чем-то спрашивал и что-то утверждал, — захватив этого на редкость застенчивого человека, уезжала она в части, стоящие поближе к передовой линии фронта. Зачем она так поступала? Вряд ли она сама сумела бы вразумительно на это ответить. Одиночество вовсе не свойственно было ей, как не свойственно и зазнайство: она всегда по-товарищески

внимательно относилась к артистам эстрады, куда меньше ее преуспевшим в жизни. И все-таки она не любила приезжать в часть вместе с концертной бригадой. Ей нужна была свобода, никто и ничто не должно было мешать ей выступать там, где ей хотелось. Командиры частей уж чересчур заботливо беспокоились о безопасности артистов. Только и слышалось:

— Товарищи, там опасно. . .

— Артистам я на этот участок запрещаю ехать. Возможны мины.

— Пусть концертная бригада остается здесь. Здесь относительно спокойно. А командование будет вам присылать зрителей, слушателей.

Да, всего этого не любила Полина Андреевна. Командиры частей, молодые и пожилые, говорили ей комплименты. Комплиментов она вполне заслуживала, так как в то время была очень хороша собой. Она кокетничала с командирами, и они ни в чем не могли отказать ей. Тем более эти люди, бесстрашно защищающие Родину, в общем-то сочувствовали ее просьбам, хотя и пытались убеждать:

— Полина Андреевна, там убить могут! А я отвечаю за вас. Отвечаю! Так, может, вы хоть с этим посчитаетесь? . .

Но она понимала, что ее просьбы нравятся командирам и они уважают ее куда больше, чем если бы она не обращалась к ним с этими просьбами. Как бы то ни было, но ей всегда удавалось делать, что хотелось. Она пела в блиндажах и землянках, расположенных у самой передовой линии фронта, пела, когда неподалеку происходила яростная бомбежка, и никакой грохот не в состоянии был заглушить ее голос. Однажды, когда корреспондент одной из центральных газет представил в редакцию очерк и в числе прочего упомянул о том, что артистка Московской эстрады Доссэ пела в лесочке, где расположился санитарный пункт полка и этим как-то облегчала страдания легкораненых, что выстроились в очередь к блиндажу, в котором два хирурга делали перевязки, накладывали шины, что она пела в лесочке, куда то и дело падали вражеские снаряды, редактор вычеркнул это место, сказав, что так не бывает. Редактору еще только

предстояло отправиться на фронт и лично убедиться, что на войне бывает и то, чего не бывает.

Испытывала ли Полина Андреевна страх, боязнь быть убитой, искалеченной, обезображенной? Конечно, испытывала, когда думала об этом. Но такие мысли не часто приходили ей в голову; их вытесняли то забота о том, как проехать по едва проезжей дороге, то беспокойство, связанное с тем, как бы не угодить в фашистское расположение, то всяческие другие мысли, заботы, которые преследуют человека на войне. Иногда по ночам ею овладевал страх, и тогда она плакала, уткнувшись в свою походную кожаную подушечку, плакала тихонько, чтобы никто не заметил.

В эту дивизию она приехала вместе с генералом, заместителем командующего фронтом. Он предложил подвезти ее, и она охотно согласилась, так как дивизия эта вела тяжелые наступательные бои и ей, Полине Андреевне, пришлось употребить немало кокетства, чтобы получить разрешение появиться здесь. В штаб фронта из штаба армии поступали все более и более тревожные сообщения о положении дивизии. Полина Андреевна опасалась поэтому, что ее поездку могут отменить, и была очень рада, когда генерал наконец пригласил ее занять место в его виллисе.

Есть нечто неуловимое, почти неощутимое, то, чего даже самый умный человек понять не сможет, а почувствовать удается лишь немногим: хотят или не хотят присутствия актеров и вообще приезжих людей в части, находящейся в трудном, сложном положении. Бывает так: соединение ведет упорные бои, несет немалые потери в людях, в технике, а прибывшим актерам искренне рады. А случается и такое, когда солдатам и офицерам уже не до песен, плясок, юмористических сценок, лекций, докладов и относятся они ко всему этому с плохо скрытым раздражением.

Сейчас, покачиваясь в генеральском виллисе, Полина Андреевна размышляла о том, как встретят ее в дивизии. Но не только об этом. Генерал был очень галантен, угощал ее шоколадными конфетами, о чем-то говорил, но она почти не слушала его, мысленно воспроизводила тот разговор, что произошел у нее с аккомпаниатором Васи-

лием Петровичем Селезневым перед отъездом из штаба фронта.

Полина Андреевна знала, что некоторые товарищи не раз предостерегали Василия Петровича от опасного содружества с нею. Говорили: «Доездишься ты с этой сумасшедшей!» Но Селезнев всегда беспрекословно сопровождал ее в самые опасные места. И вот час назад он сказал ей:

— Полина Андреевна. Я получил ужасное сообщение. В Свердловске, в эвакуации, умерла от сердца моя жена. Двое наших крошек на руках у чужих людей. У мальчика и девочки нет на всем свете ни одного родного человека, кроме меня.

Она сразу сказала ему:

— Не ездите со мной в эту дивизию, Василий Петрович. Да я просто не возьму вас с собой.

— Но кто же вам там будем аккомпанировать? — с беспокойством осведомился он.

— Всегда кто-нибудь находится в таких случаях. В крайнем случае спою без аккомпанемента. Но вас ни в коем случае не возьму. Оставайтесь на фронте. Через день-два тут появятся наши.

Встречать генерала вышли командир и комиссар дивизии и еще несколько офицеров, а среди них командир разведроты одного из полков, капитан Ложечко, высокий, рослый, широкоплечий, с густыми бровями, лично доставивший в штаб дивизии «языка», немецкого лейтенанта.

Часа через два, уезжая, генерал шутливо сказал Полине Андреевне:

— А знаете, в дивизии вас встретили куда приветливее, чем меня.

— Меня это нисколько не удивляет, — расхохоталась она. — Я никого не «разношу», никому ничего не приказываю.

Генерал тоже расхохотался.

Теперь он один из маршалов Советского Союза. Имя его то и дело мелькает в газетах. Очень важный человек. А тогда он, дружески обняв Полину Андреевну, отвел ее в сторону и сказал:

— Вы черт знает какой молодец! Им тут в дивизии ох как трудно сейчас. Пойте, пойте им!

Потом, усмехнувшись, добавил:

— Вы думаете, я не понял, почему аккомпаниатор ваш не поехал с вами?

— Не обвиняйте его, — сказала она, —у него жена умерла в эвакуации. Двое крошек осталось. И никого близких.

— Вот как! — сказал генерал. Помолчал, очень внимательно разглядывая тонкую березку, и, к ней только одной обращаясь, спросил каким-то не своим, не командным голосом:

— А где они сейчас, наши семьи, наши дети?

Березка, естественно, не смогла ответить на этот вопрос. Генерал резко отвернулся от нее, на лице его появилось горькое выражение, которое через несколько мгновений сменилось какой-то странной улыбкой, и тут случилось то, что, очевидно, известно одной только Полине Андреевне. Те, кто сегодня общаются с этим маршалом, вряд ли подозревают, что тогда, в лесу, слезы покатились у него из глаз; он утирал их платком, а они все катились, катились, и генерал бормотал совсем уже не командным голосом:

— Простите... нервы.

Полина Андреевна увела его в лес подальше от других офицеров, так как прекрасно понимала: не годится, чтобы люди видели слезы на глазах заместителя командующего фронтом, да еще во время наступления.

Война привела множество городских людей в леса, но они не стали лесными людьми, не умели даже с компасами так легко и свободно ориентироваться в лесу, как, скажем, любой мальчишка, сын лесника, лесной человечек. Вот именно такого мальчугана и хотели встретить Полина Андреевна и генерал, так как быстро, через каких-нибудь пятнадцать минут, окончательно заблудились.

На помощь им явился капитан Игнат Семенович Ложечко. Разведчик, он свободно чувствовал себя в любой обстановке.

Ну вот, это и свершилось. Сомнений уже не было — она полюбила. Она не сумела тогда скрыть этого, да и зачем было скрывать, когда и капитан влюбился в нее? На другой день он отбыл в свой полк, а еще через день туда отправилась Полина Андреевна. Ни он, ни она не

объяснялись друг другу в любви. Они вообще ничего друг другу не объясняли. Оба были почему-то абсолютно уверены: то, что произошло, не могло не произойти, точно заранее было предопределено.

Настоящая любовь не покидает влюбленных даже в самой неподходящей для любви обстановке. Наступление сложилось очень трудно: полк нес значительные потери в людях и технике, противник яростно сопротивлялся. Но этому полку, находящемуся на левом фланге дивизии, приказано было прорваться к городку Троицку и, закрепившись в нем, оказать помощь полку-соседу другой дивизии, и вместе с ним оседлать шоссейную дорогу, имевшую важное стратегическое значение для готовящегося в ближайшее время широкого, в масштабе всего фронта, наступления. На все про все было отпущено шесть дней. Полк в срок осуществил задачу.

Все эти шесть дней Полина Андреевна провела в полку. Она чувствовала себя женой разведчика, и, когда однажды Игнат Семенович отсутствовал почти сутки, а сведений о нем никаких не поступало, она, когда он вошел в землянку, разрыдалась и бросилась ему на шею.

Ни он, ни она не смогли скрыть от окружающих своего счастья. И никто не мог их упрекнуть. Капитан Ложечко выполнял свои обязанности во время наступления так, что за эту операцию был награжден орденом Красного Знамени. Ну, а Полина Андреевна и часа не отдыхала. Она пела под аккомпанемент гармоники, если случался гармонист, а если гармониста не было, то пела и без аккомпанемента. Преодолевая страх перед кровью, она помогала сестрам перевязывать раненых, чему за войну выучилась так, что даже иногда учила молоденьких, не имеющих опыта санитарок.

Это были вообще какие-то необыкновенные дни.

Однажды у нее вдруг появилась потребность рассказать Игнату Семеновичу, что фамилия ее не Доссэ, а — Доскина, и уж если по всей правде, то никакая она вовсе не Полина, а Пелагея.

Несмотря на то что капитан был кадровым военным и к искусству не имел отношения, он понял, что на афишах, возвещающих об интимных песенках, «Полина Доссэ» выглядит куда привлекательней, чем «Пелагея Доскина».

Рассказала она ему и об отце, который был маркером и пьяницей; его и убили в пьяной драке в пивной. После этого мать переехала в город поменьше. Мать была совсем неплохой портнихой, но моды перегоняли ее. Это означало, что заказчицы все настойчивее требовали фасонов самых разнообразных и сложных, для выполнения которых нужна была богатая фантазия. Так вот этой самой фантазии у матери с годами становилось все меньше и меньше. И наконец она настолько иссякла, что даже в маленьком городке Козлове мать почти уже не имела заказов. Так что несколько лет до появления на эстраде исполнительницы интимных песенок Полины Доссэ обе они очень бедствовали.

Ложечко слушал внимательно. Ему не очень интересно было все это, но он понимал, что ей необходимо быть с ним откровенной, потому что откровенность сближает и как бы подтверждает любовь.

Однажды он сказал ей:

— Разве я мог предполагать, что ко мне придет такое счастье?

— Я тоже не знала, — произнесла она.

— Ну что ты сравниваешь себя со мной? Ты — талант, большой талант Но разреши сказать тебе... не сердись, но я, честное слово, не понимаю, как можно так относиться... ты же губишь свой голос. А ведь он — богатство твое. Зачем ты поешь эти интимные песенки? Почему не учишься пению? Если я...

Он резко оборвал фразу. Они не говорили о своем будущем. Они и не представляли себе его. Шел 1943 год, страна воевала с сильнейшим, лютым врагом, — какой разговор о будущем мог тогда вести капитан, командир разведроты полка?

— Скажи, — попросила она, — все равно, скажи...

— Если мы будем вместе... Ну вот ты, глупенькая, и заплакала. Я в прошлом году под Ржевом был ранен так, что врачи ахнули. А вот видишь... сидим сейчас в моей землянке. Если мы будем вместе, я все сделаю, чтобы ты серьезно училась. Только так и будет. Ты у меня, голубушка, консерваторию закончишь. Обязательно!

На седьмой день Ложечко проводил ее в штаб дивизии. Тут ожидала ее большая радость: командование ди-

визии наградило артистку Московской эстрады Полину Андреевну Доссэ орденом Красной Звезды.

— Я счастлив, — сказал ей командир дивизии генерал-майор Будков, вручая награду, — что по приказу Верховного командования теперь дивизии предоставлено право самой не только представлять к этому боевому ордену, но и награждать им.

И все офицеры, собравшиеся в деревянном доме, чудом уцелевшем единственном строении большого совхоза, изо всех сил аплодировали ей.

И еще Будков сказал:

— В той победе, которую одержала наша дивизия, есть и ваша доля, уважаемая, очень уважаемая наша дорогая Полина Андреевна.

После завтрака, когда офицеры, как обычно, ухаживали за ней, все провожали ее к виллису, который должен был отвезти ее в штаб фронта. Виллис тронулся, проехал метров триста — четыреста, и тут увидели, как от группы провожающих актрису офицеров отделился капитан Ложечко и бросился догонять виллис. Он догнал машину, вскочил в нее. Теперь виллис уже въехал в лес; провожающим он не был виден, и только солдат-шофер был свидетелем прощания капитана и актрисы. А когда через минуту капитан выскочил из машины, солдат сказал плачущей и что-то по-бабьи причитающей Полине Андреевне:

— Не убивайтесь так, милая. Свидитесь, помяните мое слово, свидитесь.

А сейчас он тут, в ресторане, Игнат Семенович Ложечко, за столом, не то с сыном, не то с внуком. Он уже старик. Выглядит, пожалуй, даже старше своих лет. Сколько ему сейчас? В сорок третьем было тридцать три, следовательно, теперь пятьдесят семь.

«Вот ты каким стал, Игнат! Я тогда не представляла себе, что ты будешь таким. Да нет, я просто тогда и не думала ни о какой старости. Ах, как я любила тебя! Помнишь? Эти руки с широкими ладонями, которые сейчас держат вилку и нож, я часто прижимала к щекам. Помнишь?»

Заиграл оркестр, и несколько пар стали танцевать. И Полина Андреевна, к великому удивлению своему, обнаружила, что когда танцующие появляются между нею и Игнатом Семеновичем, закрывают его, страх, который, оказывается, овладел ею с момента, когда она узнала в полковнике капитана Ложечко, покидает ее.

Приближалось время, когда она должна была встать со стула, подойти к микрофону и, придав лицу выражение, точно соответствующее теме и содержанию песенки, — веселое или грустное, — запеть. Но она чувствовала, что не сумеет этого сделать. Нельзя, чтобы до него, до Игната, донесся ее металлический, громыхающий голос. Он же помнит, как она пела тогда! Впрочем, он, наверное, вообще не узнает ее в пожилой женщине со слегка отекшим от плохой работы сердца лицом, с нарисованными бровями и подведенными синей краской ресницами.

«А помнишь, Игнат, этот завтрак, когда провожали меня из полка? И как генерал-майор Будков сказал: «В той победе, которую одержала дивизия, есть и ваша доля, уважаемая, очень уважаемая наша, дорогая Полина Андреевна».

Нет, нет, она не сможет подойти к микрофону и запеть.

Несколько дней назад средних лет гражданин, в хорошем сером костюме, с прямым пробором в мягких светлых волосах, который долгое время сидел спокойно за столиком, словно о чем-то раздумывая, вдруг встал во весь свой высокий рост и потребовал, чтобы оркестр сыграл, а певица исполнила «Полюшко-поле». В этот момент он, очевидно, был преисполнен самых лучших намерений, самых добрых чувств, но когда ему ответили, что оркестр и певица никаких заказов не принимают, а исполняют свой репертуар, вдруг озверел и пьяным срывающимся голосом, так не соответствующим всему его облику, заорал:

— Скажи, пожалуйста, какие нежности при нашей бедности! Оркестр!.. Ха-ха... певица! Это, по-вашему, певица? Да? У нее не голос, а львиный рык!

Нет, надо уйти сейчас с эстрады. Оркестр обойдется и без нее сегодня.

«А знаешь, Игнат, после того, как ты выскочил тогда из виллиса, солдат-шофер утешал меня. . .»

Она покинула эстраду.

— Что-нибудь случилось? — спросил Холмик, когда Полина Андреевна появилась в его кабинетике.

— Я очень плохо себя чувствую, Павел Сергеевич.

— Сердце?

— Да, сердце.

Он поднял на нее серые, редко мигающие и потому кажущиеся слепыми глаза.

— А может, примете валидол и полежите у меня тут на диванчике? Сегодня как раз публика очень приличная, много военных.

Холмик еще что-то говорил, а она, не слушая его, вспоминала, как тогда, получив с фронта последнее, третье по счету письмо от Ложечко и долгое время ожидая нового от него письма, которое так никогда и не прибыло, в одну из бессонных ночей, изнемогая от горя, от жалости к себе, от нежности к нему, она решила исполнить его волю, бросить эстраду, заняться серьезно пением. Может, ей казалось тогда, что, поступив так, она приблизит встречу с Игнатом?

Она созвонилась с известным профессором, преподавателем консерватории, и попросила принять ее.

Профессор сам аккомпанировал ей, когда она пела. У него были тонкие, сухие пальцы, словно оседланные рыжеватыми волосками. И весь он был тонкий, с девичьей талией, по виду строгий. Но когда, прослушав пение, он заговорил, Полине Андреевне стало ясно, что профессор добродушен, нерешителен, застенчив.

— Ну что тут можно сказать? — спросил он Полину Андреевну. — Как вы сами думаете?

Профессор не ждал от нее ответа, а только делал вид, что ждет, ему просто требовалось некоторое время, чтобы обдумать, как бы поласковее сказать то, что он обязан был сказать этой красивой молодой женщине, робко поглядывающей на него.

— Голос очень хороший, — сказал наконец профессор. — Ценный голос. Но вы его изрядно, Полина Андреевна, подпортили на своей эстраде.

Полина Андреевна со страхом увидела, как стало хмуриться его узкое, горбоносое лицо.

— Легко шли по трудному пути. Это, конечно, заманчиво. Непонятно? — вдруг задал он ей вопрос.

Она молчала.

— Вспрыгивали, а не взбирались. Тоже непонятно? С трудом, с великим трудом надо было взбираться все выше и выше. А вы, повторяю, вспрыгивали. И вот к чему привели эти ваши прыжки.

— Что ж, безнадежно дело со мной?

Она ждала его ответа, как ждут приговора. И ей казалось, что вместе с нею ожидает его и Игнат Ложечко.

— Пока еще не безнадежно, — ответил ей профессор. — Но скрывать от вас не имею права: к плохому быстро приближаетесь. Очень быстро.

— К чему плохому? — со страхом спросила она.

Он ответил не сразу, пожевал губами; добродушие и нерешительность его вот именно тут и стали ей очевидными.

— Ничего же вечного нет, — сказал он. — Мы с вами тоже не вечны.

— Что ж, пропадет голос? — спросила она, обмирая от страха.

— Почему пропадет? Это редко бывает. И всегда под влиянием внешних каких-нибудь неблагоприятных причин. А вот уходить голос будет. — Он добавил вдруг с неожиданной жесткостью: — Уйдет — и не попрощается!

Но жесткость эта и слова его не были ей обидны, потому что она чувствовала, что старик искренне страдает оттого, что гибнет ее талант, ее прекрасный голос.

— Ну, а если по-настоящему заняться, учиться — это сколько времени займет? — спросила она.

— Лет пять, — ответил он. — И никаких, конечно, публичных выступлений при этом.

— Тут ничего не получится, — отозвалась она. — У меня на руках мать и сын.

— Получится, — сказал он. — Если вы по-настоящему человек искусства, все у вас получится. Да, я понимаю... Полина Доссэ... зарабатываете, наверное, много. Отказаться от этого трудно.

Все время, пока Полина Андреевна ехала на троллейбусе по московским вечерним притихшим улицам и потом шла от остановки троллейбуса к дому, и в лифте, и в комнате своей она ощущала какой-то странный шум.

Шум как бы окружал ее и двигался вместе с нею. И он не исчез, когда она, сняв пальто и шляпку, направилась в соседнюю комнату, к внуку, — шум этот просто остался за спиной, позади.

Коля, по обыкновению своему, ласково и вместе с тем равнодушно поглядел на бабушку. Такой же взгляд и у его отца, да, кажется, бывал и у деда: доброта и равнодушие, холодная какая-то доброта.

— Ну, как уроки? — задала она ежедневный вопрос.

И Коля ответил ей, как всегда:

— Все будет в порядке.

Ему было одиннадцать лет, он был худенький, миловидный, с фарфоровым кукольным личиком, с умными серыми глазками.

— А мама дома?

— У мамы Дмитрий Борисович.

Полина Андреевна вернулась в свою комнату. Хотя в этой квартире жила одна семья, но как-то так получилось, что у каждого образовалась «своя» комната. У сына Володи с женой Зоей Васильевной — своя; у внука Коли — своя; у нее, Полины Андреевны, — своя. И ходили обитатели этой квартиры друг к другу так, словно комнаты были не по соседству, а в других квартирах, на других этажах. Например, Полина Андреевна всегда, прежде чем зайти в комнату Володи и Зои Васильевны, останавливалась на пороге и почему-то поправляла волосы.

Странный шум, который преследовал ее в ее комнате, теперь исчез. Полина Андреевна опустилась на довольно-таки старенькую, не слишком устойчивую, обитую цветастой, давно выгоревшей материей тахту и заплакала. Она плакала жалобно и долго. По многолетней актерской привычке она даже в такие моменты не переставала наблюдать за собой и обнаружила, что поза ее сейчас некрасива, и придвинулась ближе к стене, поджала под себя ноги.

Теперь Полине Андреевне была лучше видна комната, открылись даже ее углы. В одном из них находилась низенькая тумбочка красного дерева. На верхней полке тумбочки лежали в коробочке из-под конвертов три письма, полученные с фронта в сорок третьем году. Эти письма были полны слов любви и нежности к ней, Полине Андреевне, полны тоски по ней. И было странно, что пи-

сал их тот самый старик, который сейчас сидит за столиком в ресторане «Днепр».

«Если он старик, значит, и она...»

Полина Андреевна вскочила с тахты, подошла к туалетному столику, зажгла лампочку над ним. Зеркало вернуло из полутьмы лицо старой женщины. И те баночки, шпильки, расчески, пульверизаторы, тубочки, что в беспорядке были разбросаны по столику, принадлежали по каким-то неуловимым признакам не молоденькой женщине, а старухе. Почему это так, Полина Андреевна не смогла бы сказать, но когда была молода и хороша собой, на туалетном столике все выглядело как-то по-иному.

Она подошла к круглому, поместившемуся посереди этой большой захламленной комнаты накрытому ковровой пестрой скатертью столу, села на стул и, положив голову на руки, опять заплакала. Но на этот раз уже не наблюдала за собой, она рыдала.

«В чем же дело? — думала она. — Ничего нового мне сейчас зеркало не открыло, я все это замечала и вчера, и третьего дня, так почему же я сейчас так страдаю? Сегодняшняя встреча с Игнатом? Но ведь тут ничего не поделаешь. Значит, надо поскорее забыть сегодняшний вечер. Да, конечно, Игнат — единственный человек, которого я любила. Но был же у меня муж. И прожила я с ним немало. И если бы он не умер, я была бы его женой. Правда, теперь, сегодня вечером, мне стало окончательно ясно, что я его совсем не любила. Но жили мы неплохо.

Забыть, во что бы то ни стало забыть сегодняшний вечер! Надо привести себя в порядок и пойти поглядеть на Колю. И если Дмитрий Борисович уже ушел от Зои, надо будет с ней серьезно поговорить».

Полина Андреевна подошла к туалетному столику и стала «приводить себя в порядок». Через несколько минут она вышла в соседнюю комнату. Коли уже не было, он выучил уроки и пошел погулять перед сном во двор. Об этом Полине Андреевне сказала сноха, Зоя Васильевна, миловидная, худенькая, с пышными светлыми волосами.

— Почему вы сегодня раньше времени приехали, Полина Андреевна? — спросила она.

— Да так, пришлось.

— Может, плохо себя почувствовали? — Зоя Васильевна внимательно поглядела на Полину Андреевну. — А то давайте сердце послушаю. Откровенно говоря, меня немного волнуют вот эти отеки.

Она легко коснулась пальцем лица Полины Андреевны.

— Спасибо за внимание, Зоя, — произнесла Полина Андреевна. — Но меня волнует нечто другое. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? И хотя Володя мой сын, я не хочу и не буду следить за тобой. Но эти постоянные, почти ежедневные посещения Дмитрия Борисовича и, прости меня, эта вдруг возникающая тишина за стенкой твоей комнаты...

— А мы уже давно с Дмитрием Борисовичем — муж и жена, — спокойно сказала Зоя Васильевна.

— Как?! А Володя?

— С Володей мы разошлись. Решили не говорить вам, Полина Андреевна, пока Володя не вернется из экспедиции. Он давно уже должен был вернуться, но знаете, как у них, у геологов: вот-вот конец поискам, а это совсем еще и не конец оказывается. Но в августе уже наверняка Володя приедет, и тогда мы займемся разводом и, увы, всеми связанными с этим... обменом площади и прочим таким. Мне очень грустно и обидно, Полина Андреевна, что так получилось. И к вам я очень привязана. Верьте мне. Понимаю, что и вам расставаться с Колей будет очень трудно. Но жизнь есть жизнь.

— Да, это верно, — согласилась Полина Андреевна. — Жизнь есть жизнь. Я это очень хорошо знаю.

Она вошла в свою комнату. Но теперь странный шум, который на время было покинул ее, вернулся.

«Что ж это такое?» — подумала Полина Андреевна и прислушалась.

Это был скорее не шум, а какой-то отдаленный грохот, напоминающий артиллерийский налет. Да это и есть артиллерийский налет! Конечно. И вот звуки его явственно пробивают крики «ур-ра». Артиллерия затихает, а крики «ур-ра» все громче и громче. Это крик наступающих на позиции врага наших солдат. И тот, кто хотя бы однажды слышал этот крик, не забудет его никогда. Фронтовое «ур-ра» — в нем и жизнь, и смерть, и ликование, и ужас. Только те, кто не был на войне, могут счи-

тать, что крик этот вырывается из души лишь для того, чтобы подбодрить. Конечно, и это. Но главное в том, что в крике этом — и ненависть к врагу, и безумная любовь к родной земле, которая сейчас под ногами необыкновенно как-то тверда, точно хочет, чтобы ты, сын ее, защитник ее, во что бы то ни стало удержался в бою на ногах. И еще твердостью этой своей сообщает тебе, что она с тобой, и что если суждено тебе пасть в этом бою, то она, земля, примет тебя ласково и нежно, как мать родная, которая так уж и не дождется сына с войны.

Сын? А если дочь? А если однажды случилось так, что артистке Московской эстрады Доссэ Полине Андреевне пришлось стрелять по врагам из автомата? И в том, что врагам так и не удалось овладеть избой, где оказалось несколько солдат и с ними Полина Андреевна, была и ее доля кровавой борьбы, ее неумелая стрельба. И, наверное, какой-нибудь редактор газеты, еще не побывавший на войне, обнаружив строки об этом в очерке фронтового корреспондента, вычеркнул бы их, пробормотав: «Так не бывает».

Но так было. И люди падали рядом с нею. А из одной пробитой вражеской пулей шеи молоденького рыжеватого солдата била фонтанчиком кровь. И горячую кровь эту старалась как-нибудь остановить артистка Мосэстрады. Остановила, спасла жизнь.

Странным показался ей сейчас туалетный столик, на котором разбросаны были баночки с кремом, тюбики с губной помадой, расчески, щеточки со следами черной краски, столик — свидетель того, как с каждым годом да и месяцем все больше и больше усилий тратится на то, чтобы «привести себя в порядок».

Надо вернуться в «Днепр», встретиться с Ложечко. Ну конечно, оба они старики, и смешно, глупо, нелепо думать о какой-то там любви. Да и нет ее сейчас, этой любви. За двадцать пять лет разлуки сколько было моментов, когда вообще-то забывались дни, проведенные с Игнатом, даже вообще не верилось, что были такие дни. Время упорно делало и сделало свое: оно справилось с памятью Полины Андреевны, оно внесло в жизнь Полины Андреевны и новые радости, и новые горести. Но все равно она и Ложечко должны поговорить, вспомнить многое: и те времена, и полк, и дивизию. Уже одно это

даст какую-то уверенность в себе, внутреннюю силу, что поможет перенести распад пусть не очень крепкой, но все же семьи ее сына. А еще эти воспоминания безусловно возбудят в ней самоуважение, может быть, даже гордость, необходимые для того, чтобы иронически относиться к пренебрежению, а то и к унижению, которые нет-нет, но приходится испытывать эстрадной певице, выступающей в ресторане второго разряда.

Вот как она скажет Ложечко:

— Не станем говорить о том, что было. Это прошло. Смешно. Мы уже старики. И я вернулась в ресторан лишь для того, чтобы вспомнить те годы. Мы же, Игнат Семенович, с вами фронтовые товарищи. И мне очень нужно, да нет, мне просто необходимо, чтобы тот, кто был тогда в наступающем на врага полку, побыл бы сейчас немного со мной.

Уже из раздевалки было видно Полине Андреевне, что в дальнем углу зала за небольшим столиком никто не сидит. Все же она отдала пальто швейцару Григорию Ивановичу, пожилому, добродушному, очень болтливому человеку, и вошла в зал. Время было позднее, и народу оставалось немного. Она подошла к тому столику, за которым недавно сидел Ложечко. Никаких следов его тут не было, да и быть не могло. На столике — чистая скатерть, узкий бокал, из которого выглядывают похожие на мехи гармоники бумажные салфеточки, белая фаянсовая пепельница вся в кругленьких черных шрамах оттого, что слишком энергично тушат в ней горящие окурки.

Полина Андреевна постояла с минуту у этого столика и пошла в раздевалку.

— Вернулись зачем, Полина Андреевна? — спросил Григорий Иванович. — Может, забыли или обронили что?

— Да нет. . . так. А вы не заметили, Григорий Иванович, за тем дальним столиком полковник сидел с молодым человеком?

— Как же это я мог не заметить, Полина Андреевна? Не только заметил, а и немного поговорил с ними, когда они уходили.

— А давно он ушел?

— Да почти перед тем, как вам прийти. Очень любезный товарищ полковник, и внимательный. Почему,

спрашивает, ваш директор так редко моргает. Ну я ему, конечно, ответил, что Павел Сергеевич наш сильно контуженный на войне и что могло и так случиться, что совсем бы не моргал. Одобрительно они очень к нашему ресторану отнеслись. «У вас тут чистенько и готовят вкусно». Прямо так и сказал: «Мы ваши гости!»

— Значит, придет еще?

— На мой взгляд, Полина Андреевна, обязательно.

— Ну, а про оркестр что-нибудь сказал?

— Оркестр, говорит, у вас средний.

— А обо мне не отзывался?

— О вас, Полина Андреевна, ни одного слова даже не было сказано. — Григорий Иванович помолчал и добавил: — Я располагаю, что посетят они нас в скором времени, потому что живут совсем неподалеку... недавно переехали в наш район. А жена ихняя, — не спросил я его, по какой она специальности, — часто уезжает из Москвы по делам своим. Вот они с сыном и пришли сюда подзакусить. Если раз пришли и все их тут удовлетворило, так почему же еще не заявиться?

«Да, он придет, обязательно придет!» — подумала Полина Андреевна, попрощалась с Григорием Ивановичем и вышла на улицу.

Сильный ветер, которого она не заметила, когда торопилась в «Днепр», дул ей сейчас в лицо; плотный и упругий, он мешал двигаться, но она, не замедляя шагов, все шла по полутемным улицам. Миновала одну троллейбусную остановку, потом другую. На душе у нее было сейчас легко, так, как давно уже не бывало. Иногда приходилось отталкивать, отпихивать от себя ветер, придерживать рукой шляпку, чтобы не улетела. Но все это не слишком мешало ей идти вперед и довольно громко произносить одну и ту же фразу:

— Он придет, он обязательно придет.

И когда ветер доносил эти слова до людей, которые обгоняли ее, они с удивлением оглядывались.



ПОВЕСТИ

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Я. З. Черняку

I

Разговор этот, как всегда, затягивается. Председатель Сбищенского исполкома Савелий Горюшкин ходит по просторному своему кабинету быстро и взволнованно.

— Я голову свою положу, а школа будет.

Правая нога у Горюшкина значительно короче левой, махновская пуля не пощадила и шеи: голова поэтому свисает вбок, к плечу. Горюшкин, отрывистый и хрупкий, как игрушка, кажется сейчас учителю Кобякину сбежавшим из колоды карточным валетом.

Учителю Кобякину всегда в таких случаях не по себе. Он хорошо уже знает упрямство этого изуродованного войной председателя Сбищенского исполкома. Разговор будет еще долгим, утомительным, тяжелым, а главное — безрезультатным.

— Нельзя, — говорит Кобякин. — Без учителя математики не бывает школы. Я не решаюсь открыть гимназию без математики.

— Гимназия! — смеется Горюшкин. — Сказали тоже! Какая же это гимназия? Это простая школа для трудящегося населения.

Потом голос его становится вкрадчивым:

— Я прошу вас, Кобякин, прошу. . .

— Не могу я! — кричит пронзительно Кобякин. — Не могу! .. Голова ваша набита чушью. .. Вы ужасный человек!

У Кобякина больное сердце, и речь его поминутно прерывается. Он долго и встревоженно кричит, бранит

председателя Сбищенского исполкома, произносит много обидных слов.

Горюшкин терпеливо слушает. Кобякин постепенно успокаивается, ему стыдно теперь: он старается не встречаться взглядом с Горюшкиным.

— Вот вы всегда так, ни с чем не считаетесь, а я человек больной, нервный. — Потом переходит на официальный тон: — Я, товарищ Горюшкин, как завнаробразом, заявляю вам вот уже который раз о том, что невозможно в Сбищенске открыть школу второй ступени. Я докладывал вам, что нет у нас учителя математики. С тех пор, как умер Валериан Осипович Стулов, нет в Сбищенске математика, нет и не будет и не может быть, ведь теперь не военный коммунизм, теперь принуждения нет, силком никого не потянешь. А добровольно свежие люди к нам не поедут, свежие люди живут в городах. . .

— Чушь! — решительно перебивает Горюшкин. — Сбищенск — город. . . И имейте в виду — это позор, что в таком городе нет школы второй ступени, позор! . .

— У нас школа есть, — возражает Кобякин, — на манер церковноприходской, хватит с нас, и то еще много. Да-с!

— Я не хочу слушать ваших слов, — говорит Горюшкин сердито, — мне слова ваши непонятны вовсе, это постыдные слова. Сбищенск — город, а город не должен быть без школы.

— Какой у нас здесь город? — смеется Кобякин. — Вы в Москве бывали? — Он подходит к окну, потом подзывает Горюшкина. — Вот, смотрите, — говорит он, — убеждайтесь.

На улице, в нерешительной редкой траве, пасется рыжий жеребенок. Пьяный человек лежит неподалеку. Жеребенок привязан тонкой веревкой к забору, он хочет удрать и тянет веревку.

— Ишь ты! — вдруг хохочет Горюшкин. — Шустрый, дьяволенок, а боится, сукин сын, фырчит. Люблю коней. В кавалерии кто служил, тот коня понимает. А в революцию, если хотите знать, кавалерия первейшим войском была. Вы, товарищ Кобякин, никогда в кавалерии не служили?

— Никогда, — отвечает Кобякин недовольным голосом.

Горюшкин смеется сильнее. Он ведь и раньше знал, что не только в кавалерии, но и вообще ни в каких войсках не служил болезненный, тощий Кобякин, спросил же о кавалерии потому, что в этой области чувствует великое свое превосходство.

Но Кобякин не намерен продолжать этот опасный для него разговор.

— Вот и все, — говорит он, — теперь вам, надеюсь, ясно, что школу открыть невозможно. И мечтать не стоит.

Горюшкин уже не смеется.

— Товарищ Кобякин, — говорит он, — а что, если Афонькина пригласить для математики? А?

Горюшкин робеет: он не раз уже предлагал Афонькина, и теперь, как и прежде, строго возражает Кобякин:

— Нет, Афонькина нельзя: какой же он математик! Я ведь уже говорил вам неоднократно об этом. Афонькин в школе первой ступени еле-еле с арифметикой справляется. Нет, Афонькина никак нельзя.

Говорить больше незачем, но у Горюшкина есть многое, о чем хотелось бы сказать. Только не поймет его Кобякин. Многие люди в этом мертвом Сбищенске так же вот не могут понять его. Сегодня опять победил Кобякин. Горюшкин расстроен. Он снова начинает сосредоточенно ходить по обширному кабинету. На его пути, в грязной раме давно не метенного пола, лежит широкий солнечный луч, и каждый раз, когда ступает Горюшкин на этот луч, загорается его жесткая фигура, и отчетливо становится видно, как тяжело его короткой, непоспевающей за ним ноге, как страдает сломленная его шея.

Кобякин тащит болезненный волос из щеки, и ему становится жаль Горюшкина.

— Вы наивный мечтатель, Горюшкин, — говорит он, — в наше время нельзя так, нельзя.

Других подходящих слов не находится, и Кобякин уходит. Он спускается по ветхим, обглоданным ступенькам и думает о школе, о гражданской войне, о Горюшкине.

На улице проснувшийся пьяный человек ловит убежавшего все-таки рыжего жеребенка. В тонких ногах жеребенка течет щекочущая быстрая кровь. Жеребенок пляшет. Эта пляска напоминает радостный смех. Она порывиста, как испуг спросонья; жеребенок возбужден,

кажется, что он хочет незаметно окружить маленькую полоску земли, им самим выбранную для игры. Кобякин смотрит на счастливого жеребенка и почему-то думает о Москве, о балете, о молодости.

Но улица Сбищенска не терпит мечтателей, она напоминает Кобякину о себе, о трехтысячном населении города, о тоске и еще о многом. Улица хохочет. Жеребенок пляшет. Он выбрасывает ноги, совсем как балерина. Кобякина теснят воспоминания.

«Довольно, — говорит он строго сам себе. — Я прошу вас, Василий Саввич, довольно. Вы опять можете распуститься».

Кобякин быстрыми шагами уходит.

II

В Сбищенске всего-навсего две улицы. Остальное — зады. Зады зеленеют летом, белеют зимой и ничем, в сущности, не отличаются от полей, окружающих Сбищенск. Но в Сбищенске испокон века привыкли считать округ на полверсты городскими задами. Такая уж страсть к простору у жителей этого маленького городка. Две улицы Сбищенска, в этом окружении задов, являются центром, и Сбищенск кажется заправским, настоящим городом. На задах, правда, кое-где дремлют домишки, но их так мало, что только по вечерам, когда зажигаются в них трепетные керосиновые огни, можно убедиться в их существовании.

Трепетным сияньем керосиновых огней встретил Сбищенск революцию. Она прошла торопливо. Ей не было смысла задерживаться надолго в этом захолустном городке. Революция наспех переодела в штатский костюм исправника, поснимала гербы, трехцветные ленты и ушла дальше, а Сбищенск остался ничего не понимающим, прозевавшим. Через некоторое время пришла другая революция. Кое-кому из сбищенцев показалось даже, что это та, первая, революция вернулась. Ошибка, впрочем, скоро обнаружилась.

Потом в городе стали меняться власти. Они менялись так часто, что у жителей пропала охота интересоваться каждой из них.

Но вот в город пришла советская власть, и тогда появился Константин Глюк.

Константин Глюк прибыл в Сбищенск следом за кавалерийским красным полком имени товарища Буденного. Глюк носил новенькую гимназическую шинель и маузер несуразных размеров. Лицо у Глюка было полное, круглое, но строгое. Глаза тоже строгие. Даже те, кто знал, что Константин Глюк сын доктора Глюка, добрейшего немца из губернского города, — даже те верили в суровую непреклонность молодого комиссара.

Константин Глюк объяснился в любви дочери отца Алексея, Татьяне Маликовой, и она ходила к нему в ревком.

Жажда нововведений овладела Глюком, и однажды он переименовал две улицы Сбищенска. Шесть лет, проведенных в губернской гимназии, внушили ему благоговение перед культурой. Улицу Дворянскую он назвал Робеспьеровской, улицу Петровскую — Тургеневской. Сбищенск удивился несказанно этому переименованию, но промолчал. Правда, на Робеспьеровской улице еще кое-кто слышал о Тургеневе, но зато на Тургеневской — никто ничего о Робеспьере. Сведения о Тургеневе шли из пыльной маленькой городской библиотеки, где имелись разрозненные собрания сочинений классиков: «Дворянское гнездо» было самой потрепанной книжкой в этой библиотеке, и все почти девушки в городе не раз плакали о печальной судьбе Лизы Калитиной. Они плакали горько и искренне, незабываемыми слезами, так, как умеют плакать только провинциальные девушки, и когда появились на углах красные новые таблички с надписью «Тургеневская», сразу вспомнили о своих слезах и рассказали отцам и братьям своим все, что знали о Тургеневе. Робеспьеру же нечем было тронуть сердца сбищенских девушек, и он остался для города таинственным незнакомцем.

А Константин Глюк гремел шпорами, отбирал с шумом имущество у местного богатея Чиликина и производил впечатление. Кавалерийский полк имени товарища Буденного, с которым прибыл Глюк в Сбищенск, с каждым днем все больше терял свою воинственность, и горожанам становилось понятно, что война кончается и что советская власть останется надолго.

В это время в город приехал Савелий Горюшкин. Он приехал тогда, когда в боевое «Яблочко», распеваемое кавалеристами, вплелось уже много мирных куплетов и когда мирная подсолнечная шелуха чертила уже свой летний узор на улицах Сбищенска.

Константин Глюк отзывался в губернский город, а Савелий Горюшкин назначался на его место.

— Я оставляю вам этот город, — сказал Глюк Горюшкину на прощанье, и голос его был грустным. — Я много сделал для этого города. Здесь остается частица меня самого. . .

Глюк уезжал из Сбищенска, а Таня Маликова ходила с заплаканными глазами.

— Я не могу продолжать так дальше, — сказал ей Константин Глюк. — Вы — дочь священника, и мне понятны ваши колебания, а я революционер и иду смело по своей дороге. . . Венчаться в церкви я не буду никогда, и вообще между нами стена.

Таня Маликова плакала. Она совсем не понимала, о какой стене говорит Глюк.

Глюк уехал. Ревком сменился исполкомом, и Горюшкин стал его председателем.

Савелий Горюшкин не пролил под Сбищенском ни одной капли своей крови, и, может быть, поэтому жители города привыкли видеть его всегда робким и сконфуженным. За годы революции Горюшкин твердо уверовал в то, что жизненное благо и счастье некоторым людям, и ему в том числе, даются только в обмен на собственную кровь. И на подступах к другим городам Савелий Горюшкин пролил немало собственной крови. Она текла, эта кровь, по украинским, сочным и без того, полям, она красила в черный цвет грязные полы́ в местечках Западного края.

В последнем бою осколок гранаты пробил Горюшкину грудь. Толстенький лазаретный врач сказал тогда ему, что надо сильно радоваться, так как еще немного, какой-нибудь сантиметр, осколок попал бы в сердце, и был бы конец. И Горюшкин радовался. Эта радость была в нем долго. Даже тогда, когда вышел он из лазарета с тяжелой головой, весь овеянный новыми непривычными ощущениями, даже тогда владела им она. В этот день был первый заморозок, и люди, не привыкшие еще к хо-

лоду, бежали по тротуару, обгоняя друг друга. Горюшкин шел медленно, хотя и ему было холодно. Он привыкал к тому, что правая нога только носком своим касается земли, что шея не гнется, что ему, подобно другим людям, бежать от холода нельзя. Всю дальнейшую жизнь будет он окружен этими новыми, мучительными ощущениями. Через полчаса эти новые ощущения победили его; он, выбившись из сил, прислонился к стене. Локти его коснулись перил, он обернулся. Перед ним была витрина часовщика. На окоченевшей, остановившейся улице витрина эта пылала теплом и быстротой. Стрелки многочисленных часов шли верным шагом навстречу друг другу, маятники, опьяненные ритмом, подбрасывали свои блестящие тела все выше и выше, точно стараясь раскачаться наконец и описать круг. Казалось, само окно вот-вот вырвется из сковывающего его обледенелого четырехугольника стены и со звоном покатится куда-то. Горюшкин не отрывал глаз от витрины. Он долго стоял так, чувствуя, что не может обернуться назад, лицом к холодной, мертвой улице. Перед этим живым двигающимся окном он вдруг по-настоящему ощутил себя калекой.

Ему стало жалко себя.

Потом он, как мог, быстро ушел от этой витрины. Иногда впоследствии он вспоминал ее.

Работа в гражданских учреждениях показалась после войны простой и легкой. Но чем больше вникал он в эту работу, тем больше возникало трудностей. Партия перебрасывала его с одного места на другое, и в конце концов он попал в Сбищенск.

Горюшкину, уроженцу Москвы, не приходилось никогда бывать в таких игрушечных городках. Он с интересом стал приглядываться к Сбищенску и, чем больше вникал в его жизнь, тем все больше удивлялся: сбищенцы жили почти так же, как и раньше, до революции, почти так же, как пятнадцать лет назад жили люди в уголках Замоскворечья, там, где родился и провел свое детство Горюшкин. Жители Сбищенска не допустили революцию проникнуть в их сердца. Все это было непонятно Горюшкину. Он с первых же дней стал действовать: убеждал, объяснял, просил. Но, увы, все это не имело результатов.

— Здесь ссылка была, — отвечали обыкновенно

сбищенцы, выслушав горячую речь Горюшкина, — да-с, ссылка, сюда люди приезжали умирать. Здесь для этой прекрасной цели все и приспособлено, а вы хотите вот что сотворить.

— А считали вы, сколько отсюда километров будет до центра? — спрашивали его другие. — Нет? Ну то-то, посчитайте, тогда поговорим. — И уходили, посмеиваясь.

Но Горюшкин не сдавался. Будучи мечтателем, он не раз, сидя в опустевшей зале исполкома, отдыхая от мудреных дневных своих дел, размышлял о будущем. Будущее это представлялось ему прекрасным. Он твердо верил в то, что обязательно через некоторое время сдастся этот упрямый город, что станет он настоящим культурным советским городом. Электричество, школа для Сбищенска — вот о чем мечтал Горюшкин. Главное — школа, настоящая, второй ступени, на манер тех, которых так много там, в центре, в веселых, счастливых городах.

«Неужели и города бывают в этом смысле разные? — думал Горюшкин. — Одни — счастливые, другие — несчастные. И неужели же Сбищенск несчастный город? Чепуха, не может этого быть! . .»

III

У учителя Кобякина живет кухарка Марфа — полная и уверенная в себе женщина. Живет она у Кобякина уже давно и потому считает себя законной хозяйкой. Марфа вдова, и никто не скажет о ее поведении чего-нибудь дурного. Ходят слухи по городу о том, что уже довольно продолжительное время ухаживает за Марфой учитель арифметики Афонькин. Слухи эти имеют основание. Каждый раз, когда Афонькин приходит к Кобякину, он улучает момент, чтобы спросить:

— Ну, Марфа Ивановна, как? Не надумали еще?

И каждый раз отвечает Марфа:

— Не надумала еще, Петр Петрович! Нет.

Однажды Марфа спросила Афонькина:

— А как, Петр Петрович, вы на войне так и не побывали?

— Не побывал, — ответил Афонькин с досадой, потом добавил: — Я знаю, Марфа Ивановна, откуда у вас

такие мысли. Я знаю, Горюшкин к вам любовь питает, только калека он и притом простой совсем человек. Это разница большая, если, с одной стороны, простой человек и калека, а с другой стороны — образованный интеллигент.

Марфа рассмеялась.

— Это вы-то образованный интеллигент? — спросила она. — Расскажете тоже! Вот хозяин мой, Василий Саввич, этот действительно образованный, а вы-то — смешно!..

Она еще долго посмеивалась над ним в этот вечер. Защищаться Афонькину было трудно. «Несущественной жизни человек», как говорили о нем в городе. Бывший дьячок, изгнанный из церкви за многочисленные непотребные поступки, он подвизался теперь в роли учителя начальной школы. Даже сбищенцы трунили над ним и рассказывали анекдоты о его учебных делах.

В этот вечер он понял, что между Марфой и Горюшкиным существует не то любовь, не то дружба. Чересчур уж рьяно защищает Марфа этого калеку.

Афонькин на другой день говорил Кобякину:

— Это удивительно, Василий Саввич, без смеха не могу глаголить. Официальное лицо, так сказать, председатель исполкома, и вдруг начинает путаться с вашей кухаркой. Да-с. Об этом в городе уже говорят...

— Вы ревнуете, Афонькин? — спросил Кобякин и вдруг рассмеялся.

Афонькин с удивлением посмотрел на него. Кобякин никогда не смеялся, Сбищенск уже давно отучил его от этой привычки.

— Вы ревнуете, Афонькин? — спросил Кобякин, на этот раз серьезно. — А знаете что: женитесь на Марфе, я ведь вижу, вы хотите этого...

— Хочу, — тихо сказал Афонькин, — очень хочу... У ней, знаете, Василий Саввич, руки теплые и улыбка притом такая особенная. А мы, знаете ли, бобыли, любим, чтобы улыбка...

Афонькин не мог кончить фразу: он волновался. Тронутый Кобякин обещал сам поговорить с Марфой, но все как-то не решался. Долгие годы под одной крышей не сблизили его с ней. Кобякин не умел сближаться с людьми, он почти никогда не разговаривал с Марфой.

Прошлое друг друга как будто бы совсем не интересовало их. Марфа знала, что Кобякин приехал в Сбищенск из Москвы, что привез он с собой какое-то неутолимое горе, что вскоре по приезде пытался покончить расчеты с жизнью. Вот и все. Кобякин знал о Марфе и того меньше.

Афонькин напомнил однажды Кобякину об обещании. Но Кобякину все как-то не удавалось поговорить с Марфой. Он теперь, впрочем, и сам замечал, что между Марфой и Горюшкиным сложились какие-то странные отношения, что Горюшкин заходит к нему по исполкомовским делам умышленно рано, явно желая не застать его дома.

Кобякин не ошибался. Горюшкина действительно тянуло к Марфе. Сбищенские темные вечера тяготили его. Горюшкин долго просиживал в своей убогой комнате, не зная, чем заняться. После четырех часов дня — после служебного времени — никто не интересовался Горюшкиным, и ему было тоскливо. Иногда, когда тоска была особенно невыносимой, он шел к Кобякину.

Марфа обыкновенно встречала его в дверях. Горюшкин, стараясь не глядеть на нее, спрашивал Кобякина, и она отводила его в хозяйский кабинет.

Марфа, казалось, не замечая смущения Горюшкина, говорила:

— Сейчас они придут, подождите, Савелий Борисович! — Потом прислонялась к косяку двери и спрашивала: — Как, обживаетесь у нас-то?

— Обживаюсь, — отвечал Горюшкин. — Я, Марфа Ивановна, где хотите обживусь!

И он начинал трунить над своим увечьем, что ему, мол, теперь все равно, где жить. Потом говорил о гражданской войне и о теперешних задачах. Марфа была, пожалуй, лучшим слушателем его в Сбищенске. Она вникала в каждое слово, а иногда неожиданно спрашивала:

— Скажите, Савелий Борисович, есть бог?

— Нет, — решительно отвечал Горюшкин.

— А угодники?

— И угодников нет.

— Ну, это вы оставьте! — Марфа начинала горячиться — Угодники есть, я это знаю.

— Обман, — говорил Горюшкин, — поповский обман для трудящихся.

— Попы, они народ с понятием, — волновалась Марфа, — вон отец Алексей Маликов наш, смотрите, какой человек!

— Не вижу ничего особенного я в этом отце Алексее, — отвечал Горюшкин. — Контрреволюционер он всем известный, вот что! А вот если хотите знать, какие настоящие люди бывают, то расскажу вам о комиссаре нашем, о Яшке Шабаше, на станции Попятовка зарубленном беляками.

И он рассказывал о Яшке Шабаше. Это была длинная героическая история. Сам Горюшкин играл в этой истории немаловажную роль, но о себе, по обыкновению, умалчивал.

Марфа слушала, охала, восторгалась и изредка прерывала его вопросами.

Иногда неожиданно резюмировала:

— А все-таки насчет угодников вы напрасно, Савелий Борисович! Николай-чудотворец — и вдруг никогда не был! Я с этим, как хотите, не согласна.

Горюшкин долго и подробно доказывал тогда Марфе, что если бы даже и был когда-нибудь Николай-чудотворец, то у Яшки Шабаша, красного героя, есть все преимущества перед этим святым.

Иногда разговоры были другие.

— Я этот город приведу в порядок, — говорил Горюшкин. — Этот город, если хотите знать, сильно нуждается в порядке. Скажите, Марфа Ивановна, если в этом самом Сбищенске да вдруг брызнуть электричеством, что бы тогда получилось? Вы когда-нибудь трамвай видели, нет? Ну то-то же! Большая культура в этом самом трамвае заключается... Или школу взять, к примеру, настоящую школу.

Один раз после такого разговора Марфа поглядела как-то особенно на Горюшкина и спросила неожиданно:

— Савелий Борисович, не пугаетесь вы одинокой вашей жизни?

— Пугаюсь, — тихо ответил Горюшкин. — Иногда пугаюсь, очень даже.

— Человеку жить одному очень тяжело, — сказала Марфа. — Я вот тоже...

Горюшкин понял, что Марфа ему сейчас скажет то, что он уже давно хочет от нее услышать.

Но в это время пришел Кобякин, и разговор был прерван.

Через час, уходя домой, Горюшкин обдумывал слова Марфы и старался в точности представить себе выражение ее лица в этот момент, когда говорила она с ним о тоске своей и одиночестве.

«Что же, — думал он, — ладно; только как бы получше все это устроить? А она хорошая женщина. Как здорово все получается. . .»

С этого времени Горюшкин стал приходить к Кобякину еще чаще. Правда, прерванный разговор между ним и Марфой не возобновлялся, но оба чувствовали, как крепнут их отношения.

Афонькин не напоминал больше Кобякину о своей просьбе.

Как-то раз он спросил у Марфы обычное:

— Вы не надумали еще, Марфа Ивановна?

Но она притворилась, что не слышит вопроса.

IV

В кино «Факел» на пожелтевшем от времени экране мелькают почти безостановочно люди, дома-небоскребы, ручейки. Они мелькают так быстро потому, что механик Гришин получает каждый вечер от владельца кино, Самуила Герца, такое задание: обязательно чтобы успеть три сеанса.

Успеть очень трудно. Сбищенскими гражданами уже к десяти часам вечера овладевает желание сна, и они покидают кино.

Быстро чередуются картины на экране, и с трудом догоняет их старинный французский вальс. Этот вальс в кино «Факел» играет Сережа Курков. Он играет его вот уже пять лет, с тех самых пор, как приехал в Сбищенск. Сережа Курков не обладает большой музыкальной фантазией и дарованиями. Кроме вальса, он играет еще одну веселую песенку — под комические картины и падающие ручейки. Французский старинный вальс преобладает. Мотив вальса хорошо известен городу, его

напевают сбищенцы во время работы, на гулянье, в домах. Композитора, сочинившего этот вальс, не знают в Сбищенске, и все поэтому называют вальс «вальсом Куркова». Сережа не гордится этим. Ему все равно.

Иногда Самуилом Герцем овладевает сомнение.

— Мне интересно узнать, — говорит он Сереже, — почему вы все время играете один и тот же мотив? За пять лет, мне кажется, можно было бы разучить еще что-нибудь.

Сережа молчит, — отвечать не хочется, да и нечего. Иногда, впрочем, он говорит:

— У каждого свои вкусы.

— Это так, — соглашается Герц, — но если человек получает жалованье, то он должен думать о вкусах других людей. Вот вчера булочник Митин уже выражал свое неудовольствие, а позавчера. . .

— Я подумаю, — говорит Сережа, — хорошо.

Думать он идет в свою комнату. Комната эта единственным окном выходит в поле. Сережа садится к окну, глядит в летнюю сухую даль и думает о французском старинном вальсе, который надоел булочнику Митину и который нужно обязательно заменить чем-то. Потом мысли неожиданно переносятся к Татьяне Маликовой, потом опять возвращаются к вальсу.

Этот французский старинный вальс — единственное, что уцелело от Сережиного прошлого: крохотная частичка его, Сережиной, радостной юности, и, может быть, потому так приятны его звуки.

Однако надо же принять во внимание слова Самуила Герца. Сережа достает кипу нот с этажерки. Ноты желтые, как старые карты, они пропитаны запахом сырого тления.

Сережа выбирает наугад. Это веселая тирольская песенка. Сережа садится за фортепиано и играет. Играет он плохо. Веселые звуки тирольской песенки с трудом отрываются от пропыленных нот; Сереже кажется, что на нотах осталось еще много притаившихся звуков, и он с ожесточением бьет по клавишам фортепиано. Старенькая, уже совсем безумная нотка хихикает где-то в глубине фортепиано, Сережа бьет все сильнее по клавишам и неожиданно для себя замечает, что фортепиано играет все тот же французский старин-

ный вальс. Сережа хочет удивиться, но мысли уносятся почему-то к Татьяне Маликовой.

Тот вечер вспоминается сейчас Сереже. Он, влюбленный, пришел тогда к Тане, чтобы сказать ей все. Они сидели в пухлой, беззвучной поповской гостиной, и в пересохшем углу комнаты трещало что-то время от времени. Вечер уже наполнил собой этот угол, и звуки поэтому казались таинственными и старинными. Сережа подбирал в уме нужные для разговора с Таней слова. Но сделать это было нелегко, и, чтобы скрыть смущение, Сережа сел за фортепиано и заиграл первую пришедшую на память мелодию. Это был французский старинный вальс. На фортепиано все клавиши были одинаково желтые и дружно хранили тайну того, какие звуки прячутся за ними в глубине облезшего ящика. Таня знала, что звуки эти чавкающие, хрипящие (фортепиано, как и весь десяток имевшихся в Сбищенске инструментов, было старое и дряхлое). Теперь Таня была удивлена: фортепиано дрожало, волновалось по-молодому, по-молодому стыдилось чего-то и пело чудный мотив.

— Как вы хорошо играете! — сказала она. — Я почему-то представила себя маленькой.

Тогда у Сережи нашлись нужные слова, и он сказал ей о своей любви. В этот вечер они сидели долго в пухлой гостиной. Потом он стал ежедневно бывать у Маликовых. Он вдруг перестал пугаться Сбищенска и даже почувствовал, что может полюбить его. Иногда, впрочем, приходили в голову мысли о том, что судьба его действительно странная. Разве мог бы предположить он, с детства мечтавший о подвигах и необычном, что полюбит поповскую дочку, тихую девушку, и успокоит все свои порывы в маленьком мертвом городишке? Но подобные мысли не долго тревожили его.

С того дня, когда в город явился комиссар Константин Глюк, все изменилось. Глюк поселился в реквизированной комнате поповского дома. Он приглашен был Таней пить чай в гостиную. Сережа Курков слушал речи комиссара Глюка и наблюдал за Таней.

Глюк говорил много и красиво. Безусловная покорность Сбищенска внушила ему радостную мысль о том, что не кто иной, а только он, комиссар Глюк, призван сделать счастливым этот город. Глюк понимал, что ни-

кого другого, подобного ему, столь блестящего и властного, не видал еще Сбищенск. И теперь, сидя в поповской гостиной, он чувствовал прилив необыкновенной энергии. Он рассказывал о суровой своей жизни, он говорил о перспективах, которые стоят перед человечеством, не исключая, конечно, и сбищенских граждан. Эти великолепные перспективы он совсем не отделял от великолепной и могущественной своей личности, и Таня Маликова слушала его с восхищением. Глюк пересыпал слова свои цитатами из авторов, известных ему по гимназическим наукам и непроверенным слухам.

Сережа молчал, только когда уходил, сказал Тане, провожавшей его к двери:

— Врал он много, вот что!

Таня с досадой заметила:

— Вы всегда так, всегда!

И Сережа увидел, что Таня хочет, чтобы поскорее ушел он домой, что ее влечет в гостиную, где дожидается комиссар Константин Глюк.

— Вы всегда так! — повторила она и захлопнула дверь.

После этого Сережа встретился с Таней всего один раз. Они даже не объяснялись. Все было понятно без слов. Когда Константин Глюк уехал из Сбищенска, Сережа подсмотрел как-то раз Танины слезы и сказал:

— Он бросил вас...

Она ничего не ответила ему, и с тех пор они уже никогда не говорили друг с другом.

...Сережа встает из-за фортепиано: он не может больше играть. Он хватает нотный листок с подставки и рвет его. Сбищенск никогда не услышит звуков радостной тирольской песенки. Потом Сережа идет к Герцу.

— Я отказываюсь играть, — кричит он, — к черту!.. Я давно уже ненавижу вас, ваше кино, я...

Герц спокоен.

— Не волнуйтесь, —говорит он, — эта поповская дочка сведет вас в конце концов с ума. Берите пример с меня: вот я тоже холостой, но я не поддаюсь таким пустякам. Вот у вас опять начинается истерика.

Но пока Герц говорит это, истерика уже кончается. Сережей овладевает желание что-нибудь сделать, что-нибудь совершить удивительное, именно совершить,

а не сказать. Но у него нет уже сил. Уходя, он слышит слова Герца:

— Так смотрите, не забудьте, сегодня мы начинаем сеансы на пятнадцать минут раньше. Попробуем еще эту меру. Ничего себе город, в котором люди за сон отдадут душу...

Сережа приходит к себе, он подбирает обрывки нот и садится к окну. Ему кажется, что на другой стороне поля, вдали, стоит такой же маленький прогнивший домишко и у окна сидит такой же, как и он, страдающий и настоящий человек. Но ведь если так, они могли бы облегчить участь друг друга. Сережа стремительно соскакивает со стула и выбегает из комнаты. Он опирается на трухлявый заборчик и глядит пристально вдаль. Заборчик пищит, и еще раньше, чем Сережа привыкает к этому, появляется Афонькин.

— Здравствуйте! — говорит он, и заборчик умолкает, пораженный его скрипучим голосом. — Вот я и опять к вам.

Они идут в дом. Несколько минут длится молчание.

— Когда же вы обучите меня играть, Сережа? — спрашивает Афонькин. — Гитара, знаете, в жизни человека может совершить свою роль.

Гитара у Афонькина новенькая, вся в оболочке липкого блеска. На грифе ее болтается поникшим мотыльком грязный красный бант, снятый, вероятно, с какой-нибудь стенной фотографии.

— Зачем вам гитара? — спрашивает Сережа. — Даже странно!

— Гитара может в жизни человека совершить свою прекрасную роль, — повторяет неопределенно Афонькин и начинает дергать басовую струну. Струна жужжит. Большая муха на окне отвечает ей.

— Это невыносимо, — говорит Сережа, — дайте сюда. — Он настраивает гитару, и Афонькин, получив ее, шевелит пальцами по грифу и поет.

— Не так, — говорит Сережа, — знаете, у вас нет никаких способностей к музыке.

Голос у Афонькина вот-вот оборвется, Афонькин поет «Среди долины ровныя».

— Ну, вот вам почти что и весь аккомпанемент, —

говорит Сережа, обессилев в борьбе с афонькинской тупостью.

Афонькин откладывает гитару, поправляет бант на грифе и собирается уходить.

— Так вы думаете, я уже смогу играть? — спрашивает он.

Потом берет осторожно гитару, заворачивает ее в платок. Бант кажется уже теперь не мотыльком, а красными тяжелыми ушами. Афонькин кашляет и говорит:

— В человеке таинственность необходима. Человек без таинственности — сплошной нуль. Человек, который с гитарой, да еще и поет, — он завоюет любовь женщины, потому они обожают эту таинственность. Человек должен быть с одним неизвестным, с двумя неизвестными или даже со многими неизвестными. Это, знаете, когда человек есть неразгаданный икс. Женщины любят таких, и я добьюсь.

Он уходит. Сережа снова садится к окну, но теперь ему не кажется, что на другой стороне поля такой же, как и он, сидит у окна страдающий и настоящий человек. Сережа уверен теперь в том, что там никого нет. Сережа сидит без мыслей, только бант с афонькинской гитары оживает в его сознании и неожиданно делает неуклюжие красные перелеты. Растревоженная афонькинской гитарой муха плетет скрипучий узор над Сережиной головой.

V

В маленьком городке почти все единственное. Единственная водокачка, единственное кино, единственный еврей, и у каждого жителя по единственному желанию. Только тоска во множестве, она охватывает крепкими своими путами все. Тоска стелется по паршивой захолустной земле и тянется к разочарованному уездному небу. Путь, впрочем, недалекий, потому что небо в Сбищенске начинается совсем близко от земли, а именно от крыши дома бывшего церковного совета, полутораэтажного, самого высокого в городе. Людям, живущим в Париже, небо кажется заманчивой далекой картиной. Жители же Сбищенска ощущают небо как непосред-

ственную суть своей жизни, как песок, вздымающийся от неосторожных шагов на немощеной улице, как дрему, как старенькие умирающие домишки. Нет, Париж и Сбищенск — совсем разные города. На зеленой карте мира они никогда не переглядываются между собой, и в Сбищенске не верят в Париж, в Париже не знают про Сбищенск.

Вот мысли, которые уже много лет теснятся в сознании Кобякина. И всех назойливее мысль о Париже. Кобякин грезит Парижем. Почему — он не знает: ведь он никогда там не был. Но Париж, Париж... Увы, пока только Сбищенск, этот ужасный город...

И в тот вечер, когда пришел Горюшкин, всегдашние мысли терзали Кобякина.

— Здравствуйте! — произнес Горюшкин против своего обыкновения громко.

Кобякин понял, что сейчас скажет он что-нибудь значительное.

Горюшкин ходил из угла в угол по кабинету Кобякина. Кабинетик был легонький, пропитанный тихим запахом отцветающих ситцевых разводов, и Кобякину показалось, что вот-вот своим тяжелым ковыляньем Горюшкин разгонит во все стороны неустойчивые пугливые стенки этой воздушной комнатки.

— Солнце сегодня бушует, — сказал неожиданно Горюшкин, — а в поле небось еще сильнее.

— Да, — ответил Кобякин.

Они помолчали. Стук часов прошел между ними и затихающими шагами направился куда-то в глубь коридора.

— Я вот зачем к вам сегодня, — сказал Горюшкин и замолчал, очевидно обдумывая в последний раз какую-то крепко засевшую мысль.

Стук часов возвратился из коридора, опять прошел вразвалочку между ними и замер на стенке.

— Товарищ Кобякин, — сказал серьезно Горюшкин. — Вам, безусловно, как человеку интеллигентному и образованному, какой может быть интерес со мной, грубым человеком, о школе разговаривать и о подобных тонких вопросах... — Горюшкин хитро усмехнулся. — Но хочу вас заверить, товарищ Кобякин, я, если хотите знать, сам интеллигент, вот как!

— Интеллигент? — спросил удивленно Кобякин.

— Признавая вашу затруднительность, — продолжал Горюшкин, — я открою вам тайну моей жизни.

Он порылся в потертом бумажнике, вытащил оттуда фотографическую карточку и протянул ее Кобякину.

— Что такое? — спросил, недоумевая, Кобякин.

— Возьмите, — сказал торжественно Горюшкин.

На карточке Кобякин рассмотрел гимназиста, порыжевшего и безглазого.

— Вы? — удивился он, всматриваясь то в лицо Горюшкина, то в фотографию.

Горюшкин неожиданно счастливо засмеялся. Он дал подержать с минуту фотографию Кобякину, потом забрал ее у него, старательно отогнул уголочек и стал рассматривать с восхищением.

— Ишь ты, форма, все, как полагается. Гимназисту от формы никак не уйти, потому — закон, порядок.

— Да позвольте, — недоумевал все больше Кобякин, — объясните же, черт возьми, в чем дело? Я считал вас рабочим. Позвольте, вы же сами мне об этом неоднократно говорили.

— Верно, — Горюшкин стал серьезен, — говорить-то говорил, а об одном только не упомянул. Папаша мой, видите, чудаком был, — слесарь, а чудак. За год до своей смерти определил он меня в гимназию, курить бросил, все деньги мне на ученье собирал. Чудак был мой папаша.

«Вот и ты такой же чудак», — подумал Кобякин, внутренне усмехаясь.

Горюшкин спрятал фотографию в бумажник и сказал громко:

— Теперь, товарищ Кобякин, я объяснил вам, какой я человек, вы теперь поняли, что я тоже, можно считать, интеллигент. Удивительно это вам, я понимаю, вы небось никогда и не догадывались. . .

— Это неважно, — перебил его Кобякин, — это совсем неважно. Кем бы вы ни были, школы открыть в Сбищенске нельзя.

Горюшкин перестал улыбаться. Спросил тихо:

— Ты скажи мне, Кобякин, может, тот, кто только год учился всего-навсего, тот за интеллигента не считается? Но ты прими во внимание, что я не где-нибудь,

я в настоящей гимназии учился. И знаешь, Кобякин, я этот год всю жизнь забыть не могу. Фуражка у меня с гербом была и шинель — все, как полагается. Отец часы свои продал, а шинель мне купил, — помню, уж мать его саднила за это, саднила... А гимназия наша на Додоновской улице была, в розовом доме, — Карла Карловича Штигнера гимназия. Добрый был немец, спервоначалу все по головке меня гладил, а потом, когда отец помер, выставил меня сразу, потому платить уж нечем стало. Смешной немец, гладил по головке и отцу говорил, что глаза у меня выразительные, а потом, видишь, выгнал, — очень смешной немец!

Горюшкин нервно прошелся по комнате. Кобякин чувствовал, как растет у него внутри усмешка, как ширится она.

— Только, знаешь, Кобякин, — Горюшкин улыбнулся, — ты можешь понять, как я обожал это ученье, — страх! Выгнали меня — я три дня вроде как сумасшедший ходил, не выдержал и стал, как раньше бывало, в школу являться. Приду это в коридор, стану и стою, ученики когда выйдут, тут и я с ними. Потом упросил нашу учительницу Марию Капитоновну задать мне урок, чтобы как всем. Добрая она была женщина. Урок мне задала, как сейчас помню: во-первых, стихотворение: «Однажды в студеную зимнюю пору», а потом первое правило спряжения глаголов. Я уж начал в то время у истопника работать. Работа грязная, тяжелая. Но урок все-таки выучил и на другой день Марии Капитоновне в коридоре у лестницы рассказал. Добрая она была женщина, похвалила меня. «Очень хорошо, говорит, Горюшкин, только прошу вас, не ходите вы больше к нам, потому смеются над вами здесь». А я действительно на истопной работе перепачкался здорово: уголь, сажа, и шинель уже рваться начала. Конечно, глупый я тогда был, даже заплакал. «Как же, — спрашиваю Марию Капитоновну, — ведь небось следующие правила спряжения глаголов остались, и стихотворение «Однажды в студеную зимнюю пору» опять же не кончено?» Не стала она меня слушать, махнула рукой и ушла.

— Ну и что же?

— Перестал я в гимназию ходить. Только вот по воскресеньям приходил воображать.

— Что такое? — спросил, недоумевая, Кобякин.

— Воображать ходил... Ну, словом, не знаю, как тебе выразить. Сторож у нас был в гимназии, добрейший старичок, Сидорыч, пускал он меня по воскресеньям в помещение, класс отворял. Вот я в классе это за парту сажусь, хожу, пишу на доске и воображаю, будто бы учусь... Конечно, глупость это, товарищ Кобякин!

— Как будто бы ты учишься... — сказал машинально Кобякин.

— Ну да. А Сидорыч, бывало, чаем меня потом поил. Бывало, говорит он мне: «Из тебя, Савоська, ученый человек мог бы выйти или кто еще. Рвение у тебя есть большое, только карман тощий. А ты привыкай, Савоська, к тому, что тяжело на свете жить, когда карман тощий. Вот в душе у тебя, может быть, полыхает, — ну и что же, ничего. А у господ в душе, братец мой, ничего особенного нету, но зато в кармане...» Смеялся старик, а я сидел, Кобякин, и думал о его этих словах. Много я думал, Кобякин, и злость во мне накипала. С тех пор понимать я стал, как жизнь-то, она, для нас, для пролетариата, оборачивается. Только вы меня совершенно не поймете, товарищ Кобякин!

— Почему? — удивился Кобякин.

— Вы, товарищ Кобякин, провели жизнь интеллигентную и тихую, вам не понять нашего брата. — Он помолчал, потом продолжал: — Чаем меня Сидорыч поил, а я ему, бывало, стихотворения читал и вообще разные уроки рассказывал. Занятный старик был, все ему по два раза повторять приходилось, не понимал он с первого раза. Сидим, бывало, в гимназии тихо, одни на все громадное помещение, сидим это...

— Вы странный человек, Горюшкин, — перебил Кобякин. — Почему же мне вас не понять?

Становилось темно. Вечер, торопливо облетая стены, тушил блеск стеклянных рам, и картины восставали отчетливые, ясные, вечерние.

— Я к чему... — сказал Горюшкин. — Вот совершилась революция, самая великая из всех революций. А город наш, Сбищенск, он совсем, если хотите знать, революцию не почувствовал, он, Кобякин, ничем не насла-

дился еще от нее. А ведь революция — она для всех. Мы знаешь чем за нее заплатили? — Горюшкин тряхнул мучительным своим уродством. — Ты это понимаешь, Кобякин? Люди в городенках этих дохнут, а вы, интеллигенция, наши учителя, вы плюете на это.

Горюшкин отступил и погрозил пальцем.

— Слушай, Кобякин, — голос его был проникновенный, вздрагивающий, — слушай, товарищ мой родной!.. Вы опомнитесь, Кобякин, я прошу вас об этом. Вы смеетесь, может быть, в душе над моими словами. Только не надо смеяться. Я все свои знания, товарищ Кобякин, на митингах приобрел, на митингах да на собраниях. На одном собрании одну мысль ухватил, на другом — другую. Я книг еще не читал, товарищ Кобякин, не было у меня еще в жизни такой прекрасной возможности. Вы не смейтесь надо мной.

— Я не смеюсь, Горюшкин, я совсем не смеюсь, — тихо сказал Кобякин и ощутил слезы на своем лице. Он стирал дрожащей, как-то внезапно ставшей старчески-бессильной рукой эти слезы и о чем-то неясном для себя думал. Он видел, как задрожала в темноте и начала уплывать из комнаты белая фарфоровая статуэтка, стоявшая на этажерке, он проводил глазами эту статуэтку до самой двери, проследил, как вспыхнула она неразгоревшимся белым светом, и в наступившей полной темноте испугался своего голоса.

— А если у человека в жизни случилось... ну, как бы это выразить? Ну, вот произошло с человеком...

Он хотел сейчас говорить о потерянной любимой Москве, о том, как давно там, в этой Москве, обошли его злые люди и как повлияло это на всю его жизнь; о том, как тяжело ему было в первое время в этом проклятом Сбищенске; о том, что он почему-то любит Париж и балет. Но сказать этого всего не сумел как следует. Он говорил отрывисто, незаконченные мысли его путались. Горюшкин неожиданно рассмеялся.

— Что вы? — спросил Кобякин.

— Бросьте вы этих людей, Кобякин, бросьте, плюньте на них, ведь это мелочь, а не люди, вы же не такой, ведь вы же совсем не такой...

Кобякин в первый раз устыдился своих постоянных мыслей, и ему стало вдруг понятно, как малы и ничтож-

ны они. Он почувствовал радость оттого, что Горюшкин не догадался, что это он, Кобякин, рассказывал о себе.

— Я не такой, — подтвердил он слова Горюшкина, — нет, я не такой. Это хорошо, Горюшкин, что вы сразу поняли, что я не такой.

И почувствовал вдруг, что действительно становится не таким.

— Как вы могли подумать, Горюшкин, — сказал он, — что я — и вдруг...

— Я и не думал, — Горюшкин опять рассмеялся, — балет — это там, где танцуют, но покажите мне таких людей, Кобякин, которые теперь могут танцевать, этой пустотой заниматься, и я плюну им в лицо... Балет!.. Да разве настоящие люди об этом сейчас думают? Вот я сейчас вам расскажу о настоящих людях...

И он рассказал героическую повесть о Яшке Шабаше, изрубленном беляками на станции Попятовка.

— Значит, личное не может сейчас существовать? — спросил Кобякин. — Значит, так?

— Не может, ни при каких обстоятельствах. Я вот как скажу.

— Подождите, я скажу, — перебил его Кобякин. — Мне вдруг в голову мысль пришла, знаете какая? Мы откроем в городе школу второй ступени. Слышите?

Горюшкин схватил Кобякина за руку.

— Мы пригласим преподавателем математики отца Алексея Маликова, — продолжал Кобякин, — он учился в университете и вполне сумеет. И как это мне раньше в голову не приходило?

Кобякин почувствовал, как Горюшкин выпустил его руку.

— Нельзя, — произнес Горюшкин печально, — не полагается это. Маликов — поп, контрреволюционер... Этого нельзя, чтобы в советской школе — и вдруг поп!

— Нельзя? — спросил печально Кобякин. — Вот как!

Он хотел еще что-то добавить, но в это время крик Горюшкина оглушил его:

— Ладно! Будь что будет! Давайте вашего попа, товарищ Кобякин, а я у него комиссаром по политической части на уроках сидеть буду, чтобы он ничего не мог против советской власти рассказать... Давайте попа! Открываем школу, Кобякин, значит.

— Открываем, — сказал Кобякин, — обязательно открываем, только подождите одну минуточку, я расскажу вам случай из жизни. Вот входит человек в комнату, представьте себе, и тот, другой, который облагодетельствован был этим человеком, тот другой говорит. . .

— Не надо никаких случаев! — крикнул Горюшкин. — Не надо. . .

Он обхватил за талию Кобякина и начал вертеться и подпрыгивать. Подпрыгивая, он оседал на израненный бок, и Кобякин тоже подгибал здоровую свою ногу и тоже оседал.

Марфа принесла лампу, и они сели к столу. Кобякин пытался рассказать что-то неясное. Горюшкин перебивал его поминутно:

— Сперва школу, так. . . потом водопровод. Как ты думаешь, Кобякин, нужен в Сбищенске водопровод?

— Нужен, нужен, очень нужен!

— Или, может, электричество и трамвай?

— Нужен трамвай, — сказал Кобякин, и вдруг неожиданно ему пришла мысль о том, что человек, обошедший его там, в Москве, давно уже умер, вероятно. Кобякин рассмеялся.

— Он, наверное, умер уже, Горюшкин, а я все о нем, все о нем. . . Смешно даже. . . Как же это я? . .

— Делаем три заставы, — продолжал Горюшкин, не слушая Кобякина, — расширяем территорию. . . — И вдруг неожиданно заявил: — А в школе, знаете, товарищ Кобякин, будет краской пахнуть.

— Это зачем же? — не понял Кобякин.

— Не знаю зачем, только в каждой школе краской пахнет. Помню, когда первый раз меня батя в школу привел, высказался он: «Чувствуешь ты, Савося, — спрашивает, — все это великолепие? Я сам об этом, — говорит, — всю жизнь мечтал. . .»

— Подождите, Горюшкин, — а что, ежели нам подать заявление, чтобы нас уездом?

— Обязательно! — Горюшкин вскочил со стула. — Обязательно уездом! Откроем школу, я речь скажу. Я, конечно, по-научному не могу говорить. Но вообще на разные речи я мастер. Изо всей Павленковской бригады нашей я первый был по этому делу.

Горюшкин отошел в угол комнаты и сказал громко:

— Братва... Дорогие товарищи, контрреволюционный гад мечется неподалеку от нас, он не хочет угаснуть, этот гад, ни за что, он беспременно желает вредить делу пролетариата. Принимая это все во внимание, мы открываем в этом прекрасном городе школу второй ступени имени товарища Ленина. Мы, товарищи, надеемся, что вы поймете тот факт, что советская власть всей душой своей полюбила этот город.

Он говорил еще долго, потом спросил:

— Как, хорошо, товарищ Кобякин?

— Очень хорошо! Прекрасно!

— Ну, то-то, я, брат, по-научному только слаб, а так оратор был первый на всю Павленковскую бригаду.

— А в Париже, — произнес задумчиво Кобякин, — я знаю, есть прекрасные школы...

— Бросьте, товарищ Кобякин, — строго прервал Горюшкин, — в Париже сплошная буржуазия, а здесь пролетариат...

Потом неожиданно спросил:

— А что, ежели поп твой не согласится? Как тогда, а?

— Согласится, — Кобякин сам не пугался этой мысли, — мы ему докажем, обязательно согласится.

Тревожное предположение исчезло. Горюшкин и Кобякин успокоились и долго еще беседовали на разные темы.

— Как в Париже, — мечтал Кобякин, — и посередине чтобы обязательно сквер.

— Правильно, — подхватил Горюшкин, — дети из школы будут на сквер ходить гулять. Вышли из школы — пожалуйста, милости просим; надоело, нагулялись, — пожалуйте опять в школу. Красота!..

Только к рассвету Горюшкин ушел от Кобякина. Петушиный крик поминутно пересекал его путь.

А Кобякин раздевался в это время ко сну.

«В маленьком городке, — думал он, — все единственное: единственная водокачка, единственное кино... Только тоска во множестве... Нет, не то, не то, — что за чепуха такая?.. Школу открываем, потом еще... Неужели я теперь только жить начинаю? Ведь мне сорок

пять лет. Это, пожалуй, даже странно... Но как легко сразу стало...»

Мысли путались в его голове. Он лег в постель и сразу заснул.

VI

Отец Алексей Маликов молится и плачет. Во мраке угла чуть заметно трепещет золото икон. Иконы писаны холодной краской, и только глаза у святых неправдоподобно голубые. Время от времени к иконам от соседнего окна прилетает робкая застиранная занавесочка. Ее гонит ветер, она проплясывает во мраке свой угловатенький белый танец и летит поспешно назад, а отец Алексей каждый раз вздрагивает при этом и пугается.

За тонкой стенкой слышится плач. Отец Алексей знает, что там, в спальне, жена и дочь, неразлучные все эти последние дни, ждут чего-то. Отец Алексей знает, что дочь плачет сейчас и негодует на свою судьбу. Но эта судьба уже решена. Она решена во время молитвы, и все святые, что теснятся в этом углу, принимали участие в этом решении.

Отец Алексей идет в спальню.

— Таня, — говорит он, — перестань, слышишь?..

Но дочь плачет все сильнее.

— Татьяна! — кричит он в исступлении, и перины и подушки давятся, глотая звуки его голоса. — Я не могу больше переносить этот ад... Я не могу...

— Сердце наше женское, — говорит жена, — сердце наше... Письмо она от него получила, Алеша... Любит она его, разреши ей...

Жена теребит в волнении крахмальную накидку на подушке. Накидка такая же беленькая, как застиранная занавесочка там, на окне в комнате. Отец Алексей вспоминает иконы, их тихую суровость, и его воля, дрогнувшая было, крепнет.

— Не разрешу я никогда, — говорит он. — Большевик он окаянный... Через муку проводят они нас, через муку мученическую.

Жена плачет.

— Дочь свою обязан уберечь, — говорит, смягчаясь, отец Алексей, — мы вместе, Анюта, обязаны. Ты напрасно так...

Потом он уходит к себе. Кобякин ожидает его.

— Василий Саввич, — радостно приветствует Кобякина отец Алексей, — как редко вы меня посещаете! У меня, знаете, все неприятности.

— Я с предложением к вам, отец Алексей, — говорит Кобякин. — Очень интересное предложение.

— Подождите, — перебивает, не слушая его, отец Алексей. — Вы знаете, моя дочь не венчанной с большевиком хочет жить. Немец-большевик, помните, комиссарил у нас в городе? Глюк фамилия. . .

— Давайте о деле, — говорит Кобякин, — это важное дело.

— Что такое? — заинтересовывается отец Алексей.

Кобякин поясняет, волнуясь:

— Вы учились в университете, отец Алексей, вы хорошо знаете математику, вы образованный человек.

— Ну и что же? — Маликов разводит руками, не понимая.

— Сейчас, — продолжает Кобякин, — сейчас вы поймете. Мы решаем открыть в Сбищенске школу второй ступени. Понимаете? Настоящую школу, и вас в нее — преподавателем математики.

— Не пойду, — отец Алексей машет гневно рукой, — к ним работать — ни за что!

— Вы не учитываете вашей выгоды, отец Алексей: вы станете настоящим советским гражданином, советским работником!

— Не пойду!

Кобякин ищет новые убедительные слова, он смотрит в вопрошающие, неспокойные глаза отца Алексея, и новая мысль приходит ему в голову:

— Слушайте, отец Алексей, что я скажу. Вы навлечете на себя большие неприятности. Ведь, кроме вас, некого пригласить в школу для занятий по математике. Вы имейте в виду, что я передаю вам распоряжение нашего председателя исполкома Горюшкина. Вы не глядите, что он тихоня. С ним шутки плохи. Смотрите, отец Алексей. . .

Кобякин видит, как судорога пробегает по щеке отца Алексея, и добавляет:

— Я вам по-дружески говорю, мне ведь все равно, сами понимаете.

— Что же мне делать, — спрашивает отец Алексей, — скажите, Василий Саввич...

— Идти работать, без размышлений идти...

— Нет, я не могу, — упрямится Маликов, но Кобякин чувствует, что он побежден уже и что нужно только еще немного припугнуть его.

Через час Кобякин уходит.

— Итак, условились: вы у нас преподавателем будете, и бросьте ваши колебания... Не так все это, как вам кажется. И потом, вы многого не понимаете... Нет, нет, я объяснить не сумею, я ведь сам еще многого не понимаю...

Кобякин уходит, а отец Алексей направляется в спальню к жене.

— Анюта, — говорит он ей тихо, — я становлюсь советским учителем, они меня заставляют, Анюта, но ты не пугайся: придет час, придет... Скоро...

Отец Алексей хочет уйти к себе, но вспоминает про насмешливые голубые глаза святых. Он страшится сейчас этих глаз. Он уходит из дома. Улица дрожит и кривится под солнцем, поминутно лопаются ее трухлявые домишки. Отец Алексей идет и думает о том, что спокойствие души — то, что ценил он в своей жизни больше всего, — надолго покинуло его. Надолго, а может быть, и навсегда.

VII

Старый дом, принадлежавший раньше церковному совету, давно уже пустует. Дом этот большой и кирпичный, он возник без надобности, по прихоти богатого купца Чиликина, и раз навсегда нарушил традицию сбищенских построек. Кирпич на фасаде почернел, давно уже утратил улыбку. И только теперь молодая разговорчивая вывеска возвратила радость старому дому. Вывеска гласит:

ШКОЛА 2-й СТУПЕНИ № 1 ИМЕНИ ТОВ. ЛЕНИНА.
СБИЩЕНСКИЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

— Ишь ты! — говорили недоверчивые жители Сбищенска и проходили мимо.

Но почти сейчас же возвращались: новая вывеска не отпускала от себя.

— Неужели настоящая школа? .. Ведь вот еще с каких пор собирались открыть, при царе еще собирались, а тут — пожалуйте! .. Да позвольте, ведь это же все равно как бы гимназия. . . Ну, не совсем. . . Странно, никогда в Сбищенске ничего подобного не было! Не было, а теперь будет, знай наших. . . Это все он сотворил, хромой наш. . . Хромой-то хромой, но деляга.

Сережа Курков слушал все эти разговоры. Он стоял около вывески дольше других.

«Школа открывается. . . — думал он. — Вот будут детей чему-то учить, а потом дети вырастут и все равно превратятся в несчастных людей. . . Зачем все это? .. К чему? .. Но, может быть, люди научатся в этой школе быть счастливыми? .. Нет, наверное, нет!»

Сережа долго еще прислушивался к разговорам.

«Господи, — думал он, — что же это происходит? Люди заинтересовались, говорят, мечтают. . . сбищенские люди — и вдруг мечтают!»

— Я знаю, — говорил, захлебываясь, кто-то звонким голосом, — сперва школу, а потом, глядишь, и еще что-нибудь, ну, водопровод там. . .

— Водопровод, — подхватил другой, — правильно! Советская власть — это тебе не старый режим, да-с! Вот возьмутся за наш Сбищенск, возьмутся — в год ты его не узнаешь. . .

— Рабочих у нас нет, — сказал серьезно еще кто-то, — вот в чем беда. Если бы рабочие были, тогда совсем другое дело. Я слышал, советская власть для рабочих все, что хочешь, готова сделать, а уж когда рабочих нет, тогда выходит дело табак.

— Толкуй, толкуй, тут и без рабочих жизнь наладят, а мы что, не люди, что ли!

— Мы-то, сбищенцы? Ну конечно, не люди, так себе, мелочь заштатная!

— Нет, это ты врешь! Были мелочью, а теперь другое время, теперь. . .

— Верно, правильные это речи, теперь не старый режим. . . А слышали, хромой-то наш приказ отдал: мост у заставы чтобы новый построить.

— Школа только начало, мы только начинаем. . .

Сережа узнал голос Кобякина и подошел ближе. Кобякин с жаром говорил что-то окружившим его сбищенцам.

— Ну вот, Кобякин, — сказал Сережа, — вот вы открываете школу, будете учить детей, а потом они вырастут и все равно станут несчастными.

— Чепуха! — крикнул Кобякин. — Чепуха! Люди будут счастливыми обязательно... Вы говорите так потому, что наполнены собственной тоской, вашей личной горечью, Сережа! А вы попробуйте-ка отказаться на минуту от всего этого и почувствуете сразу, как прекрасна жизнь, наша новая, стремительная жизнь. Совершилась революция, Сережа, самая великая из всех революций...

Кобякин повторял недавние слова Горюшкина, но теперь ему казалось, что еще раньше он сам знал эти слова и верил в прекрасную мысль, заключенную в них.

«Странно, — думал Сережа, идя домой, — странно, как Кобякин переменился!»

Он вспомнил слова Кобякина, и ему казалось, что это были настоящие, справедливые слова.

Сережа вспомнил недавнее свое прошлое, то время, когда он был энергичным и мечтающим, таким же, каким неожиданно стал Кобякин. И ему захотелось рассказать это Кобякину.

Сережа вернулся, но Кобякина у школы уже не было. Перед вывеской все еще стоял народ, и Сережа неожиданно ощутил в себе желание быть похожим на Кобякина и, подобно ему, говорить сбищенцам сильные и смелые слова.

— Граждане! — крикнул Сережа громко. — Мы, граждане, должны теперь все...

Он не знал, как кончить начатую фразу, и замолчал. В народе кто-то засмеялся.

— Мне нужно найти сейчас Кобякина, — сказал Сережа зачем-то громко, — я еще многое должен узнать...

Но в этот день найти Кобякина ему не удалось.

А разговоры о школе все больше разгорались. Слухи о школе прошли по соседним деревням, и там начали снаряжать ребят для посылки в город.

В день открытия школы Горюшкин сказал речь; он говорил красноречиво, хотя и не так блестяще, как пред-

полагал. Сбищенцы в первый раз только смогли убедиться, какая страсть и сила таятся в этом изуродованном и застенчивом человеке. Горюшкин говорил о прошлой жизни Сбищенска. Он не забыл упомянуть и о перспективах. Это были чудные перспективы, до этого времени невозможные в Сбищенске. Сбищенцы были поражены. Им ни разу еще не приходилось слушать такие речи. Восхищение охватило их. Восхищение это на другой день брызнуло через край. На другой день в кино «Факел» местный провизор Судариков, сидевший по причине близорукости в первом ряду, неожиданно вытянулся во весь свой громадный рост и начал что-то говорить. Он говорил отрывисто, радостно, лицо его улыбалось. И все сбищенцы поняли, что он говорит о вчерашнем открытии школы, о Горюшкине. Когда же пущенный мотор перебил речь Сударикова и на пожелтевший экран прыгнули виды Венеции, сбищенцы стуком и криком потребовали света и слушали речь Сударикова до конца.

Самуил Герц потом говорил с досадой:

— Нечего сказать, граждане! То они хотят спать в десять часов, то они устраивают собрания. Этот город будет мне стоить в конце концов много здоровья...

Сережа Курков догнал Кобякина невдалеке от кино.

— Послушайте, Кобякин, — сказал Сережа, — я второй день все ищу вас и не могу найти. Мне нужно очень многое сказать вам.

— Вам не нужно ничего говорить мне, — подошел вплотную к Сереже Кобякин. — Я понимаю вас и так. Я все прекрасно знаю... О, мы еще заживем здесь не хуже, чем в других городах... Идите к нам работать, Сережа!

— Значит, вы понимаете меня, — промолвил Сережа, — это хорошо, потому что ведь так трудно объяснить свое состояние... Знаете, Кобякин, мне почему-то становится легко, я чувствую, как все эти дни что-то происходит здесь в городе... Это страшно необыкновенно. Я вижу, я замечаю, какие перемены произошли с вами, Василий Саввич, за эти несколько дней. Горюшкин — это человек, он не чета Глюку, он увлек вас за собой, и мне хочется сказать вам... Знаете, как говорят маленькие дети, когда их куда-нибудь не берут. Мне

хочется сказать вам: возьмите меня с собой. Мне плохо очень...

— Ну вот, Сережа, что за слезы? — спросил Кобякин.

— Я так просто... Верно, как ребенок. Ведь ребенок, когда просит взять его с собой, даже не знает, куда его поведут, и я тоже не знаю, куда поведете вы меня, Кобякин, но я прошу вас, возьмите меня с собой. Ведь на самом деле, черт возьми, Кобякин, может быть, мы действительно начнем жить... Кто знает?.. Может быть, мы будем...

— Произошла революция, — произнес торжественно Кобякин, — самая великая из революций. — И сам усмехнулся тому, что вот уже много раз повторяет он ставшие для него близкими слова Горюшкина.

Через три дня Сережа написал в своем дневнике следующее:

«Я родился во второй раз. Эти слова я не раз читал в книгах, и мне казались они всегда очень смешными и неправдоподобными. Теперь я понимаю, как можно сразу по-новому ощутить жизнь. Мне кажется, что я вообще многое стал теперь понимать. Я перечитываю свои прошлые записи в дневнике, и мне становится стыдно. Боже мой, как ничтожно я жил, как ужасно я жил! Теперь все переменилось... Рядом со мной другой, вновь рожденный Кобякин. Я иногда просто не верю в то, что это он... Впрочем, мне немного странно то, что как-то все свершилось вдруг, мне иногда даже не верится, мне кажется, что я проснусь утром — и снова мною овладеет привычное состояние, привычная мука. Но нет, это пустяк! Мы все втроем теперь — я, Кобякин, Горюшкин — работаем над тем, чтобы наш город, чтобы наша жизнь...»

Строка не была дописана.

VIII

Отец Алексей не явился на открытие школы, и Горюшкин был встревожен.

— Смотри, Кобякин, — сказал он, — как бы чего не вышло.

— Ничего, это он так, — ответил Кобякин и сам ощутил беспокойство.

Но отец Алексей пришел на занятия аккуратно к сроку. Он был в новой рясе, и даже новый серебряный крест сиял на его груди. Горюшкин тоже принарядился и нацепил орден.

Они стояли некоторое время друг против друга, не зная, что сказать.

— Наука ваша трудная, — произнес наконец Горюшкин. — Я разве не понимаю?

— Да, трудная, — ответил неопределенно Маликов. Он не глядел в глаза Горюшкину, и ему было стыдно того, что вот он, отец Алексей, известный городу противник нового строя, сам стал учителем советской школы. Перед уходом из дома, одеваясь по привычке долго и тщательно, он так же вот не мог смотреть в глаза жене, — было так же стыдно.

«Трус я, — думал отец Алексей, — всю жизнь трушу. Не надо было бы соглашаться. Трус. . .»

Он пошел в класс. Горюшкин последовал за ним. В классе пахло краской. Горюшкин с наслаждением вдыхал этот запах и улыбался.

«Вот и школа! — думал он. — Добились все-таки. Будут в этой школе дети наши пролетарские обучаться всем наукам. Ведь радость какая! Что ты скажешь? . .»

Он вышел в коридор. В углу коридора была лестница, совсем такая же, как там, в Москве, в гимназии Карла Карловича Штигнера. Но ведь здесь, около этой лестницы, не будет мальчик в испачканной углем шинели, захлебываясь, отвечать урок доброй учительнице, из милости поощряющей детскую прихоть. Горюшкин вспомнил свое детство, вспомнил почему-то тот день, когда мать проклинала отца за расточительность, за гимназию, за купленную шинель. И ему захотелось сказать этим сидящим в классах ребятам что-нибудь хорошее и ласковое.

Урок кончался. Отец Алексей поспешно дописывал на доске последние цифры.

— Товарищи. . . вот, так сказать. . . — Горюшкин вдруг почувствовал, что не может больше ничего добавить. Он махнул рукою и заковылял из класса.

В учительской комнате Кобякин, только что вернувшийся с урока, говорил радостно:

— Все понимают! Простые ребята, а способные какие! Прямо, знаете, удивительно даже. Сижу на уроках и радуюсь. Да, вот еще, Горюшкин, какое дело: учитель-то наш новый, Курков, тоже меня сегодня удивил, — целый час я у него на уроке сидел, — так объясняет прекрасно, прямо настоящий географ. Слушайте, Курков, почему, черт возьми, вы не учились на педагогическом факультете?

Сережа смущенно улыбался.

— Я очень люблю географию, — произнес он, — но только, мне кажется, вы захваливаете меня.

Кобякин похлопал Сережу по плечу, и Сережа понял, что этим сообщает ему Кобякин о том, что новая жизнь, о которой они недавно говорили, уже началась и что она будет еще счастливее и лучше.

— Я рад за вас, товарищ Курков, — сказал Горюшкин, улыбаясь.

— Ну, вы тут радуйтесь, — шутливо усмехнулся Кобякин, — а я пошел. У меня еще работы по горло. План учебный надо составлять. Без плана не бывает занятий. — Он торопливо стал собирать книги.

— Вот, товарищ Курков, — сказал Горюшкин, когда Кобякин ушел, — молодой ты совсем парень, а сколько в тебе этого самого образования: и на рояле ты играть умеешь и географию знаешь, и стихи, наверное, разные. Все, одним словом. А я в твои годы ничего подобного не знал. — Горюшкин подумал и добавил: — Я, впрочем, и теперь не знаю! — Он смущенно улыбнулся.

Сереже хотелось сказать Горюшкину, что он, Сережа, сам почти что ничего не знает, что он плохо играет на фортепиано, слабо знает географию и вообще не знает никаких стихов. Сереже хотелось доказать Горюшкину, что вот эти простые, неграмотные люди, каким является Горюшкин, оказывается, знают что-то важное и ценное, гораздо более ценное, чем игра на фортепиано и даже стихи.

Но Сережа не нашел подходящих слов.

Звонок избавил его от смущения. Сережа пошел в класс на следующий урок.

А Кобякин, придя домой, обложился бумагами. Он работал долго и напряженно. Составить учебный план было для него делом совсем не легким. Он давно уже отвык от настоящей школьной работы.

«Ну и школа у нас была! — подумал он и рассмеялся. — Только вот Афонькину в ней и преподавать. Действительно, позор форменный, а не занятия в ней происходили. Ай да Горюшкин, растормошил он нас всех! Что за человек. . .»

Из кухни донесся какой-то звук. Кобякин прислушался и пошел поглядеть, в чем дело. Он заглянул в дверную щель и увидел сидящих на кухонной скамье Марфу и Афонькина.

Марфа глядит удивленно на Афонькина, а он играет на гитаре и поет: «Среди долины ровныя». Наконец последние звуки слетают с его губ, он откладывает гитару и вопросительно глядит на Марфу.

— Здорово вы это! — говорит Марфа. — А ну-ка еще что-нибудь. . .

— Гитара в жизни человека может совершить свою роль, — говорит торжественно Афонькин и снова играет и поет «Среди долины ровныя».

— А еще что-нибудь, — повторяет свою просьбу Марфа.

Кобякин видит, как неудовольствие подергивает лицо Афонькина.

— Это все, — говорит он, тускнея, — это пока все.

— Больше не умеете? — смеется Марфа. — Тоже гитарист!

Афонькин говорит тихо:

— Неужели вы не замечаете во мне таинственности, Марфа Ивановна?

— Таинственности? — хохочет Марфа. — Нет уж, нет. . .

— Марфа Ивановна, — говорит взволнованно Афонькин и неожиданно обнимает ее и прижимает к себе.

Марфа бьет Афонькина по лицу. Удар так силен, что гитара со стоном подхватывает его. Афонькин отскакивает.

— Охальничать вздумал! — кричит возмущенно Марфа. — Ах, ты. . .

— Неужели, Марфа Ивановна, не замечаете вы во мне таинственности? — шепчут машинально губы Афонькина, и неожиданно он плачет.

Марфа отворачивается и все время, пока Афонькин завертывает в платок гитару, не оглядывается.

Афонькин уходит. Кобякин дожидается, пока он выйдет за калитку, и там нагоняет его. Они идут некоторое время молча, потом Афонькин говорит громко:

— Прошу извинить, но мне некогда.

Он уходит быстро вперед, и кажется, что гриф гитары проткнул насквозь его болтающуюся фигурку.

Афонькин быстро доходит до своего дома и, не снимая картуза, садится писать донос на Горюшкина в губернию. Вначале все идет гладко.

«Считаю своим гражданским долгом, — пишет Афонькин, — довести до сведения уважаемого губисполкома о том, какие дела творятся в городе Сбищенске. — Афонькин вспоминает о перенесенном только что оскорблении и пишет решительно: — Председатель нашего исполкома, Савелий Горюшкин, только и делает, что путается с бабами, а о делах не думает. Но это еще не все. Это он, Горюшкин, пригласил известного в городе контрреволюционера, попа Алексея Маликова, преподавателем математики в школу второй ступени имени товарища Ленина».

Творческий порыв овладевает Афонькиным.

«Я — отец семейства, — пишет он. — Ни я, ни моя любимая жена не решаемся отдать в школу нашего ребенка; ни я, ни моя любимая жена не можем решиться доверить. . .»

Афонькин обводит несколько раз слово «любимая» и задумывается. Ему хочется еще что-нибудь написать об этой любимой жене. Описать подробно ее поступки, привычки, то, как любит она его. Но ведь это не имеет отношения к доносу. Афонькин откладывает донос и пишет другое письмо, в котором обстоятельно излагает свои мысли насчет любимой жены. Это второе письмо никому не адресовано. Афонькин пишет его до самого вечера. Потом вспоминает, что донос не готов. Он нехотя, быстро дописывает строки в доносе, даже не обдумывает их как следует. Потом снова садится за письмо о любимой жене.

На другой день он заклеивает листок с доносом в конверт и относит на почту; придя домой, ложится в кровать и несколько раз перечитывает письмо о любимой жене, затем кладет его в карман и долго мечтает.

IX

Солнце и песок смешались вместе и овладели проселочной дорогой. Константин Глюк с интересом наблюдал за тем, как заморенная клячонка двигается по мучительному пути, и втайне недоумевал и восхищался такой необыкновенной энергией. У извозчика на прошлой неделе сгорел дом. Вопреки деревенским пожарам, больше ни одна постройка не пострадала в Котиловке. Извозчик говорил всю дорогу о своем несчастье, и Глюк чувствовал, как выпирает из его слов обида на тех, кто остался с домами и кому не нужно теперь долго и мучительно думать, как быть.

— Не застрахован он у тебя, значит? — спросил Глюк.

— Как? — удивился ямщик.

— Не застрахован, спрашиваю?

— А кто его знает, может, и нет, — сказал, недоумевая, ямщик, и Глюк понял, что он просто ничего не знает о страховании.

Но объяснять сейчас не хотелось. Дорога делалась все мучительнее. Солнце бесновалось рядом с тарантасом, и было невыносимо жарко.

— Как загорелось, — говорит мужик, — так я туточки и побежал к пожарному сараю, ан в сарае никого. Туточки я. . .

Но описание страшного деревенского пожара не пугает сейчас, потому что кругом горит песок и воздух.

На горизонте показывается Сбищенск.

— Вот мы и приехали, — говорит Глюк. — Я эту местность хорошо знаю. Отбивал я этот город у белых. . .

И он рассказывает ямщику о том, как брал он город Сбищенск, как падали сраженные враги. Он говорит красиво, убедительно, и вряд ли кто-нибудь мог бы заподозрить его во лжи, вряд ли кто-нибудь мог бы приписать

успех взятия города кавалерийскому полку имени товарища Буденного и поверить тому, что только на пятый день после взятия города прибыл в него Константин Глюк.

— Я влетаю на площадь, конь подо мной уж не дышит, а кругом беляки, кровь так и хлещет, так и хлещет.

Глюк даже приподымается для того, чтобы показать, как вертел он тогда шашкой.

— А что твой отец, лекарь? — спрашивает неожиданно ямщик, побуждаемый ассоциацией. — Мне в городе говорили про это. Так ты не скажешь ли ему насчет меня? Чирей у меня на ноге был, сковырнул я его, а теперь, видишь, что получилось.

Ямщик снимает лапоть, разворачивает онучу, и синяя грязная нога его оскорбляет мысли Константина Глюка.

— Кровь так и хлещет, так и хлещет, — говорит он уже машинально.

— Может, ты посмотришь? — спрашивает ямщик. — Как вы есть лекарский сын, то прошу милости... — Ямщик тычет к самому носу Глюка ужасную свою ногу.

Глюк резко отворачивается. Ямщик в смущении надевает лапоть. Глюк возмущен. Рассказывать о подвигах уже нет настроения.

— Вот, к примеру, в городе нашем школу открыли, — говорит ямщик, — ходят туда теперь наши котиловские ребята, довольны очень. Так. А вот больницы настоящей у нас совершенно нету. Есть вот так, только пустяк один, вроде чего-то. Конечно, обходились сколько лет без больницы. Это правильно, я против этого ничего не скажу. Но только теперь народ пошел не тот. Теперь народ пошел требовательный: ты ему школу подай, ты ему и больницу подай. Советская власть — она наша, народная, вот оттого-то и требуют. А что еще народ захочет, этого никто знать не может. . .

Слова ямщика о школе напоминают Глюку о цели его поездки. Вчера был получен в городе донос на председателя Сбищенского исполкома Горюшкина. Когда Глюку поручили расследовать это дело, он очень обрадовался.

— Поезжайте, товарищ Глюк, — сказал ему секретарь губисполкома. — Надо все же выяснить, что про-

исходит в этом самом Сбищенске. Из всех инструкторов губисполкомовских вы один только знаете этот город. Вы ведь, кажется, говорили, что отбивали его у белых...

В этот вечер Глюк разыскал письма Тани. Они были теплыми и певучими, казалось, частичка ее души не хотела угаснуть на тоненьких листочках бумаги.

«Почему я люблю ее? — спрашивал себя Глюк. — Ведь сколько красивых девушек у нас в городе...»

И теперь, когда ямщик упомянул о Сбищенске, образ Тани встал перед глазами Глюка.

Лошаденка уже не надеялась на задние свои ноги, они помертвели и волочились с трудом. Лошаденка неверным, заплетающимся шагом шла прямо навстречу солнцу. Солнце, точно желая улизнуть, пряталось в окружении дуги, но сползало постепенно вниз, и оглобля подталкивала его поминутно. Глюк глядел на это наступление лошаденки на солнце и думал о Тане.

В город въехали шагом. На Робеспьеровской улице дощечка с наименованием отлетела и держалась только на одном гвозде.

«Непорядки», — подумал Глюк и постарался придать себе строгий вид.

X

Они сидели втроем в кабинете Горюшкина и решали вопрос о сквере.

— Вы полагаете, обязательно нужен сквер, — говорит Сережа. — А мне думается, не лучше ли будет устроить типографию или нотопечатню там...

— Это верно, — подхватывает Горюшкин. — Как кто сочинит что, так чтобы сразу и печатать. Вот это здорово!

— Ну, уж давайте не разбрасываться. Решили сквер, значит, сквер, — говорит Кобякин. — Будет сквер рядом с школой. Да, кстати, Горюшкин, как последний урок у вас там с Маликовым сошел?

Горюшкин смеется.

— Очень хорошо. Сижу это я на уроке и все внимательно слушаю. Едва он в сторону, я его дерг... «Позвольте, говорю, товарищ Маликов, вам вернуться к научному вашему предмету...» Поглядит он на меня,

насупится. Только, скажу я, замечательно он уроки объясняет, все понятно. Красота прямо! Прошлый раз дроби начали, я как взялся решать, так. . .

— Что такое? — спросил Сережа. — Что решать? . .

— Дроби эти самые, — отвечает, смеясь, Горюшкин. — Чего же мне даром время терять? Учусь вместе с ребятами. . . И что же ты думаешь? Он у меня из всех примеров только две ошибки нашел. Похвалил даже. «Вы, говорит, молодец». А мне стыдно стало перед ребятами. «Я, говорю, не для чего другого, а только лишь для препровождения времени решаю эти примеры». Слушай, Курков, ты скажи мне, между прочим, может, мне не подобает решать? Председатель исполкома — и вдруг такое детство! Ты скажи, Курков, я отступлюсь. Может, это подрывает авторитет? . .

Сережа хочет что-то сказать, но в это время отворяется дверь, и в комнату входит Константин Глюк.

— Здравствуйте! — говорит он громко, и пыль сыплется с него на пол.

Глюк не знает, с чего начать свою речь и можно ли говорить при этих двух посторонних людях? Может быть, лучше объясниться с Горюшкиным наедине? Он уже решает так сделать, но в душе его бушует сладостная волна, и вот-вот она прорвется потоком красивых и значительных слов. Он знает, что сейчас будет говорить особенно удачно и убедительно, и ему поэтому необходимы слушатели.

— Я перехожу прямо к цели своего приезда. — Он подходит к столу. — Я — инструктор губисполкома. Надеюсь, вы меня еще не забыли, товарищ Горюшкин! До нас дошли слухи, что в вашей школе второй ступени преподает известный контрреволюционер и поп Маликов. Правда это?

— Правда, — говорит Горюшкин. — Правда.

Глюк начинает бегать по комнате.

— Значит, вот какие дела творите вы здесь! — Он подходит к Горюшкину и говорит печально и тихо: — Вы помните, когда я оставлял вам этот город, что говорил я вам тогда? Помните? Нет, вы все забыли! — Голос его повышается, печаль исчезает, он почти кричит. — Вы все забыли! Вы поощряете контрреволюцию, вы подрываете

основы советской власти, за которую мы... за которую я пролил свою кровь.

Он хлопает себя по звонкой молодой груди.

— Я при нем комиссаром, — тихо говорит Горюшкин. — Вот вчера, скажем, дроби объясняли...

Глюк расхохотался, потом вдруг стал серьезным. Это удалось ему прекрасно, и новый прилив энергии сопутствовал его словам.

— Дроби! — закричал он пронзительным голосом. — Дроби! А того вы не понимаете, что губите советскую власть! Того вы не понимаете, что мы в губернии сбиваемся с ног, наводя порядки!

Он долго и, как правильно предположил, красиво и убедительно говорил о себе, о том, как тяжело наводить новые порядки, и вообще о многом.

В конце, наскучив самому себе своей речью, добавил коротко и резко:

— Я предлагаю вам, товарищ Горюшкин, завтра выехать вместе со мною в город: там мы разберемся. А школу закрыть и попа выгнать немедленно!

Он хлопнул дверью и вышел из комнаты.

— Вчера дроби объясняли, — повторяет машинально Горюшкин, — десятичные дроби.

Несколько минут длится молчание.

— Конец, — говорит тихо Горюшкин. — Конец нашей школе имени товарища Ленина, каюк! И мне уже, видно, не вернуться в Сбищенск. Распрощаемся мы, друзья, натворил я дел! Преступленье это: попа — и вдруг в школу советскую преподавателем... Член партии я с семнадцатого года, а вот промахнул. Хотелось мне уж очень...

Сережа не слышит, чем кончается фраза Горюшкина. Сережа выбегает торопливо из комнаты. Глюк медленно идет по Тургеневской улице, видно отдыхая после утомительной только что произнесенной речи. Сережа нагоняет Глюка.

— Послушайте! — говорит он, задыхаясь.

Глюк вздрагивает от неожиданности и оборачивается.

— Ах, это вы! — произносит он, узнавая Сережу. Он вспоминает вечер в пухлой поповской гостиной и то, как смеялся он вместе с Таней после ухода Сережи над

Сережиной влюбленностью. — Я узнал вас. Ну, как живете?

— Послушайте, товарищ Глюк, ну, зачем вам она, — говорит, волнуясь, Сережа, — ну, зачем? Ведь там, в большом городе, где вы живете, у вас есть много радостей, у вас там много счастья даже, я скажу... А у нас здесь ничего, понимаете, ничего!.. Вы представьте себе это. Вот живут люди — и ничего у них нету, кроме нее...

Глюк вспомнил, что в какой-то книге он читал о том, как отвергнутый любовник просил счастливца отступиться и как счастливец гордым отказом ответил на эту просьбу. И сейчас же Глюку захотелось так же гордо ответить Сереже.

— А если я люблю ее? — сказал он, усмехаясь. — А потом — при чем здесь вы?

— Отступитесь от нашей школы имени товарища Ленина, — сказал Сережа. — Эта школа — все, что у нас есть. Я расскажу вам сейчас... Знаете, мы проснулись от тяжелого сна. Я прошу вас, выслушайте меня.

— Ах, вот вы о чем! — воскликнул Глюк. — Напрасно, молодой человек! Я не отступлю от своего долга, вы еще, очевидно, не знаете, что такое революционный долг.

Он делает красивый поворот и уходит, а Сережа остается стоять с нелепо протянутой просящей рукой. Он стоит так несколько минут, потом срывается и бежит что есть мочи по направлению к дому отца Алексея. Таню застает он на веранде.

— Здравствуйте! — говорит Сережа поспешно. — Приехал сейчас Константин Глюк...

Таня вскрикивает.

— Приехал, — повторяет Сережа. — Слушайте, Таня, что я скажу вам. Я никогда не просил вас ни о чем. Я не просил у вас ни одной ласковой улыбки, ни одного ласкового слова, я ушел от вас, Таня, не сказав ничего... В моей душе было очень темно, очень... Я целовал ваши письма и следы ваши в моей комнате... Но теперь я прошу вас, Танечка... я умоляю.

Сережа падает на колени. Длинная прядь его волос рассыпается во все стороны.

— Я не виновата, Сережа, — Таня краснеет, — но я

не люблю вас... — Ей хочется спросить о Константине Глюке, но она не решается.

— Я не про это сейчас, Таня, я совсем не про это... Вы любите Глюка, я знаю. Он приехал для того, чтобы закрыть нашу школу. Таня, поймите, ведь это все, что имеется у нас в жизни... У нас здесь ведь ничего другого нет... Глюк любит вас, Таня, он мне сказал только что об этом. Вы убедите его...

— Любит, — говорит Таня, счастливо улыбаясь, — он любит меня...

Сережа встает с колен.

— Я, право, не знаю... — Таня отступает. — Я не знаю, что мне делать... Мне вообще непонятно...

Сережа не слышит ее слов, он уходит. Он медленно идет по Робеспьеровской улице. Кобякин подходит к нему незаметно. Некоторое время они идут молча.

— Вот и все! — говорит Кобякин. — Закроется наша школа, и Горюшкин завтра уедет навсегда. И опять... опять...

— Что опять? — спрашивает Сережа. — Что опять? Что вы хотите этим сказать?

Кобякин продолжает задумчиво, не слыша вопроса:

— Произошла революция, самая великая из всех революций... Да-с!

Он машет рукой и быстро уходит.

— Кобякин! — кричит Сережа. — Что же нам делать, Кобякин?

Кобякин не отвечает. Сережа идет к себе. Он садится за фортепиано и играет свой старинный французский вальс. Он хочет еще раз повторить его, но в это время приходит Самуил Герц.

— Здравствуйте, Сережа! — говорит Герц. — Я слышал, что эта школа закрывается. Сейчас только хромой наш об этом сказал. Видите, значит, я хорошо сделал, что не пригласил нового тапера: я знал, что это все чепуха. Итак, я жду вас завтра вечером, Сережа!

— Герц, — спрашивает Сережа, — скажите мне, что вы знаете о революции? Вы пожилой человек и, наверное, много знаете...

— Я ничего не знаю о революции, — говорит нехотя Герц. — И потом — мне некогда. До свиданья!

Герц уходит. Сережа ложится на кровать. Он долго

лежит без мыслей и глядит в окно. Небо пухло и сине настолько, что открытое окно кажется грубой дешевой картиной. Ночь приходит без опоздания и долго шевелится в комнате, прежде чем решается замереть.

— Нет, — говорит Сережа громко, — так нельзя! Надо что-нибудь сделать.

Он встает с кровати. Забыв надеть фуражку, быстрыми шагами идет к углу Тургеневской улицы, где помещается единственная в городе гостиница.

Глюка он застает торопливо бреющимся.

— Что вам надо от меня? — спрашивает Глюк. — Это даже странно. Вы преследуете меня.

Сережа хочет многое сказать. Пока он шел, он уже обдумал горячую убедительную речь. Но, увы, сейчас слова, которые он произносит, кажутся ему самому нелепыми и непонятными.

— . . .А потом, зачем вам вторая ступень, не понимаю? — спрашивает Глюк, поспешно намыливая щеки. — Городишко, в сущности, ничтожный. . .

Сережа не знает, что ответить. Он рассеянно перекладывает журналы на столе. Между журналами застряла записка.

«Милый Костя, я люблю и жду вас, приходите скорее, мне кажется, что теперь я ни перед чем не остановлюсь. Я жду вас, приходите. . .»

Сережа узнает почерк Тани.

— Зачем нам школа, вы спрашиваете? — Он сжимает в руках записку. — Вы не понимаете, зачем нам школа, товарищ Глюк. . .

Не прощаясь, Сережа уходит. В коридоре тускло. Сережа хочет скорее на улицу, он уже на лестнице, но в это время слышит голос:

— Товарищ, на минутку!

Сережа оборачивается. Человек в синей косоворотке зовет его.

«Кто такой?» — думает в недоумении Сережа.

Человек в синей косоворотке вводит Сережу к себе в номер, затворяет тщательно за собою дверь и говорит:

— Давайте познакомимся. Иван Гурьев, сотрудник колхозсекции, проездом через ваш городок еду в колхоз «Надежда». Это далеко отсюда, в другом уезде, — наверное, и не слыхали никогда. Решил остановиться,

отдохнуть тут у вас: растрясло совсем, дороги чертовские...

Сережа не знает, что сказать этому человеку. Сережа видит — это счастливый, огромного роста, полный человек с сочным голосом, решительный, порывистый. Сбищенск был бы просто тесен для такого, он охватил бы его, как клетка... Какой разговор может быть с этим счастливым человеком, что может он понять?

Человек в синей косоворотке трогает Сережу за руку.

— Я — Иван Гурьев, — повторяет зачем-то он, потом прислушивается, улыбаясь.

Сережа тоже прислушивается. За тонкой перегородкой поют песенку. Сережа узнает голос Глюка. Глюк, очевидно, очень торопится кончить свой туалет, потому что песенка то затихает, то снова возникает, точно взбирается в гору рывками.

— Ишь ты, как поет! — произносит Гурьев и смеется. Потом неожиданно обрывает смех и говорит серьезно: — Мне хочется прямо вам сказать. Слышал я ваш разговор с этим Глюком, — стенки здесь вроде как бумажные. Замечаете? В городе я с этим Глюком лошадей брал, и, правду скажу, не понравился он мне. Грубый и, очевидно, глупый человек...

Сережа что-то хочет сказать, но Гурьев прерывает его:

— Так вы валяйте, выкладывайте, без стесненья.

— Что? — спрашивает в недоумении Сережа.

— Да все, как и почему... Многого я не понял, а интересно.

— У нас, видите ли, была школа, — говорит Сережа, — второй ступени, имени товарища Ленина... Или нет, не так... Здесь есть девушка, Таня Маликова, я любил ее...

Сережа умолкает, ему кажется, что Гурьев насмешливо улыбается.

— Что же вы? — спрашивает Гурьев. — Я слушаю вас...

Лицо его становится внимательным, серьезным и ласковым. Сережей овладевает сейчас желание поделиться с этим сильным человеком всем. И он рассказывает о Горюшкине, о школе, о Тане...

Гурьев слушает внимательно и иногда переспрашивает:

— Как, то есть, на уроках присутствовал? Не понимаю.

— Да так просто, — поясняет Сережа, — вроде, как он говорит, комиссаром при священнике. Да притом сам учился, примеры разные решал, дроби десятичные.

Гурьеву, видно, очень хочется соблюсти спокойствие, но он не сдерживается и хохочет.

— Дроби... десятичные... примеры!.. Ну-ну, вот это я понимаю...

Когда Сережа говорит о записке, найденной им у Глюка на столе, о том, что Таня не любит его, Сережу, Гурьев сочувственно кивает головой. Потом спрашивает:

— Не любит?

— Не любит, — отвечает Сережа.

— Так, так... — Гурьев подыскивает нужное слово. — Ну, а вы сами не можете кого-нибудь еще полюбить?

— Кого? — спрашивает Сережа.

— Ну, уж я не знаю, конечно! — Гурьев оживляется. — Полюбили бы, а этой и сказали: «До свиданья, барышня! Люблю, мол, другую. Катитесь». Как хорошо!

— Нет, не могу, — говорит печально Сережа.

— Не можете? — сочувствует Гурьев, и лицо его вдруг опять улыбается. — Плохо дело ваше тогда...

Наконец Сережа кончает рассказывать. Гурьев ходит несколько минут в раздумье по комнате, потом говорит:

— Дело тут у вас заварилось интересное, очень даже. Да-с... А что, Горюшкин разве единственный коммунист в Сбищенске?

— Единственный, — отвечает Сережа.

— Отведите меня к нему, — говорит Гурьев и берет со стола большой свой картуз.

XI

Горюшкин, придя к себе, с трудом опустился на стул. Он сидел так, не шевелясь, несколько минут. Окно в комнате не отворялось с утра, и было душно. Горюш-

кин распахнул окно, и обрывки порванной вчера записки затанцевали в темном углу. Горюшкин собрал эти обрывки и кинул в окно. Но ветер не пустил их лететь: они вернулись назад и пятнами покрыли пол. Один обрывок прилип к гимнастерке Горюшкина. Горюшкин поднес этот обрывочек к глазам и прочел: «Милая Марфа Ивановна, я тоже очень вас...» Горюшкин вспомнил свое любовное, полное тревоги, неотправленное письмо. Горюшкин не знал, что изуродованные люди пишут только встревоженные любовные письма, и, испугавшись, изорвал свое послание.

— Теперь и так все кончилось, — сказал Горюшкин громко.

Он зажег свечу и стал собирать свои вещи. Их было немного. Старенький чемоданчик легко поглотил их. Горюшкин встал с колен и ощутил вдруг какое-то странное желание говорить громко с самим собой.

— Савелий Горюшкин! — сказал он. — Что ты теперь делать будешь? Как твоя жизнь дальше потечет, Савелий Горюшкин?

В комнату вошла Марфа. Горюшкин отступил, пораженный. Его отделяла от Марфы тоненькая пластинка света от свечи. Она волновалась и падала на стену, показывая рваные обои.

Марфа приблизилась к Горюшкину.

— Савелий Борисович, — сказала она тихо. — Я пришла к вам, Савелий Борисович, чтобы сказать...

Она не кончила фразы, Горюшкин перебил ее.

— Не надо, — сказал он. — Не надо сейчас об этом говорить. Сейчас не это... сейчас нельзя.

Он не слышал, как ушла Марфа. Хриплый голос заставил его вздрогнуть. Афонькин стоял перед ним.

— Здравствуйте! — сказал Афонькин. — Скучно, знаете ли, сидеть одному, вот я и пришел к вам... Ну, что вы на меня уставились? Взял так просто и пришел. Скучно мне...

Горюшкин вплотную подошел к Афонькину.

— Вы, — спросил он, — вы донесли на нас?

— Я? — ответил устало Афонькин. — Ну, я! Подавитесь...

Он настроил гитару.

— Я теперь тоску свою облегчаю, — сказал он. —

Только одной песне выучил меня Курков, один только мотив мне известен, а каково облегчает... Играю, пою — и на душе легко.

Он запел: «Среди долины ровныя». Пел долго, с всхлипываниями.

— Вы донесли? — спросил опять взволнованно Горюшкин. — Вы не понимаете того...

Афонькин не ответил, он еще некоторое время бренчал на гитаре.

— Я пойду, — сказал он наконец, — скучно как-то с вами.

Он завернул гитару в платок и вышел. Горюшкин хотел что-то крикнуть ему вслед, но удержался. На пороге стояли Сережа и Гурьев. Горюшкин с удивлением поглядел на них.

— Вот человек, — сказал Сережа, — этот человек...

Сереже хотелось дать понять Горюшкину, что пришедший с ним — настоящий и сильный человек, что он многое может сделать. Почему это так, Сережа не знал и сам, но был уверен, что Гурьев многое может...

Гурьев прервал Сережу, представился сам:

— Гурьев Иван, член партии... Давай знакомиться...

Горюшкин с радостью протянул Гурьеву руку.

— Вот это хорошо, — сказал он. — Очень рад, прямо выражусь, доволен я тебе... Надолго? На какую работу?.. Тут хотя работы много разной... Глухо у нас. Хорошо, что тебя прислали... Побыть только я с тобой не сумею, уезжаю завтра...

— Я проездом, — пояснил Гурьев.

На лице Горюшкина отразилось разочарование.

— Проездом? — протянул он. — Вот как... А я думал, сюда на работу... Жалко... — Потом добавил: — Это, брат мой, такой город... Тут, я тебе скажу, такие обстоятельства...

— Я рассказал ему все, — вмешался Сережа, — он теперь уже знает и о школе, и о Глюке...

— Трепались, значит? — строго спросил Горюшкин. — Язык у вас, замечаю, легкий.

— Да, я знаю все, — сказал Гурьев, и Сереже показалось странным, что теперь он серьезен, не улыбается, как несколько минут назад, в номере.

Они говорили долго. Горюшкин оправдывался.

— Попа, попа! А где учителя взять, я тебя спрашиваю? Ведь болото... Ответь: должен город развиваться? Может быть такое положение, чтоб советский город без развития? Не может! Ну то-то! А потом, я ведь при попе этом комиссаром... Поразмыслил я, думаю: «Ежели был я при царском генерал-лейтенанте комиссаром, почему же мне при попе?.. Неужели промажу?..» А тут человек из города... раз, два — и готово... Не разобрался, кричит: «Я кровь проливал!» Ну, я, может, меньше его проливал, пусть так будет, но дело-то мне дорого... Нельзя так сразу: культурное дело требует тонкого подхода, тонкого...

— Чудак! — перебил Горюшкина Гурьев. — А я что говорю? Дело тут действительно тонкое, подходить надо осторожно, интересное дело... Только вот что я тебе скажу вполне откровенно: вижу я, не понимаешь ты, что такое поп из себя обозначает.

— То есть как же не понимаю?

— Безусловно! Знаешь, что он мог натворить тут у вас? Ведь это враг классовый. Чувствуешь?

Горюшкин не знал, что ответить.

— Искал ты учителя? — спросил Гурьев. — Скажи, искал?

— Искал.

— Плохо искал, значит!

— Да где же их взять, учителей? Наука такая, что нет по ней учителей. По русскому языку вот даже набивались, а по математике совершенно нету.

— А город наш запрашивал?

— Да что ж запрашивать, когда нету там!

— Ну, вот я и говорю: плохо совсем искал... Словом, я через неделю в городе буду, тогда этот вопрос в губкоме обсудим. Партия думать будет, как его разрешить, потому такие дела не только у тебя, и у других возникать могут, страна наша ведь какая... Через неделю в городе буду, вернусь, тогда этот вопрос в губкоме обсудим. А Глюк этот, по-моему, не наш... Не доверяю я ему... Какой такой он человек? Прямо Хлестаков.

Горюшкину не приходилось ничего слышать о Хлестакове, но он с убеждением подтвердил:

— Пустой парень, что и говорить.

Когда Гурьев ушел, Сережа спросил повеселевшего Горюшкина:

— Ну как, товарищ Горюшкин, вы полагаете?

Горюшкин ответил, на ходу умываясь:

— Все будет хорошо, уверен... Знаешь, этот Гурьев парень какой, практика у него какая! Слышал я, что одного такого, вроде Глюка, прижучил он, и его, Хлестакова этого, прижучит... Тоже небось губернский работник был, а видишь, как партия тонко разбирается.

Через час Сережа говорил Кобякину с убеждением:

— Все переменится, будьте спокойны... а человек какой: сначала все смеялся, я было обиделся, а потом все обсудил... Временное это закрытие школы, Василий Саввич, я вам говорю, увидите, убедитесь.

Кобякин ответил хмуро:

— Не знаю, Сережа, не знаю... Кое-чего не понимаю, кое-чего не знаю, так оно и выходит... а в результате полный нуль... Да-с!

Сережа со страхом заметил, что Кобякин становится таким, каким был когда-то: сухим, непроницаемым.

— Значит, вы не верите?

Кобякин не ответил. Сережу самого стали одолевать сомнения. Уходя, он спросил:

— Что же будет все-таки, как вы полагаете?

— Сбищенская жизнь, как таковая, — ответил усмехаясь Кобякин.

И от этого ответа, и от нехорошей усмешки Кобякина у Сережи пропали остатки бодрости, навеянной Гурьевым.

XII

Ночью прошел дождь, и, когда Таня садилась в тарантас, она испачкала туфли в глинистой грязи.

— Ничего, — сказал Константин Глюк, — это пустяк.

Он очень волновался и торопился.

— Давай скорей! — крикнул он ямщику, возившемуся с упряжью.

Горюшкин подошел к тарантасу и поставил свой чемоданчик на заднюю скамейку.

— Ну вот, мы можем ехать, — произнес Глюк. — Да кончай же ты! — закричал он на ямщика.

— Мама, — сказала с грустью Таня, — прощай! Передай отцу, чтобы не ругал он меня. Ты скажи ему, что я не могу иначе, не могу. . .

Отец Алексей Маликов не пожелал проститься с дочерью. Он сидел сейчас у себя в комнате и задумчиво чертил что-то пальцем по столу. За окном, как и всегда после дождя, поселилась бурная капля. Она отрывалась время от времени от ржавого флюгера и летела вниз через свет и тени, сверкая и звеня. Она ударялась о дрожащий подоконник, и на этом месте все больше и больше разгорался солнечный оранжевый пожарик.

— Алеша! — крикнула жена. — Таня уезжает, навсегда, может быть. . . Простись с ней. . .

Отец Алексей молчал. Он глядел внимательно, как разгорается оранжевый пожарик на подоконнике, потом неожиданно встал и вышел на крыльцо. Он сказал:

— Вы обманули меня, но помните, помните: придет час.

— Трогай! — крикнул Глюк ямщику. — Да трогай же, черт! . .

Но в это время подошли Кобякин и Сережа.

— Прощайте! — сказали они Горюшкину, поместившемуся на задней скамейке тарантаса. — Прощайте, товарищ Горюшкин!

— Прощайте! — ответил Горюшкин. — Может быть, еще и увидимся. Вот какая оказия. . .

— Вы пишите нам, — попросил Сережа. — Мы ведь теперь одни. Да. . .

— Трогай! — крикнул Глюк, и тарантас быстро покатился, отплевываясь на ходу липкой грязью, и быстро скрылся из глаз.

— Вот и все, — сказал Кобякин. — Да-с, уехал Горюшкин.

Они тихо пошли по улице.

— А я сегодня в кино опять играю, — сказал зачем-то Сережа.

— Уехал Горюшкин, — повторял, как в забытьи, Кобякин. — Как вы думаете, Сережа, что мы теперь будем делать? А? Вот было что-то в жизни, сразу согрело, изменило все — и вдруг не стало. Уехал Горюшкин. . .

А мы еще ничего не знаем с вами, Сережа! Мы еще ничему не научились.

Сережа не отвечал. Они шли молча. Проходя мимо здания бывшего церковного совета, увидели, как человек срывает вывеску школы, не успевшую даже пятна оставить после себя на кирпичном фасаде. Человек, срывающий вывеску, торопился, молоток его бил ожесточенно.

— Уехал Горюшкин, — сказал Кобякин и заплакал.

БОЛЬШИЕ ДНИ

Глава первая

Днем из окна барака видно лишь незначительную часть площадки строительства, по вечерам же только несколько неясных огней мерцают в отдалении. Это те огни, которые робко освещают небольшой клочок земли, засыпанный стружками, гвоздями, опилками. Это те огни, которые помогают сторожу охранять оставленные на стройке инструменты и материалы. Огни эти одинокие, они затеряны в лесах. Земля, освещенная этими далекими огнями, кажется жесткой и даже летом скованной холодом. Никто не любуется ими, как любуются веселыми огнями цеха металлических конструкций, цеха, недавно оконченного стройкой, находящегося в восточной стороне площадки.

Год назад на площадке была только контора — небольшое каменное здание с белой вывеской. Вокруг стучали молотки, валялись балки, части машин, и всем казалось тогда, что контора — это и есть начало строительства, что от нее все пошло. Но это казалось до тех пор, пока не закончили стройку цеха металлических конструкций. С того момента, как начал работать этот цех и ночью светиться множеством ярких огней, стало понятно, что он и есть начало строительства, начало будущего завода, он, а вовсе не контора; что от него идут все пути, все доски, перекинутые через ямы, все тропинки между штабелями кирпичей, все песни по вечерам, весь задор, все горе.

Вот примерно в это время в одном из бараков, где

помещались сезонники, появился Тимка. Тимке на вид было лет пятьдесят, и вначале все отнеслись к нему с уважением. Он же, осмотревшись, заявил решительно:

— Меня зовут Тимкой, на Тимофея Васильевича откликаться не буду. А то можете еще седым чертом звать.

При этом он состроил уморительную гримасу, и все поняли тотчас же, что он из тех стариков, которые всегда юродствуют, паясничают, из тех стариков, которые знают много интересных историй, а еще больше похабных анекдотов, из тех стариков, которые обычно бывают вертлявыми, юркими, которые никогда ни на кого не обижаются, которые живут вприпрыжку и умирают от перепоя.

С Тимкой пришел в барак молодой парень. Звали молодого парня Петром. Он был тихим, неповоротливым, задумчивым человеком. Была между молодым и стариком дружба, но, несмотря на эту дружбу, они как-то странно совсем не интересовались друг другом. Это, по всей вероятности, была даже не дружба, а связь, такая связь, какая бывает между слепцом и поводырем. Порвись эта незначительная связь, уйдет слепец куда-нибудь наискось, а поводырь — прямо, и не заметят они отсутствия друг друга. Так и Тимка с Петром, казалось, давно бы разошлись в разные стороны и не заметили бы отсутствия друг друга, если бы не какая-то внутренняя связь, похожая на дружбу.

Все в бараке ждали от Тимки веселья и поощряли его в этом смысле: один рассказал похабную историю и ждал, что после этого Тимка расскажет много других похабных историй, другой предложил Тимке выпить вина, третий стал натравливать на Тимку собаку. Но все ошиблись в своих расчетах: Тимка не рассказал ни одной похабной истории, на предложение выпить ответил сухо и кратко — «не пью», а собаку приласкал, и она прижалась к нему.

На другой день Тимка показал чудеса усердия. Он был землекопом и в эту несложную работу сумел внести какую-то непостижимую тонкость, какой-то умный расчет. Он сработал много больше других землекопов и потом сказал им презрительно:

— Работнички вы, ох и работнички! Глядеть на вас противно.

Так прошло три дня. На четвертый день Тимка и Петр запили.

— Отрицаю! — закричал Тимка, входя в барак, голосом веселым и буйным.

— Что вы отрицаете? — спросил Петр. Лицо его кривилось, было мертвенно-бледным. На Петра, видно, очень дурно действовал алкоголь.

— Все я отрицаю, все!..

В бараке смеялись. Было приятно сезонникам, что не ошиблись они, что Тимка именно такой, каким они его себе представляли.

— Атретант! — вдруг выкрикнул он какое-то непонятное слово.

— Они мочиться хочут, — пояснил окружающим Петр, — это у них всегда так. В пьяном виде, а мочутся аккуратно, как в трезвом. Мочиться они хочут, это именно у них атретант и есть.

Тут вошел в барак Саша. Он постоял с минуту молча, поглядел на представившиеся его глазам безобразия и решительно сказал:

— Завтра же вон таких гнать надо. У нас своих пьяниц хватает.

Землекопы хорошо знали Сашу. Они знали, что он никогда не говорит попусту, и на другое утро сказали протрезвевшему Тимке:

— Милый друг, прощай, до свиданья. Сегодня тебя с твоим парнем отсюда вон. Саша так сказал, Саша. А уж Саша, если он скажет, так и будет.

Тимка разыскал Сашу на стройке.

— Товарищ начальник, — сказал Тимка развязно.

— Я не начальник, — спокойно заметил Саша.

— Капитан, а капитан.

— Я не капитан, — еще спокойнее сказал Саша.

— «Он в битве суровой спокой свой нашел», — вдруг пронзительно запел Тимка. В этих песенных словах был какой-то разговорный, злой смысл.

— Не хулигань, — сказал Саша.

— Если еще раз, тогда вы можете, а сейчас прошу дело прекратить.

— Надеешься, значит, бросить безобразие?

— Не знаю.

— Тогда зачем же следующего раза ждать?

— С первого раза ничего не делается. Как оно говорится: первый раз прощается, второй раз воспрещается. Если бы такого правила не было, совсем бы нашему брату алкоголику плохо пришлось. Только между первым и вторым разом существуем, можно сказать.

— Ты не дурак, — усмехнулся Саша, — только с такими умниками социализма не построишь. Нет, нам таких не надо.

— Значит, увольняться приходится?

— Да, уж лучше тебе отсюда уйти, я полагаю.

Тимка ничего не сказал на это, повернулся кругом (было и в этом шутовство), пошел к бараку. В дальнем углу играли на балалайке. Было сейчас в бараке пусто, скучно, и угол, где играли, казался веселым, уютным. Играл молодой парень. Тимка подошел к молодому парню, постоял короткое время, внимательно прислушиваясь.

— Почему ты на работу не пошел? — спросил он парня.

— А у меня аппендицит, — ответил тот, весело ухмыляясь. — Чуть что не так — болит. Мне говорят, ты его вырежь, товарищ Шувалов, а я отвечаю — смысла нет вырезывать, потому я всегда два-три дня через этот самый аппендицит по бюллетеню прогулять могу, свои дела справить. Оно и хорошо.

Он заиграл снова.

Тимка пошел к своему месту, достал из-под койки сундучок и начал запихивать в него рваное одеяло. Петр тоже стал собирать свои тряпки.

Вечером Тимка пришел к Саше. Саша крепко спал на тощей своей койке. Тимка робко толкнул его.

— Ну, что тебе? — спросил Саша недовольным голосом.

— Бьен зиси, — сказал Тимка, раскланиваясь.

Саша от удивления даже вскочил.

— Можешь ты собаке подражать? — спросил Тимка.

— Нет, — ответил Саша, еще не придя в себя от удивления.

— А я могу. — Тимка залаял по-собачьи.

— Перестань, старик.

— Мертвым можешь притвориться? — не унимался Тимка. — Смотри вот.

Он повалился на койку и замер. Глаза его были открыты, руки вытянуты. Он не моргал, не шевелился и действительно походил сейчас на покойника.

— Шут ты, вот кто, — сказал Саша, которому стало противно смотреть на жалкие эти ухищрения, — уйди, пожалуйста, от меня.

— Люди ко мне строго относятся, — сказал Тимка, приподымаясь, — никому до меня никакого дела нет. А натура у меня такая, что к людям меня тянет. Что-нибудь этакое я выкину, гляжу, все смеются и всем я нравлюсь. Друзья у меня появляются. Ну, а потом привык уж я людей тешить и остановиться не могу.

— Какое твое социальное положение? — спросил Саша.

— Я путешественник.

— Такого социального положения не бывает.

— Пойдем-ка, Саша, милый друг, выпьем. Я тебе такое тогда покажу. . .

— Вот что, старик, не мешай мне отдыхать, пожалуйста, я работал сегодня. . .

Тимка спросил неожиданно серьезно:

— Вы комсомол?

— Комсомол, — улыбнулся Саша.

— Отдаю своего Петра в комсомол, — сказал Тимка торжественно, — отдаю своего Петра в комсомол, в научную организацию, представляю его документы — он бедняк, и отец его был бедняк. Имеет вполне право. Думаешь, я не знаю?

Тимка вытащил из кармана какие-то бумажонки. Он силился прочесть что-то, и теперь было ясно видно, что он уже совсем пожилой человек, что у него трясутся руки, что бойкость его напускная.

— Вот это дело, — сказал Саша, — только сразу тоже оно не делается.

— Забери ты от меня Петра, — произнес тихо Тимка, — забери ты его, товарищ Саша, а не то я его вконец испорчу. Имею я в себе окаянную силу людей портить. Обладаю я, одним словом, такой силой.

— Заберем, — сказал Саша, — обязательно заберем. Что он тебе, родной?

— Нет.

Тимка пошел к двери.

— Постой, старик, — крикнул ему Саша. — Ну, Петра мы заберем, а ты как же?

— А я пойду, — сказал Тимка, не оборачиваясь.

— Куда ж ты пойдешь, старик, ведь идти тебе, я полагаю, некуда. Оставайся, работай по-настоящему.

— Нет, Саша, не такой я человек.

— А ты знаешь, что мы здесь делаем? Ты знаешь, какую мы жизнь создаем?

— Знаю, Саша.

— Ну, так чего же?

— Ничего у меня, Саша, не выйдет. Ты мне лучше не говори, я знаю.

— Кем ты раньше был?

— Кем я только, Саша, не был. И грузчиком работал, и сторожем, и дворником, да разве все упомнишь?

— Значит, ты трудящийся человек, а не путешественник. И вот что я тебе скажу, старик. — Саша вскочил с койки. — Имеем право мы тебя мобилизовать. Не должен ты деклассированным быть.

— Люмпеном? — спросил Тимка, хитро улыбаясь.

— И все-то ты знаешь, старик, — рассмеялся Саша. — Ну как же, будешь работать? Честное слово, я тебе советую.

— Нет, Саша, не такой я человек.

— Значит, не хочешь помочь нам. Значит, не хочешь помочь своему классу, пусть другие, мол, работают, а я погуляю, я, мол, на готовое приду.

— Так ведь я же, Саша, объяснил тебе, больной я человек. — Лицо Тимки страдальчески искривилось. — А насчет своего класса это я понимаю. Я это очень хорошо понимаю. Я, Саша, за свой класс воевал и теперь воевать буду. Стройте, создавайте, я вас никому тронуть не дам, но насчет того, чтобы помочь, — не могу. Рад бы, а не могу.

Он попрощался с Сашей и вышел на улицу. Эта улица только недавно стала улицей: новые кирпичные дома стояли по обеим ее сторонам. Ничего другого уличного здесь не было, не было палисадников, заборов, калиток, дворов, не было связи между домами, и они стояли ровные, без наклона друг к другу, точно кто-то умышленно выставил их на короткое время. Дома были по большей части недостроенные, но в них уже жили. Короткие тру-

бы торчали из некоторых окон, вокруг труб были почерневшие от сажи места. Кое-где из новых рам были выбиты стекла. Некоторые окна были освещены. Так бывает и тогда, когда в полуразрушенных домах остаются жить жильцы. Они живут на виду у всех, их жилье — единственное теплое место среди холода и пустоты. Поэтому Тимка не мог понять сразу, строительство здесь или разрушение.

«Непорядок, — подумал он. — Новое место в пустырь обратили. Ну, да они исправят, такие-то, как Саша. А до чего хороший парень! И все они здесь такие суетливые, стараются, добиваются. Все им нипочем. . .»

Впереди него шел уже некоторое время пьяный человек.

— Все бы вам пить, — сказал Тимка, нагоняя пьяного.

— А чего же, — сказал пьяный добродушно, — почему же не пить?

Они подошли к фонарю, и Тимка узнал в пьяном человеке одного из обитателей своего барака.

— А, старик, — сказал пьяный, — пойдем, я тебя угощу. Я с удовольствием тебя угощу.

Тимка свернул в сторону и зашагал быстрее.

Глава вторая

Фамилия Саши была Луч. Ничего светлого в лице его не было, фигурка его тоже была темненькая, и фамилия Луч воспринималась юмористически. Слесарь Мамыкин как-то раз сказал Саше:

— Фамилию надо человеку давать тогда, когда он много лет на свете проживет и всем понятно будет, кто он такой есть, когда суть его видна будет. А то заимел человек фамилию при рождении, и совершенно он ей не соответствует. Отсюда насмешка и идет.

Отец Саши был не то поляк, не то австриец, точно Саша не знал, отца он не помнил. Мать умерла, когда Саше было десять лет. После смерти матери так и остался Саша в комнате подвального этажа, в которой родился и прожил всю свою небольшую жизнь.

— Скажи пожалуйста, какой жилец! — расхохотался дворник Степан, когда Саша заявил ему о том, что уезжать никуда не собирается. — А за квартиру ты чем платить будешь?

— Заплачу, — сказал Саша уверенно. И действительно заплатил в срок.

В домоуправлении были этим удивлены чрезвычайно.

— Тем не менее ты еще ребенок, — сказал Саше жилец-общественник, выписывая квитанцию. — Как хочешь, но я считаю тебя ребенком.

С этого времени вопрос о Саше неизменно разбирался на всех собраниях жильцов. Вначале предполагали отдать его в детский дом, но выяснилось, что возраст Саши не позволяет сделать это. Тогда решили определить Сашу в коммуну. Опять встретились какие-то препятствия. Потом на некоторое время забыли о нем, потом опять вспомнили и опять хлопотали.

Как-то раз Саша пришел в домоуправление и протянул жильцу-общественнику заявление.

— В чем дело? — спросил удивленно жилец-общественник. — Что тебе надо?

— А в том дело, — сказал Саша, подымаясь на носки, чтобы лучше увидеть жильца-общественника, сидящего за высокой конторкой, — в том дело, что распространили про меня слухи по двору, будто бы я беспризорный. Ничего подобного. Я рабочий и член комсомола. Имейте это в виду и запомните.

Жилец-общественник даже вышел из-за конторки.

— Видите ли, товарищ. . . — сказал он.

— Удивляетесь? — перебил его Саша. — Удивляетесь тому, что я сам себя определил к делу? — Он усмехнулся. — Удивляться нечего тому, что сам человек свой путь нашел. Этому пример Максим Горький и многие другие. А если я про себя еще раз «беспризорный» услышу, я в суд подам. Примите заявление.

Он вышел из конторы. С минуту в конторе было тихо, и вдруг дворник Степан, присутствовавший при этом разговоре, закричал пронзительно и резко:

— Это разве метлы? . . Заставляют обходиться тремя метлами в месяц, это при нашем-то дворе! . . Так мне и двух довольно, только чтобы это метлы были, а не барахло! . .

— Что тебе? — устало спросил жилец-общественник.

— Думаете, наш брат — это так себе, ерунда одна, — продолжал выкрикивать дворник Степан. — Об себе только думаете: мы, мол, благородные, а вы, мол, простой народ. . . А наш брат, он сейчас первое место занимает, наш брат, он сейчас далеко пошел, ты его, нашего брата, сейчас дешево не купишь.

Глава третья

Двор. Трубы, поржавевшие от старости. Песок. Лужа. Ребенок у лужи. Кошка, следящая за ребенком. Каждый день, перед тем как уйти из дома, смотришь в окно на это, и каждый день хочется пойти в глубь двора, за флигель, поглядеть на то, что происходит там. Но как пойти? Зачем, собственно, идти? А потом, вдруг спросят: «А что вы тут делаете?» Будет стыдно. Так и уезжаешь из этого дома, не побывав на дворе. Дверь дома открывается для взрослых людей прямо на улицу. Двор — это детство.

Жизнь у Марии Федоровны — учительницы ликбеза — бродячая. Во многих домах жила Мария Федоровна, но мысли эти пришли почему-то сейчас, когда живет она в одном из недостроенных домов и никакого двора около дома вовсе и нет.

Наверху обитают сезонники, они поют по вечерам песни. За стеной живут муж с женой. Они приехали с Кавказа. Там море, там хорошие погоды, там люди ласковее, чем здесь. Об этом часто говорит жена. Мария Федоровна все слышит через тонкую перегородку.

— Зачем мы сюда, спрашивается, приехали? Грязь по колено. Вчера зацепилась за железо, юбку порвала, а разве теперь новую купишь? Вымыться негде.

— Я буду жить там, где нужно будет.

— А Сергей что же, не партийный? Остался ведь, нашел ходы. . .

— Таких из партии каждый день вышибают.

— Смотри, как бы я тебя не вышибла.

Жизнь Марии Федоровны бродячая. Возможное дело, что в недалеком будущем отправится Мария Федоровна на новое место. На новом месте откроет свои

чемоданы, и появятся на свет все эти салфеточки, скатерочки, статуэтки, картинки, что окружают ее здесь. И будут они делать похожей новую комнату на все прежние, как делает новое место похожим на все прежние цыганский табор.

Мария Федоровна знает, что за стеной новой ее комнаты будет жить одинокий и скучный человек. Он будет приходить иногда к ней и говорить противным голосом: «Очень легко одеваетесь, Мария Федоровна, не советую так. У нас климат очень обманчивый, вы не глядите на то, что солнце появилось, это ничего не значит. Уверяю вас».

А в следующей комнате обязательно будет жить веселый и легкомысленный человек, и будет она чувствовать насмешку этого человека, и придет он как-нибудь ночью пьяным, будет шуметь, а она выйдет, закутанная в платок, и злобно скажет: «Попрошу считаться с остальными жильцами. Я на вас жаловаться буду. Сейчас ночь, а не день, как вам, может быть, кажется».

Будет слышать она одобрительные слова одинокого жильца и будет ненавидеть его за это одобрение. Потом, уже сквозь сон, услышит произнесенное пьяным голосом:

— Старая лошадь.

Мария Федоровна выглядит моложе своих лет. Но какая-то преувеличенная чистоплотность выдает ее годы. Такая чистоплотность бывает у стареющих людей, точно надеются они чистотой этой скрыть старость: докрасна вымытые руки, стертая от тщательного мытья кожа на лице.

Глава четвертая

Александр Иванович Гремучин служил весовщиком на железной дороге тридцать лет. Грузы шли в различные города, возвращались оттуда, и мало-помалу перестал считать Александр Иванович города эти городами: они превращались в железнодорожные пункты, а превратившись в таковые, утрачивали свежесть и прелесть свою, вид свой, площади, дома, уличную толчею — все, словом, утрачивали.

За время службы Александра Ивановича в железно-

дорожной конторе так и умирали города: раз — Тула, два — Тула, три... пятнадцать — и нет Тулы. И если бы кто-нибудь сказал теперь Александру Ивановичу, что Тула летом покрыта пылью, что в Туле есть сквер, что у людей в Туле болят зубы, был бы удивлен Александр Иванович чрезвычайно.

Так умирала для него российская карта. Она умирала медленно.

Однажды груз отправляли в неизвестный Александру Ивановичу город.

«Лучинск, — писал он на рогоже, — Лучинск».

Груз давно уже был в пути, а Александр Иванович все еще размышлял о городе Лучинске. Лучинск — город среди полей. Каменные дома, деревянные тротуары, извозчичьи пролетки, дребезжащие извозчичьи пролетки, звенит отскакивающий номер, стукается о перекладину, кошки с вытертыми боками, собаки — и все это среди полей. Сочная трава — и кошки с вытертой шерстью. Жаворонок — и извозчичьи пролетки. Какая невероятная смесь! Все вместе — страна, государство. Лес, наконец, прохлада, тени, шепот деревьев, одиночество, а в двадцати минутах ходьбы — собственный дом мещанина Грызалова, скрипучая лестница в щелях, вонь и дворник с бляхой, на которой написано: «Район 4-й, квартал 2-й». А все вместе — страна, государство.

Лучинск... Поля заливают его окраины и неожиданно выплескиваются зеленью на Интернациональной против банка или на Советской против почты. Деревянные тротуары обрастают травой. Трава даже на железных ржавых крышах. Город пророс травой.

На Базарной площади поле побеждено в полной мере. Можно прямо сказать, Базарная площадь — городская и по-городскому замощена кривым булыжником. Но иногда и здесь выскакивает от удара копытом или от чего еще камень, и на освобожденном месте начинает расти трава. Она растет быстро и торопливо, как быстро и торопливо втекала бы сюда вода. Лучинск наполнен зеленью, как водой, из каждого отверстия течет зелень.

И наконец Лучинск умер: пятнадцать грузов прошли в Лучинск и убили его для Александра Ивановича. Лучинск стал железнодорожным пунктом. Кисть, обмакнутая в краску, породила его легко и просто, как легко и

просто породила она Ленинград, Тулу, Воронеж, Харьков. Прощай, Лучинск... Поля, кошки, извозчичьи номера — об этом не будет больше размышлять Александр Иванович Гремучин.

Лучинск был последним городом, и осталась для Александра Ивановича одна лишь Большая Гора, в которой он жил всю жизнь. Грузы из Большой Горы не отправляются в Большую Гору.

Но как-то раз пришлось Александру Ивановичу поработать в кассе прибытия. «Большая Гора» — было выведено краской на всех тюках, «Большая Гора». В «Большую Гору»... И Александр Иванович ощутил, что он может потерять и Большую Гору, что вот-вот должна она будет превратиться в железнодорожный пункт. Он ушел из кассы прибытия. Он боялся потерять Большую Гору. Он пробыл в кассе прибытия недолго, и Большая Гора еще не была потеряна. Но что-то механическое уже появилось в ней, какая-то частица мертвечины, какой-то запах рогожи, веревки и краски.

Глава пятая

После того вечернего разговора с Сашей Тимка работал усердно два дня. На третий день он пришел к Саше в мастерскую. Саша низко склонился над тисками, и Тимке пришлось несколько раз окликнуть его.

— Обдумываю я свою жизнь, — сказал Тимка, — очень я ее обдумываю.

— Некогда, старик, некогда, — сказал Саша, не отрываясь от тисков.

Тимке стало не по себе. За эти два дня он мысленно несколько раз воспроизводил свой будущий разговор с Сашей. Он много думал о том, как лучше сказать Саше, что решил попробовать изменить свою жизнь. Он думал вскользь сказать Саше и о том, что эти два дня работал примерно. Он надеялся выслушать от Саши похвалу за это. Опять должен был произойти между ними разговор о жизни, и тогда должен был он, Тимка, с какой-то стыдливой радостью признать справедливость Сашиных слов и с той же стыдливой радостью осознать себя хорошим, настоящим, исправившимся человеком. Тимка не раз за

эти два дня предугадывал этот разговор, он знал даже интонацию Саши.

— Молодец, старик, — скажет Саша. — Вот это дело.

— Как же иначе, — ответит на это он, Тимка, — ведь разве я не понимаю, какое дело пролетариат делает, разве я не понимаю, что моя жизнь — это ужасный пустяк.

И вот вместо всего — это резкое «некогда».

— Ну что тебе, старик? — спросил Саша нетерпеливо.

— Ничего, — ответил Тимка и пошел прочь.

Когда он выходил уже из мастерской, Саша окликнул его:

— Подожди, старик, сейчас перерыв, поговорим.

Через несколько минут Саша подошел к Тимке

— Проводи меня до столовой, — сказал он.

Они вышли из мастерской. На свету представляли они собой странную пару, некий символ рабочего и крестьянина, машины и сохи, электрической лампочки и лучины, всех несоответствий, какими полна была наша страна. Саша одет был в комбинезон, лицо испачкано маслом, волосы растрепаны. Черный цвет преобладал во всем его облике. Машинная гарь, опилки сыпались с него. Он был точно вырисован углем на фоне светлого дня. День окружал его со всех сторон, воздух рядом с ним был виден отчетливо.

В Тимке же, наоборот, преобладала торжественность и благообразность. У Тимки был сегодня нерабочий день, и, наряженный в старомодный пиджак, в белую рубашку «фантазия», Тимка походил сейчас на выходца из старого воскресного дня, на одного из тех стариков, которых и сейчас еще можно наблюдать где-нибудь на улицах притихшего города, медленно-медленно шествующих или блаженно дремлющих на бульварной скамейке. В окружении строительства, шума, криков Тимка казался нездешним человеком, в той мере, впрочем, в какой нездешним казался бы здесь всякий отдыхающий человек.

Они шли сейчас по Сашиной стране, по той стране, которая с десятилетнего возраста заменила Саше мать. Это была Сашина родина, и он шагал по ней уверенно.

В кабинете главного инженера, куда как-то раз зашел Саша, висела на стенке географическая карта. На

карте этой были обозначены города, села, реки, окружавшие строительство. Саша не верил этой карте: он знал, что́ скрывает она под названием сел и городов. Она, эта безразличная карта, скрывала вузы, заводы, партию, комсомол, социализм. Она скрывала его, Сашину, страну. Он без труда смог бы начертить другую карту, карту своей страны. Он предпочел бы, чтобы такая карта висела на стенке в кабинете главного инженера.

Они шли теперь по родине Саши, и Тимка, русского вида Тимка, в русском старомодном пиджаке, в русских сапогах, торжественный, казался приезжим человеком. Он был приезжим из России. Был вполне понятен путь его: он не ехал по длинной дороге, не отдыхал в трактирах, не трясся в железнодорожном вагоне, не переходил никакой границы, нет, он пришел со стороны, из какого-то закоулка. У социализма граница с Россией в этом 1930 году была не прямая и определенная, она шла не по земле, нет, она извивалась причудливым узором и шла через сознание, через привычки, через сердца. Это была странная граница.

— А ты знаешь, старик, — спросил вдруг Саша, — а ты знаешь, что́ мы здесь строим?

— Нет, — ответил Тимка.

— Завод тяжелого машиностроения. Тут такой завод будет! В Европе таких нет... Один механический цех — пять десятин...

— Как сад, — сказал Тимка.

Саша неожиданно спросил:

— Обиделся ты на меня, старик, за то, что я с тобой разговаривать не стал?

Тимка не ответил.

— Да ведь работа-то не ждет.

— Я ничего, — сказал Тимка.

— Ты вот решил сознательным рабочим стать. Знаю и понимаю. Наводил я о тебе справки. Говорят: «Работает он хорошо». Ну что же, я рад. А потом, пойми, кому от этого польза, старик? Кому? И тебе, и мне, и всем нам. Ведь вот все это — наше ведь. Завод ведь для себя строим. Вот я иногда думаю: «Господи боже мой, до чего я бедный, ничего у меня нет, а вместе с тем до чего же я богатый». В это, старик, по-настоящему вникнуть надо.

А то выходит так, будто ты для меня делаешь что-то и я тебя постоянно должен за это благодарить: «Спасибо, спасибо...» Так ведь ты для себя делаешь... Понимаешь? Ведь общее наше пролетарское дело делаешь. И я с тобой... Вместе завод строим... А какой завод... Мы вот сейчас машины из-за границы выписываем, а вместе с ними заграничных людей, заграничный опыт, заграничную сноровку выписываем. Случись война, и нет нам машин. А сколько их нам надо теперь, ты знаешь, сколько? А тут наш советский завод будет. Да какой еще завод!

К ним подошел молодой паренек.

— Готово дело, Саша, — сказал он, — решение есть.

— А Голубков как? — спросил Саша.

— Сбили Голубкова. Он и так и этак. «Меньше чем в двадцатидневный срок смонтировать десятитонный кран, говорит, нельзя, я, говорит, опытный человек, я, говорит, знаю». Ну, а я на ребят насел, сделаем, да и только. Ребята помялись — и за мной. Постановили вызвать соседей на соревнование и смонтировать кран в семидневный срок.

— Молодец, Колька, — сказал Саша. — Вот это я понимаю. Постой, куда ты?

— Некогда, — крикнул Колька, быстро скрываясь за поворотом.

Он и речь свою выпалил быстро, торопясь, и смеялся тоже как-то торопливо. Он был из тех людей, которые все делают быстро: быстро обедают, быстро выкуривают папиросу, быстро могут рассказать длинный какой-нибудь эпизод. Сама природа приспосабливает, кажется, их к такой быстрой жизни. Они обычно сухощавые, длинноногие и большей частью почему-то блондины. Таким был и Колька, Николай Петрович Совков, как его иногда называли, очень редко, хотя Колька любил, когда его называют полным именем: он был очень самолюбив и в уменьшительном «Колька» чувствовал почему-то насмешку.

— Вот юла, — сказал Саша, когда убедился, что Колька не вернется на оклики. — Никогда путно не расскажет. А молодец. Сбил оппортуниста Голубкова. Повел за собой ребят. Теперь двинем дело. Понимаешь, старик, нам надо во что бы то ни стало зажечь мартен

пятнадцатого мая. Принцип нашего строительства такой, чтобы постепенно вводить цеха в эксплуатацию. Вот цех металлических конструкций когда работать начал, совсем другое дело получилось. Свои конструкции у нас теперь, не то что раньше — жди, когда пришлют. Теперь нам не страшно. . . Сколько нужно конструкций для других цехов — у нас есть. Такое же дело и с мартеновским цехом. Боевое задание стоит перед всем коллективом — пустить мартеновский цех к пятнадцатому мая. А для этой цели, помимо монтажа мартена, надо все параллельные работы подогнать, монтаж кранов, к примеру, хотя бы. Слышал, что Колька говорил? . . Кажется, двинем это дело. Землекопные работы тоже надо подогнать. Постой, старик, ты ведь на постройке мартеновского землекопом работаешь? Верно?

— Верно.

Саша схватил Тимку за руку.

— Вот что, старик. Отстают у нас там землекопные работы. Народ некрепкий эти землекопы, а потом организована работа тоже неважно. С одной стороны, людей не хватает, с другой стороны — без дела люди ходят. Так вот тебе твердое задание, твердая установка. Бери на себя ответственность за землекопные работы на постройке мартеновского. Тяни ты ребят, контролируй работу, подымай общественное мнение вокруг этого дела. Под твою теперь ответственность будут работы идти. Красота, старик, будет, все подгоним к сроку и пятнадцатого мая зажжем первый мартен. Второй цех ведь пустим. . . Еще несколько цехов, и завод пошел. Эх, старик, старик! А ты говоришь!

Саша прижал Тимку к себе, потом отпихнул. Тимка упал.

— Прости, — сказал Саша, помогая Тимке встать. — Я такой уж бешеный. Представил себе завод наш будущий. Рапортуем партии и правительству: коллектив выполнил задание. Завод пущен в ход. Первый завод тяжелого машиностроения. Первый в Европе завод. А ты говоришь!

— Я ничего не говорю, — сказал Тимка, потирая ушибленное место.

— Дай руку, старик. Идет условие?

— Идет, Саша, — сказал Тимка, пожимая Сашину руку.

— А вот этот тоже скоро пустим, — сказал Саша, указывая Тимке рукой на строящийся цех. — Зайдем-ка.

Они зашли в модельный цех. Цех этот был почти что закончен стройкой. Теперь заканчивали четвертую стену. Три стены были темные, неподвижные, четвертая — лес, воздух, небо. Так — на лес, на воздух, на небо — набивали теперь доски, планки. Три стены были всегда одинаковые, четвертая то и дело менялась: сегодня была она туманной, завтра пересекал ее во всех направлениях дождь, послезавтра сияло солнце. Впрочем, стена эта достраивалась быстро. Цех отделялся от природы. Природа была только с внешней стороны. Внутрь через небольшие уже дыры только иногда попадали лучи солнца, свежесть, дождь. Блекли во всех углах свежие места. Появлялась пыль. Здесь было уже закрытое помещение. Песня оставалась в помещении и была уже комнатной песней, слова не улетали ввысь, а были слышны отчетливо. Только внимательно всмотревшись, можно было заметить, что совсем еще недавно здесь, на месте этого цеха, было поле. Какой-то кусок поля, какой-то кусок свежести, казалось, был заключен в этом помещении.

— Скоро тоже пустим, — сказал Саша. Потом вдруг вспомнил: — А обед-то? Ну, прощай, старик, значит, условились.

Саша убежал.

Тимка некоторое время осматривал цех. Потом долго бродил по строительству. Вечерело. Огни зажглись в отдалении. Огни эти отделяли строительство от остального мира. Казалось теперь Тимке, что здесь, на строительстве, свой вечер, свои дали, свой воздух. Там, за редкими огнями, лежит другой мир, и, может быть, там сейчас день, в том мире, может быть, там сейчас дождь, в том мире, может быть, там сейчас осень, в том мире, а не весна, как здесь, на строительстве.

Пришел он в барак поздно, быстро улегся на свое место.

— Ну, куда ж теперь пойдем? — спросил его Петр.

Тимка притворился спящим.

— Ходоки мы с тобой, старик, — сказал Петр, — очень мы с тобой ходоки, легкие люди, одним словом.

Подошел Шувалов.

— Ну как? — спросил его Петр. — Как болезнь твоя?

— Прошла, — сказал Шувалов, — только проверить это совершенно невозможно. Болезнь-то — она во мне, я об этом сказать должен, что она прошла, а я не скажу и завтра цельный день отдыхать буду.

— Деньги тебе платят, а ты отдыхаешь, — сказал Петр.

— Это ничего не значит. Денег в Советской стране много. Об деньгах у нас не тужат.

Тимка хотел возразить, но промолчал. «Завтра, — подумал он, — завтра я им покажу».

Завтра представлялось ему началом новой жизни. Было какое-то необъяснимое желание провести границу между старой и новой жизнью, как-то еще раз убедиться в том, что решение перейти эту границу есть, и еще раз пережить радость этого решения. Поэтому не хотелось ему сейчас начинать спор с Шуваловым.

Глава шестая

Несколько лет назад он решил завести дневник. Он купил клеенчатую толстую тетрадь и на первой ее странице вывел круглым почерком: Борис Андреевич Голубков. И в этот раз, как, впрочем, и всегда, когда приходилось полностью писать свое имя, отчество и фамилию, ощутил он, что тут, собственно, три человека: Борис — один человек, Андреевич — другой человек и Голубков — третий. И что облик этих трех людей дает лишь неясное представление о том человеке, каковым он, Борис Андреевич Голубков, на самом деле является.

Андреевич (всегда почему-то с середины начинал он разбор) — это означало близость к отцу, некое подобие отца. Отец Бориса Андреевича, мелкий чиновник, был единственным неудачником в счастливой, большой семье купцов, полковников, статских советников. Его не любили в семье. Он же, обиженный и гордый, всю жизнь копил крохи счастья на старость. Именно всю жизнь, потому что старость у неудачников начинается с молодости или, вернее сказать, переплетается с молодостью и заботы о ней начинаются очень рано. Оно и понятно. Не-

удачник верит в то, что старость явится возмездием за испорченную молодость, он даже часто не признает ее, когда она приходит, как бы отодвигает ее в глубь лет. Отсюда — так часто встречающиеся бойкие, суетливые и вместе с тем жалкие и смешные старички.

Таким был и отец Бориса Андреевича. Борис Андреевич презирал отца. Началось это презрение с очень давнего времени. Оно началось с детства, даже с одного случая. Отец, несмотря на свою гордость, был всегда в долгах у богатых родственников. Как-то раз мать Бориса Андреевича купила себе новое пальто. Долго и подробно обсуждались заранее все детали этой покупки, подсчитывались деньги. И вот наконец купили пальто. Была теплая весенняя погода, отец с матерью собрались гулять. Трамвайная остановка была против дома, где жила семья Бориса Андреевича. Рядом с этим домом помещался особняк старшего брата отца, статского советника, главного кредитора. Борис Андреевич на всю жизнь запомнил разговор между отцом и матерью.

— Саша, — сказал отец робко, — мы сядем в трамвай на другой остановке, правда? Из окон Алексей нас увидит, а еще хуже того, кто-нибудь из его домашних. Увидят и подумают: «Денег не отдают, а новые пальто покупают».

— Нет, — ответила мать, — нет, ни за что. Я плевать на них хотела, на твоих родственников, они и так тебя обобрали.

Мать настояла на своем, и Борис Андреевич на всю жизнь запомнил, как отец, дожидаясь трамвая, бросал быстрые и робкие взгляды на окна братнего особняка, как старался заслонить мать, как вертелся около нее.

Итак, отец всю жизнь собирал крохи счастья на старость. К концу жизни у него действительно уже кое-что было: пенсия, сын и приятное воспоминание о том, как генерал Чудинов два десятка лет назад ему, почтовому чиновнику незначительного, мелкого класса, жал руку, уверяя в своем расположении и дружбе. С этим пришел отец к старости, как приходят к далекому городу. И как после долгого пути, осмотревшись и отдохнув, человек, внимательно и трезво разглядывая окружающий его город, замечает всю новизну его, все краски его, так и отец, внимательно и трезво разглядывая свою старость, уви-

дел, понял всю незначительность накопленного, всю бедность свою, все блеклые, унылые краски этой бедности. Тогда со старческим самодурством он стал преувеличивать накопленное. Уже не только генерал Чудинов жал ему руку, а еще два других генерала уверяли его в своей дружбе и расположении. Он возвеличил сына своего и стал относиться к нему с неожиданной почтительностью, он придумал историю, будто бы сын, Борис Андреевич Голубков, младший делопроизводитель незначительной заготовительной конторы, вступает в партию и получает ответственное назначение. Он изощрялся в мечтаниях и выдумках, этот старик. Одну лишь пенсию он никак не мог увеличить. Она была неизменна, каждый месяц, в те числа, когда надо было получать ее, он надевал пальто и уходил из воображаемого мира в реальную сберкассу. Путь был довольно длинный, и отец шел очень торопливо, по временам воровато и робко оглядываясь, примерно так же, как много лет назад оглядывался на окна братнего особняка. Так же робко оглядываясь, он возвращался с полученными деньгами и, когда закрывал за собою дверь, улыбался радостно и облегченно.

Борис Андреевич знал хорошо своего отца и знал так же хорошо, что он, Борис Андреевич, не похож на своего отца. Нет, не похож.

Голубков — это связывало его с предками, с родственниками. Предков своих он не знал, он видел лишь их фотографии в альбомах, и по фотографиям этим безошибочно угадывал, что были это неинтересные, незначительные люди. Как-то раз отец, показывая ему пожелтевшую фотографию старика военного, сказал:

— Дедушка наш, полный генерал, ордена какие имел и под гитару пел очень хорошо.

— Зачем же он под гитару пел, если генералом был? — спросил Борис Андреевич.

— Ничем не пренебрегал, такой человек был.

Этот образ поющего под гитару генерала объединил в себе все представление о предках. Значительно позже, уже когда Борису Андреевичу было лет восемнадцать, отец снова заговорил о певшем под гитару генерале. Это было в девятнадцатом году, когда пришли арестовывать брата отца, статского советника. Борис Андреевич на-

блюдал за обыском в дядькином особняке и слышал, как отец сказал, показывая на фотографию деда, человеку в рваной шинели:

— Тем не менее, несмотря что генерал, а под гитару пел. Вы, пожалуйста, руками не машите. Пел под гитару, можем всей семьей представить доказательства.

— Это хорошо, — сказал человек в рваной шинели, — а валюта есть?

— Чем вы объясните, — спросил отец, — чем объясните, что человек высокопоставленный, имел ордена и пел под гитару? Загадка для вас? Да, загадка.

— Голос имел, вот и пел, — сказал человек в рваной шинели.

— Вы думаете? — пробормотал отец.

Это простое предположение раньше не приходило ему в голову. Наоборот, он был уверен в сугубой революционности этого пения под гитару. В этом суровом и беспощадном девятнадцатом году многие семьи судорожно и торопливо искали в истории своей революционное начало вольнодумцев-предков. Выискивались различные люди: поющий под гитару генерал, бедная родственница, сдававшая несколько лет назад комнату со столом кому-нибудь из теперешних значительных людей, племянник, просидевший по подозрению в маевке пять дней в полицейском участке. В каждой семье был какой-нибудь подобный «революционный» факт, найденный в результате долгих и смехотворных поисков. Отец был обескуражен: человек в рваной шинели не сумел по достоинству оценить, что в мире затхлых гостиных, пасхальных поздравлений, в мире, пахнувшем на протяжении многих лет лампадным маслом, водкой и ландышем, поющий под гитару генерал — это же редкость! Сам фельдмаршал, рассказывают, ему руку жал, благодарил, а губернатор — так тот, как маленький ребенок, на похоронах его плакал. А он, генерал, таким человеком был, что вот пел под гитару своим приятным голосом, как семинарист какой или мелкий чиновник. Ничем не гнушающийся человек был!

Отец понимал, что революционного в его семье, конечно, не так много было, как, к примеру, в семье Петровых, где один из двоюродных братьев роздал все свое имение бедным, а сам пошел пешком бродить по стране

и умер вскорости в каком-то южном городе. Понимал он, что с семьей Петровых его семье не тягаться, но все же допустить, чтобы так просто, походя, зачеркнули революционность поющего генерала, — этого он не мог. И, когда человек в рваной шинели садился уже в автомобиль, отец сказал:

— Странно и неубедительно рассуждаете. Что значит голос имел? Мало ли людей его звания и положения голос имели?.. А ведь пел-то он! Генерал! Весь в орденах...

— Что же это, революционные заслуги, что ли? — насмешливо спросил человек в рваной шинели. — Ну, пел — и черт с ним. Это еще не основание скрывать в подвале восемь винтовок.

Борис Андреевич отвел тогда отца в сторону. Он презирал и жалел его в этот момент. Он презирал и жалел и дядю, долго крестившего стены своего дома перед тем, как уехать с человеком в рваной шинели. Он презирал и жалел даже самого генерала, певшего под гитару. С течением времени жалость исчезла, осталось одно презрение ко всем этим родственникам и предкам. Борису Андреевичу было ясно: унылые и тупые люди эти Голубковы. В своем воображении он превращал их в солдат, одетых в одинаковую форму, в шеренгу людей, наделенных какой-то общей приметой, в шеренгу одноглазых или одноруких людей. Нет, он, Борис Андреевич, совсем не был похож на этих людей. И он, и его отец оказывались чуть поодаль от этой шеренги. Только отец был еще более жалким, чем эти люди. Он был чем-то вроде их собаки, преданной и голодной. Но у него, у Бориса Андреевича, сходства с этими людьми вовсе уже не было.

И наконец Борис. Это, пожалуй, точнее всего определяло его сущность — именно и только его.

Итак, дневник был заведен. Была куплена тетрадь, были записаны события первого дня: встал... пошел... и так далее. Дневник должен быть правдив, иначе зачем же и заводить его? Но Борис Андреевич не записал всего того, что хотел записать. Он боялся, что кто-нибудь прочтет дневник. Он перечел написанное: «Встал в семь часов утра... пошел на службу...»

Незначительно и неинтересно. И притом очень мало написано, всего лишь события одного дня. Он писал всю

ночь и написал на двадцать дней вперед. Он хотел в эту ночь как бы предугадать свое будущее. Утром прочел написанное за ночь, и все ему очень понравилось.

В полдень на службе обнаружилось первое несоответствие между дневником и действительностью. В дневнике было написано: «Подошел ко мне заведующий и сказал: «Мы очень ценим ваши выдающиеся способности, Борис Андреевич. К сожалению, предложить более интересную работу мы вам не можем. Поглядите-ка наш архив, может быть, вы там найдете интересные материалы для развернутой статьи о нашей конторе? Мы просим вас написать такую статью». Так было изложено в дневнике. В действительности же заведующий сказал Борису Андреевичу: «До каких пор будут продолжаться эти постоянные ошибки в сводных ведомостях? Надо все-таки понимать, что делопроизводитель должен быть внимательным. Проверьте, пожалуйста, еще раз ведомости и отправьте их в центральное управление».

Вечером обнаружилось новое несоответствие между дневником и действительностью. И тогда Борис Андреевич вычеркнул из дневника этот день. Так каждый вечер перечеркивал он по нескольку страниц, на двадцатый день перечеркнул последнюю страницу и вышвырнул дневник в окно. Там, среди сора и кирпичей, долго лежала эта наполовину исписанная тетрадь. Борис Андреевич видел, как через несколько дней ее, высохшую и подгнившую, поднял дворник, проглядел, вырвал из нее чистые листы, остальное бросил в мусорный ящик. «На этих листах он будет писать протоколы или письма на родину», — подумал Борис Андреевич.

Через несколько дней после всего этого он отказался от службы. Не то чтобы что-нибудь изменилось в его отношениях с начальством или с сослуживцами, нет, он просто-напросто не мог больше влачить такое жалкое существование. Некоторое время спустя он пришел к знакомому слесарю Киркову, живущему этажом ниже, и попросил:

— Устрой меня к вам на завод, товарищ Кирков.

— Чего так? — спросил Кирков. — То по письменной части, то на завод.

— Я определенно решил, — сказал Борис Андреевич, — категорически.

— Так ведь придется учеником сперва, — сказал Кирков, — жалованье мизерное, конечно.

— Все равно.

— Почему же такая твердость у тебя?

— Потому что вижу, что это теперь самое главное. Если человек — рабочий, он себя проявить может по-настоящему. Для того чтобы себя на службе проявить, мне образования не хватает, потом среда не та.

— Среда, конечно, не та. А ты рабочую среду знаешь? — Кирков хитро усмехнулся. — Смотри, Борис Андреевич. На заводе ведь большое дело делают. Если уж возьмешься, то, смотри, не отставай. Ты подумай сперва лучше. Устроить тебя недолго, конечно.

— Я твердо решил.

Он не лгал, решение было у него твердое. Он видел новый свой путь. Он поработает сперва учеником. Ну что ж, что маленькое жалованье вначале? Потом он выдвинется и будет получать, наверное, даже больше, чем получает в конторе. Он, конечно, выдвинется. Потом вступит в партию, и тогда открыты ему двери куда угодно. Пусть другие прозябают в конторах. Пусть другие добиваются жалких повышений с должности делопроизводителя на должность секретаря. Он, Борис Андреевич, прекрасно видит, что даже сам заведующий ничего не стоит по сравнению с любым слесарем. Ничего тут не поделаешь — власть рабочего класса. Он станет рабочим, он приобщится к этой власти. Потом его безусловно выдвинут на хозяйственную работу. А уж тогда, конечно. . . Что будет тогда, он не знал, но понимал, что будет хорошо. Ему надоел его пиджак, он хочет надеть рабочую блузу. Эта блуза сейчас форма, почетная форма.

Ему безразлично было, на какое производство поступить. Оказался знакомый слесарь, который может его устроить на металлургический завод. Был бы у него знакомый химик, — пошел бы он на химический завод.

Кирков устроил его на завод. И впервые за всю жизнь Бориса Андреевича стали осуществляться его мечты. Все было на этот раз так, как он предугадал. Если бы писал он теперь свой дневник, не пришлось бы вычеркивать из него страницы. Он поработал год учеником, потом стал мастером. Он проявил хорошие способности, его выдвигали. У него были и преимущества: он

видел, что знает многое, чего другие работающие вместе с ним не знают. Он умел красиво говорить, хорошо писать. Он обладал канцелярской логикой, едкой и схоластической. Вначале, правда, он старался говорить отрывисто, коряво, приноравливаясь к говору окружающих. И писать старался хуже, чем умел. Как-то раз, будучи секретарем на цеховом собрании, сделал умышленно несколько грамматических ошибок в протоколе. После этого он заметил, что к нему стали относиться подозрительно. В опрощенной его речи чувствовалась фальшь, искусственность. Проглядывая протокол, председатель фабкома спросил насмешливо: «Ты что же, писать у нас разучился, что ли?» Он испугался. Значит, догадывались, что он умышленно сделал ошибки. Он объяснил это головной болью и перестал маскироваться. Он красиво говорил на собрании, писал грамотные, логические статьи в стенгазету. И странно, это совсем не отдалило его от рабочих, а, наоборот, приблизило к ним. Его выбрали в фабком. Он начал уже закидывать удочку насчет вступления в партию. Вступить в партию оказалось все же не легко: нужны были большой стаж и рекомендации. Бориса Андреевича это не обескуражило. Он знал, что добьется своего, видел, какое внимание оказывается хорошим производственникам, и перенес свою энергию на производство. Он много работал. На производственных совещаниях внимательно относились к его выступлениям. Правда, он несколько ослабил общественную работу: понимал, что производственной активностью ему скорее удастся добиться цели. Так продолжалось три года. Он уже не сомневался в успехе. . . и тогда его послали на строительство. «Это — последний экзамен, — сказал он себе. — Я выдержу его». Он завидовал окружающим. «Им легко, — думал он, — они своего скоро добились».

Внешний облик его изменился: он носил под пиджаком ситцевую темную рубаху и в толпе рабочих даже выделялся подчеркнутой скромностью одежды. Он был металлистом, и всем это было сразу видно. Иногда в мечтах представлял он себе, как придет в полированное большое советское учреждение в таком вот строгом костюме. Он представлял себе почтительность и насмешливость будущих подчиненных. «Пришел выдвиженец,

рабочий от станка, мало понимающий человек», — будут думать они. Он представлял себе, как разобьет все их предположения. О нет, он покажет себя! Но пройдено было всего лишь полпути, и он не забывал об этом и больше работал, чем мечтал.

На строительстве он не ослабил своей энергии. Сюда он пришел рабочим, а не интеллигентом, тут было легче начинать, чем на заводе. Он не скрывал своего происхождения. Наоборот, даже несколько бравировал им. Тут он работал старшим монтером. С ним начали поговаривать насчет вступления в партию. Он был уверен теперь, что вступит, нужен только еще какой-нибудь благоприятный момент, чтобы хорошее мнение о нем окончательно укрепилось. Нужен был случай, который показал бы его, Бориса Андреевича Голубкова, авторитетным производственником, твердым человеком, не любящим болтать попусту, крепко знающим, что социалистическое строительство требует высокого качества работы, трезвого учета всех деталей этой работы.

И такой благоприятный момент наступил. Мальчишка Совков пошел против него походом. Совков предложил бригаде в связи с напряженностью момента и необходимостью пятнадцатого мая зажечь первый мартен, смонтировать кран в десять дней.

— Двадцать дней надо, не меньше, — сказал тогда Голубков, — я как старший монтер категорически об этом заявляю.

«Больше твердости, — думал он в это время, — твердости и уверенности». Он понимал, что при крайнем напряжении бригада сможет сделать работу в пятнадцать дней, он и сам хотел — якобы после трезвого учета и внимательной предварительной проработки — предложить этот срок. Совков напирал. Борис Андреевич попал в затруднительное положение, так как в желании показать свою твердость и авторитет он все время настаивал на двадцати днях. Он подумывал о том, как бы поумней и поскорей сдать свои позиции, перейти на пятнадцатидневный срок. Но тут Совков допустил ошибку: потерявший способность трезво мыслить в яростной борьбе со старшим монтером, он предложил семидневный срок. В семь дней, конечно, сделать нельзя, смешно об этом и думать даже. В этом Голубков был уверен. Он,

буквально затаив дыхание, ждал решения бригады, ушел даже с того совещания, на котором решался вопрос, так как боялся своим присутствием помешать Совкову. И когда ему сказали, что бригада постановила смонтировать кран в семь дней, он рассмеялся от радости. Ему определенно везло! Он представил себе, как, строгий и справедливый, выступит он на совещании через семь дней. «Так вот, товарищи, — скажет он, — так вот к чему приводит необдуманность. Вместо правильного учета всех возможностей, вместо настоящего подхода к делу, товарищи предпочли суету и мальчишество. Партия совсем не так ставит вопрос. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — вот что должно сочетаться с энтузиазмом... Я не обвиняю товарищей, но некоторый счет у меня к ним имеется. Кое-кто поторопился меня зачислить в оппортунисты. Что же, это дело их совести. Но как мне назвать их теперь? Ведь я, старший монтер, обязан заявить на совещании, что скороспелая работа оттянет пуск крана на значительное время, потому что многое придется переделать. Кран — это дело серьезное, это вам не шуточки, товарищи дорогие. Я предлагал двадцатидневный срок, учитывая, что товарищи, работающие в бригаде, еще недостаточно опытны. Сроки надо было сокращать в процессе самой работы, когда выяснилась бы степень освоения этой работы...»

Да, ему определенно везло. Это, конечно, последнее усилие, последний переход. Он будет принят в партию.

Он сидел сейчас в своей комнате и улыбался. Он вспомнил прежнюю свою жизнь, он вспомнил человека в потертом пиджаке, принужденного писать бесконечные сводки, выслушивать многочисленные замечания. Он видел теперь свою будущую анкету. Вот она:

Фамилия — Голубков.

Имя — Борис.

Отчество — Андреевич.

Специальность — слесарь-монтер.

Партийность — член ВКП(б).

Он несколько раз прошелся по комнате, остановился у окна. Из окна была видна вся улица поселка. У одного из кирпичных домов горел забытый электрический фонарь. И оттого, что был сейчас день, казалось, что в доме

этом кино. Борис Андреевич отошел от окна. Ему в действительности показалось, что вышел он сейчас из кино, с дневного сеанса, где смотрел фильм о собственной своей жизни. И странно, ему совсем не хотелось забыть прошлую свою жизнь. Теперь, когда он достиг цели, он мог, кажется, без конца вспоминать ее. Он презирал и вместе с тем любил ее. Грусть овладела им. Он знал, что с этой жизнью ушло от него многое близкое, родное, может, самое близкое, самое родное. Он сильно любил сейчас своего жалкого отца, любил и дядьку, любил даже генерала, поющего под гитару.

Он лег на койку и задумался. За окном была весна. Гудели паровозные гудки, и казалось, каждый из них прилетает из другого места, из все более и более далекого места, и каждый приносит с собой что-то свое: один — стук колес подымающегося в гору поезда, другой — дымок и зелень заросшего кустами поворота, третий — огромное синее небо и солнечный луч, играющий на рельсе.

Он ощутил, что впервые за всю жизнь как-то странно, не физически устал. Захотелось пойти в поле, за площадку строительства, ближе к весне, отдохнуть. Да, он очень устал. Весна была за окном. Он вспомнил, что все почти что весны в его прошлой жизни начинались с пасхи, с радостно подсыхающих улиц, с колокольного звона, с жарких и таинственных слов молитвы.

Он снова подошел к окну. Два человека кричали под его окном, обвиняя в чем-то друг друга. Неподалеку грохотал экскаватор. Пыль летела волнами с того места, где производили земляные работы.

«И это вот — новая моя весна», — подумал он с горечью и взволнованно и, вдруг успокоившись, сказал громко, точно в споре с кем-то:

— Я выдержу. Выдержу. . .

Глава седьмая

Душно в багажном отделении, где работает двадцать пять лет Александр Иванович. Если поставить на окно цветок, он будет выглядеть жалко и сразу поникнет.

В этот вечер Александр Иванович ушел со службы

поздно. Он шел медленно, было прохладно, после духоты багажного отделения дышалось приятно.

На углу чистильщик сапог складывал в ящик щетки и банки. Чистильщика звали Сандро. Он был желт и сух. Каждый вечер сидел он подолгу после того времени, когда некого уже ждать, и каждый вечер приходил сюда сапожник Юртов. Он бывал всегда пьян и зол.

— Отработался? — спрашивал Юртов у Сандро.

Сандро не отвечал. Он привык к ежевечерним посещениям Юртова, он презирал Юртова.

— Эх, нация вы! — сказал теперь Юртов. — Ну и нация! Всем миром сапоги чистите. Изо всего народа никто другому делу не обучен.

— Пошел, пошел, — сказал лениво Сандро.

— Что значит «пошел»? Ну, а если вам, например, цельное государство отдать, например Россию, такое государство. Что б вы делали? В государстве требуются различные мастера и умные люди, а вы только сапоги чистите. На этом государство не продержишь, на одной сплошной чистке сапог. По прошествии времени государство у вас бы и отняли.

— Пошел, — сказал опять Сандро. Подумал и добавил: — Не отняли бы: государство свое — тогда жизнь другая.

— Надеетесь, что не отняли бы? — усмехнулся Юртов. — Ну, надейтесь. Вот я предлагаю: отдай мне своего мальчишку, я его делу обучу. Ах, нет, боишься? Бить буду? Что же, может, и буду бить. Ах, нет, нельзя! — И вдруг он закричал бешено: — Русский человек — ничего, терпит, а вы не можете? Нация вы отвратительная!

— Это есть оскорбление нации, — сказал Александр Иванович, услышавший эти слова Юртова.

— Убей меня, гражданин! — закричал тогда Юртов отважно и весело. — Убей меня, а я все равно жить буду.

Он кричал так, потому что хотел спорить. В моменты тоски спор облегчал. Он и сам не понимал, зачем выкрикивает эти слова. Потом подошел совсем близко к Александру Ивановичу и узнал его: они жили в одном доме.

— Сумерки упали, — сказал Юртов неведомую для себя фразу. Он никогда бы раньше не сказал так. Он вдумался в эту фразу, повторил ее мысленно, удивился

и обрадовался. — Сумерки упали: не узнал вас, Александр Иванович.

Он говорил еще долго. Но Александр Иванович не стал слушать, ушел. Ушел и Сандро. А Юртов все говорил — тихо и настойчиво.

Комнатка Александра Ивановича — легкая, скрипучая, такая, каких много в деревянных домах окраины. Эти комнатки подпевают гаммам разбитого пианино, они моментально уничтожают запах любых цветов, в них перестаешь верить в существование тяжелых, массивных вещей, они бормочут постоянно что-то и шепчут неопределенно и однословно, как шепчет неполный спичечный коробок.

Александр Иванович открыл окно. Со двора донеслись до него голоса. На двор выносили стулья, табуретки, готовилось общее собрание жильцов.

Было уже совсем темно, и тощий тополь выглядел пышным. Казалось, что много-много тополей растет на дворе. А за ними — прохлада, ветер.

Александру Ивановичу почудилось поле, и посреди поля последний город в его, Александра Ивановича, жизни, город Лучинск. И странно: Лучинск представился дневным. За вечерним двором, за вечерним разбухшим тополем, ему представился дневной, солнечный Лучинск.

«Неужели все, — подумал Александр Иванович, — и больше уже ничего не будет?»

Он знал, что от комнатки его далеко до Лучинска. Он знал об этом еще вчера, но теперь ему стало очень обидно. Обидно и скучно. Тогда пошел он к кассиру багажной конторы Зотову.

Иван Иванович Зотов жил в одном доме с Гремучиным. И Зотов, и Гремучин почти одновременно начали работать в багажной конторе: один кассиром, другой весовщиком. Оба были бобылями и дружили. Особенно сблизил их один случай.

Несколько лет назад в контору пришел работать молоденький паренек. Александр Иванович и Зотов встретили паренька ласково. Паренька звали тоже Александром Ивановичем. Паренек даже застеснялся, когда узнал, что Гремучин носит такое же имя. Гремучин же

был несколько обижен этим обстоятельством. Зотов в угоду Гремучину стал звать паренька Сашей, и обида Гремучина прошла. Иногда, впрочем, кто-нибудь называл паренька Александром Ивановичем, и тогда Гремучину казалось, что его, гремучинская молодость поселилась в багажной конторе. Он искоса поглядывал на свою молодость и понимал: вот пройдут годы, и паренек станет таким же, как и он, Александр Иванович, — пожилым и тихим человеком. Он представлял паренька валетом, а себя королем, так как ежевечерне играл в карты с Зотовым, и это представление было очень понятным. Иногда в минуты странных раздумий ему казалось, что по прошествии времени карточные валеты становятся карточными королями в старой засаленной колоде, точно так же, как в жизни молодые люди превращаются в стариков.

Однажды Саша попросил разрешения протереть окно в багажном сарае. В багажном сарае было полутемно, всегда горела лампа, окно выходило во двор, оно было ни к чему, его никогда не протирали. Саша тщательно промыл стекло. Александр Иванович и Зотов внимательно наблюдали за его ловкими движениями. В сарае стало светло, и лампу пришлось потушить. Березка глядела в сарай через светлое стекло. Люди теперь иногда заглядывали в окно, наблюдали за работой в сарае. Была между светлым стеклом, светлой березкой, дневным светом, заменившим лампу, и молодостью Саши связь: было это все одно целое. Оно внесло беспокойство в жизнь Гремучина и Зотова, и когда Саша ушел со службы, Гремучин с Зотовым были рады, хотя и не говорили об этом друг другу.

Союз против Саши и светлого окна сблизил их. Окно опять заросло пылью, горела желтая лампа, и опять потекли дни.

Они и после никогда не говорили о Саше, понимали, что нехорошо поступили с пареньком, что нехорошо было ворчать по пустякам, по пустякам придираться, делать так, что невозможно стало Саше там работать. И вместе с тем каждый из них был уверен, что иначе нельзя было поступить. Почему? Да кто его знает, почему. Наверно, потому, что с появлением Саши в конторе стало как-то беспокойно, непривычно, стало жалко своего прошло-

го, — в общем, не так стало, как было, они и сами себе не могли бы этого объяснить.

— Умрете вы здесь, — сказал Саша на прощанье. — А мне вас жалко, несмотря ни на что. Попробовал я на вас разозлиться, а получилась жалость. А я рад даже — на завод иду, слесарем буду, довольно мне полы подметать.

Каждый вечер в течение уже многих лет ходил Гремучин играть в карты к Зотову, а сегодня не захотелось играть. И все же пошел, потому что куда же еще идти?

Мягко и тихо было в комнате Зотова. И сам он был мягкий и тихий.

Александр Иванович сел на обычное свое место против окна.

— Сыграем? — сказал Зотов, как говорил уже много лет.

Но сегодня игра не интересовала Гремучина.

— Я вот мечтал в провинции жить, в маленьком-маленьком городишке, чтобы как сад был и без пыли, — сказал он. — С молодых лет мечтал об этом и думал осуществить. Год и год, год и год, год и год — и конец. А теперь, понятно, куда уж.

Пили чай, и струя пара из чайника то и дело обдавала стенную гравюру, на которой была изображена красивая женщина. Испарина мерцала, ползла по гравюре и пропадала. Лицо женщины то оживлялось, то замирало, и казалось, что она открывает и закрывает глаза.

Гремучин отодвинул чайник. Женщина на гравюре замерла. Капелька воды текла по ее щеке. Была в этом какая-то нежность. Гремучин поглядел на гравюру, потом на Зотова. Женщина казалась живой, а Зотов — мертвым, с припухшими веками.

Гремучину стало невыносимо. Он попрощался и вышел.

Глава восьмая

Мария Федоровна прислушалась. За стеной мужской голос повторил настойчиво несколько раз:

— Ну и пусть, пожалуйста, пожалуйста.

Женский голос выкрикнул тонко:

— А я не буду так, не буду так жить! Целый день

одна... никого здесь я не знаю... Пропадешь с тоски... Если бы в своем городе... а то, как в темнице...

— Надо работать...

— Я и работаю... как не стыдно говорить только... у нас в аптеке больше никто не работает.

Потом кто-то хлопнул дверью, вышел. Стихло.

Мария Федоровна была учительницей, и профессиональная привычка объяснять сложное, учить, чуть было не толкнула ее пойти к этим молодым людям и сказать им о том, что они заблуждаются, что они нехорошо, неправильно поступают, что они рискуют пропустить за суетой, за ссорами, молодость. Ей было ясно: эти люди не понимают, что является главным в жизни, поймут потом, поймут, конечно, но будет поздно. Она сумела бы им все это объяснить отчетливо и понятно, как объясняла вот уже много лет решение задач в школе.

Глава девятая

И вот наступило это завтра. Утро возникло так же, как возникало всегда, из нескольких мест сразу: из окна, из щелей, из коридора. Тимка некоторое время молча сидел на своей койке, наблюдал утро. Прежде утро раздражало его. Суетливая, похабная, непотребная его жизнь была несовместима с утром. Конец дня, вечер, ночь — вот это его, Тимкино, время. Утро проясняло все вчерашнее, утром приходили в голову скверные мысли. Утро было точкой в конце длинной, бессвязной, нахальной, пьяной вчерашней болтовни, каким-то тягостным перерывом в бойкой, поспешно сгорающей жизни. Теперь Тимка по-новому ощущал утро. Это было чуть ли не первое утро в его жизни, когда не мучился он воспоминаниями о вчерашнем.

— Товарищи, — сказал Тимка, — положение надо менять, честное слово. Землекопные работы наши отстают. А почему они отстают? Потому что мы не по-настоящему к делу относимся.

— Атретант, — сказал кто-то и присвистнул.

Все рассмеялись.

— Какой ты сознательный стал, — сказал один из

землекопов. — А кто мне сам говорил: «Идем, Ножиков, выпьем, идем выпьем, пусть оно все пропадет пропадом».

— Это ошибочно я говорил, — пробормотал Тимка.

— Нет, не ошибочно, — возразил злобно Ножиков. — Мы почем здесь работаем? По три рубля. А почем на других строительствах землекопы работают? По четыре. Это ты сознаешь?

— По рублю, факт, недобираем.

— Ты додай, старик, всем по рублю, — сказал Шувалов, — мы за тобой и пойдем.

— Верно, додай по рублю, — сказал насмешливо Петр. Он с неприязнью смотрел теперь на Тимку. Ему непонятно было Тимкино превращение, ему казалось, что Тимка обманул его, Петра, что Тимка всегда был таким, как теперь, а все, что было раньше, — обман. Прежде Петра покоряла Тимкина бойкость, веселость, разнузданность, наглость, теперь же Тимка как будто бы обмяк, выдохся, ослабел, и Петр глядел на него насмешливо.

— Додай всем по рублю, — повторил Петр.

— Я тебя в комсомол направляю, — сказал ему Тимка тихо и строго.

Все захохотали.

— Ну и старик! — сказал кто-то, давясь от хохота. — Ай да старик! Я скажу, такого старика больше нигде на свете нет, с ним не заскучаешь. Молодец старик, каждый день что-нибудь новое придумает.

Один из землекопов залаял по-собачьи, другой толкнул Тимку в бок. Некоторое время все смеялись над Тимкой. Потом разошлись.

«Бери на себя ответственность за землекопные работы, привлекай общественное мнение», — вспомнил Тимка слова Саши.

Если бы Саша знал, что произошло сейчас в бараке! Саша был уверен в нем, в Тимке, да и сам он, Тимка, был уверен в себе, был уверен, что удастся ему повлиять на землекопов. Он забыл о том, что из-за недавнего поведения своего потерял какое бы то ни было уважение к себе землекопов. Пойти сейчас рассказать об этом Саше? Нет, нельзя, стыдно. Саша спросит: «Ну как, старик, у тебя там дела?» — «Плохо, Саша». — «Почему же плохо?» — «Да надсмехаются надо мной они». — «Не может этого быть, — скажет Саша, — я сам пойду с тобой». При

этой мысли Тимка даже съежился от стыда. «Я сам пойду с тобой», — скажет Саша. И вот приходит он в барак. «Почему вы над человеком надсмехаетесь?» — «Да разве это человек?» — ответят ему и начнут рассказывать про Тимкины дела, подробно описывать его, Тимкины, фортели. «Да, старик, — скажет после этого Саша, — я думал, ты действительно можешь. А выходит дело, что лучше тебе и впрямь уйти. . .»

Тимка быстро соскочил с койки, быстро увязал свои вещи, быстро вышел из барака.

Он чувствовал злобу к землекопам. Будьте уверены, он бы сумел по-настоящему ответить, если бы не Сашино задание. Он бы показал им, этим землекопам, такие штуки, от которых им не поздоровилось бы. Стараются ему подражать. Да разве они могут. . . Острые слова говорят, — куда им, простофилям! Он постепенно начинал рассуждать так, как рассуждал до встречи с Сашей. Он был уже не прочь вернуться и показать этим дуракам такие штуки, наговорить им такое, что они лопнули бы от злобы и от зависти. Он остановился даже. Прежняя его жизнь представлялась ему сейчас очень легкой и простой. Так бы и жить до конца. Он злился сейчас на Сашу. Зачем, спрашивается, Саша смутил его, Тимку? Может, вернуться, пойти к Саше, выслушать его слова насмешливо-спокойно, а потом показать ему зад или еще что-нибудь выкинуть такое? Нет, не стоит.

Он зашагал быстрее по направлению к городу.

Город этот, находящийся в пяти километрах от строительства, был тем средней руки городом, которые не так давно назывались губернскими. В нем было тысяч пятьдесят жителей, дворы, трактиры, окраины, словом, все, что полагается иметь такому городу. Назывался этот город Большая Гора.

Глава десятая

На дворе происходило общее собрание жильцов. Александр Иванович сел на заднюю скамейку. Его заметили и удивились: он никогда не посещал собраний.

— Пришел старик, — сказал кто-то. — Удивительно даже.

Через несколько минут вышел во двор и Зотов.

Разбирался вопрос о культобслуживании дома, выбиралась культкомиссия. Александр Иванович неожиданно для себя сказал одно только слово: правильно. Все удивились: речь председателя никак не могла вызвать такого возгласа.

— Что «правильно»? — спросил председатель.

— Все правильно, — сказал Гремучин.

— Намеки здесь ни при чем, — произнес председатель. — Вы что срываете?

— Я не срываю, — тихо сказал Александр Иванович.

Молчать он сейчас не мог: он должен был говорить.

— Ежели комната скрипит, — спросил он, — то это как: считается или, может быть, это не считается?

— Считается, — сказал председатель. — Только я не понимаю, к чему все эти вопросы. Тайный срыв с вашей стороны.

Вмешался водопроводчик Кузьмин.

— Очень просто, — сказал он, — человек насчет культкомиссии очень правильно мыслит. Культкомиссия должна за всяким делом следить. Я с Гремучиным вполне согласен. Он — тихий человек, а выразился, как понимает, а ты сейчас же, председатель, про срыв. Старичок пришел на собрание, чтобы принять участие. Это ясно каждому.

— Правильно, — сказал Александр Иванович, — именно, чтобы принять участие.

— И насчет комнаты правильно, — не унимался Кузьмин. — Именно насчет комнаты и правильно, — культкомиссия должна в таких вопросах разбираться.

— Избрать его в культкомиссию, — предложил кто-то. — Если он такой, то избрать. Человек, видно, всей душой желает работать. Очень правильно Филов сказал. Мы должны привлекать.

И Александра Ивановича избрали в культкомиссию. Все ласково стали с ним говорить. Даже строгий председатель сказал примиряюще:

— Если бы ты сразу сказал, что хочешь выступить, — пожалуйста. А то как-то непонятно начал.

— Хочу, — сказал Александр Иванович, потом добавил: — Прошу дать слово.

— Говори, — разрешил председатель.

Александр Иванович не знал, о чем говорить. Ему хотелось сейчас сказать такое, чтобы все поняли. А что поняли? Ну, это... ну, это самое...

Неожиданно ему представилось печальное лицо чистильщика сапог Сандро.

— Для защиты нации, — сказал Гремучин, — предлагаю избрать комиссию.

— Какой нации? — спросил кто-то.

— Всякой.

— Это как же?

— В настоящее время, — продолжал Гремучин, — есть такие, что оскорбляют национальности: евреев или, к примеру, этих, что сапоги чистят. Надо их защищать, чтобы все видели и понимали. — Он запнулся и решительно кончил: — Предлагаю избрать комиссию по защите наций.

— Правомочно ли домоуправление защищать эти нации? — спросил Чушин, гимнаст и учитель на гитаре. — Думаю, что нет.

Проголосовали, и комиссия по защите наций была создана при домоуправлении. Александра Ивановича избрали и в эту комиссию.

Когда собрание расходилось, к Гремучину подошел сапожник Юртов.

— Именно насчет Сандро и против меня создана эта комиссия? — спросил он.

— Из трех человек, — сказал важно Александр Иванович.

— Я не боюсь комиссий этих, — сказал Юртов. — Подумаешь, какое дело.

— В теперешнее время нации должны быть поставлены в первую голову, — произнес Александр Иванович серьезно.

— Вы на меня комиссией, значит, пошли, — продолжал Юртов. — Один на один не можете против меня. Ну, валяйте.

Он отошел на несколько шагов, потом вернулся и сказал:

— А с Сандро я приятель. Друзья мы с ним. Только я учу его. Сапоги кто шьет? Я. А он их только чистит. Кто, значит, здесь имеет первое место? Я или он?

— Мы разберем, — сказал Гремучин, — там мы разберем, кто имеет место.

— Вы разберете, — сказал Зотов, слышавший весь этот разговор, и неожиданно закричал: — Ну, поедемте в Лучинск, ну, поедемте. Я знаю, вы давно мечтаете. Почему вы мне прямо не сказали: «Зотов, поедемте в Лучинск». Я в один день соберусь, если вы хотите знать.

— Лучинск здесь ни при чем, — сказал Гремучин.

Зотов закричал еще громче:

— Вы Сашу из конторы выжили! Да-с! А он кто был, Саша, я вас спрашиваю? Он был комсомолец. А теперь вы примыкаете, несмотря ни на что. Это как же?.. Да стоит мне сказать одно слово только...

Зотов разыскал председателя в углу двора. Председатель беседовал с жильцами.

— Я извиняюсь, — сказал Зотов.

— Пожалуйста, — сказал председатель.

— Предлагаю очистить двор от нечистот, а потом его песком.

— Это уже предложено и проводится в жизнь, — ответил председатель.

— Предлагаю поставить радио во всех квартирах.

— Это уже предложено и проводится в жизнь. Больше ничего?

— Ничего, — ответил Зотов и пошел прочь.

Он медленно шел по улицам. Рассвет только начинался, и окраина была темная. Только в одном из переулков наступило уже утро. В этом переулке строили новый дом, и земля была залита известкой. Это было странное место. День задерживался здесь дольше, чем где бы то ни было, утро приходило сюда раньше, чем куда бы то ни было. Ночь была совсем короткой в этом переулке. Здесь строился дом — огромный коммунальный дом.

Зотов пришел домой, когда уже было светло, собрал карты со стола.

«Александр Иванович не придет больше», — подумал и бросил карты в ящик.

Потом разделся и лег. Свет был в окнах. Пели птицы.

— Итак, ты, Совков, значит, настоял на своем, — сказал насмешливо Голубков, — в семь дней кран смонтировать бригада решила?

Совков ничего не ответил, и Борис Андреевич тогда шутливо хлопнул по плечу Мамыкина:

— Вот, Василий Егорович, какие дела-чудеса производить собираемся, в семь дней кран смонтировать хотим. Смешно, честное слово. Я с себя ответственность, конечно, всякую снимаю, я против чудес.

— Чудеса от человека зависят, — уклончиво сказал Мамыкин, потом добавил, хмурясь: — Ребята боевое дело задумали, а ты их сбиваешь. Нехорошо.

И тут Совков, ободренный этими словами пожилого рабочего, закричал:

— Правильно, Василий Егорович, правильно, сбивает он нас! Энтузиазм наш он, как свечку, тушит. Оппортунист! — Он подскочил к Голубкову и закричал еще отчаяннее: — На, вяжи мне руки, вяжи, бери веревку, вяжи мне руки!

— Ты не кричи, пожалуйста, — спокойно сказал Голубков, — криком тоже социализма не строят, крикунов, ты знаешь, как теперь успокаивают. Ты не кричи, а ответь мне: что, по-твоему, я за дело меньше тебя болею? (Он внутренне усмехнулся.) Мне это дело, может быть, чужое? Может быть, ты только один хочешь поскорее кран смонтировать, мартеновский цех пустить, а мне на это наплевать? Вот ты на что ответь.

— Я ничего не говорю, — сказал тихо Совков.

— Нет, ты кричишь, — голос Голубкова задрожал от гнева. Голубков был искренен в этот момент. — Нет, ты шум производишь и под меня подкапываешься... А что вот будет, если кран не пойдет? А?

— Пойдет, — уверенно сказал Совков.

— А что, если не пойдет? Как тогда будет? Поспешили, раз-раз, а кран-то и не пошел. Это на сколько дней работу задержит тогда?

— Пойдет, — упрямо повторил Совков, — обязательно он пойдет.

— Сомневаюсь я в этом. Кто тогда ответит за это?

— Бригада ответит.

— Ах, бригада. Нет, дорогой мой, не бригада, а все строительство ответит, все строительство затормозится. Так вот, надо обдумать все по-настоящему, а потом решать.

— Постановление бригады уже есть, — сказал Совков.

— Постановление и отменить можно, — вмешался в разговор Суриков.

— Испугался? — насмешливо спросил его Совков.

— При чем тут «испугался»? Надо опытного человека слушать, вот как я понимаю. Голубков на заводе подъемных сооружений в Москве работал, он получше нас это дело знает. А с тобой в такую кашу попадешь, Совков, что потом и не оправдаешься никогда.

Он отошел.

— Значит, ты отказываешься? — крикнул ему вслед Совков.

Был ясный весенний день. Лучи яркого солнца лежали на полу мастерской. Суриков быстро шел по мастерской. Солнце то и дело пересекало его путь. Суриков то пропадал, то появлялся. Наконец его лицо мелькнуло у двери.

— Отказываешься, значит? — крикнул еще раз Совков.

Суриков ничего не ответил и вышел из мастерской.

— Ты — сволочь, — сказал Совков Борису Андреевичу, и слезы показались у него на глазах.

— Так ведь ты пойми, Коля. — Голубков говорил, как мог, ласково, рвать отношения с Совковым не входило в его расчеты. Поступок Сурикова его даже испугал. «А вдруг распадется это дело, — подумал он. — Нет, обязательно надо, чтобы решение бригады осталось в силе».

— Ты не унывай, парень, — сказал Мамыкин, подходя к Совкову и обнимая его, — это, брат, не годится — унывать. Это не по-товарищески. Ты меня подводишь: я тоже, на тебя глядя, унывать начну.

— Вы-то здесь при чем? — спросил Совков удивленно. — Ведь вы не в нашей бригаде.

— Как то есть при чем? Что же ты меня хочешь отстранить от этого дела, старика отпугнуть хочешь?

— Объясните, — жалобно попросил Совков.

— И объяснять нечего. Иду в вашу бригаду работать на место Сурикова. Думаешь, хуже его работать умею? Сейчас пойду согласую с заведующим цеха этот вопрос — и все.

— Василий Егорович, — сказал Совков дрожащим голосом.

— Пятьдесят пять лет я Василий Егорович, — пошутил Мамыкин.

— Ну, уж от тебя я этого не ожидал, — сказал Голубков, — такого необдуманного поступка я от тебя не ожидал, Василий Егорович.

— И от вас я такого поступка не ожидал, — резко и грубо сказал Мамыкин. Он всегда обращался к Голубкову на «ты», и теперь это обращение на «вы» испугало Голубкова.

— Ты пойми, Василий Егорович, — начал он.

— Я вас хорошо понял, — перебил его Мамыкин, нарочно подчеркивая официальное «вы».

«Почему он перешел со мной на «вы», — думал Голубков. — Он что-нибудь подозревает. Хитрый черт. Ерунда, в чем можно меня заподозрить? Не надо робеть. В семь дней смонтировать кран нельзя, конечно, и они засыплются».

На улице он встретил инженера Воробьева.

— Ваши мной недовольны, — сказал ему Воробьев, — недовольны тем, что я им отказал в консультации. Так ведь, во-первых, у меня времени совсем нет, во-вторых, пусть через главного инженера действуют. Пусть он мне предпишет, и я сделаю все, что они просят, тогда он будет отвечать, если моя основная работа пострадает.

— Вполне правы, что недовольны, — сухо сказал Голубков. — Так ставить вопрос нельзя. Это — бюрократическое отношение к делу.

— Ах, вот как! — Воробьев насмешливо улыбнулся. — Может быть, присядем, — он указал на бревно, мимо которого они сейчас проходили, — может быть, присядем, и вы меня поучите?

— Мне учить вас нечего, — так же сухо сказал Голубков, — только социализма мы не построим, если будем все согласовывать, социализм — это живая жизнь.

— Да ну, — расхохотался Воробьев, — интересно очень вы говорите, просвещаете вы меня. Спасибо.

«Смелый человек, — думал в это время Голубков о Воробьеве, — смелый и отчаянный, по всей вероятности, человек. Не сносить ему головы. Это определенно».

— Это все я сам знаю, — продолжал Воробьев, — учить меня незачем. Если все будут у меня требовать консультации, я должен буду забросить свое основное дело. Извините, у меня есть права и обязанности. Я очень всегда завидую людям, которые имеют одни лишь права и никаких обязанностей.

Они сухо попрощались и разошлись.

Совков и Мамыкин были уже в мартеновском цехе, когда туда пришел Голубков. Они о чем-то тихо говорили между собой.

«Наверно, насчет меня, — подумал Голубков. — Как жалко, что они не слышали моего разговора с Воробьевым».

Сейчас почти вся бригада монтеров работала в мартеновском цехе. В цехе было много людей. Монтировали мартен, остекляли перекрытия. Это были последние усилия. Цех должен был скоро вступить в строй. Голубков заметил, что секретарь ячейки ремонтно-строительного цеха Горунов стоит поодаль, наблюдает за работой монтеров. Горунов постоял несколько минут, потом подошел ближе и осторожно спросил одного из монтеров:

— Ну, как работа двигается?

— Да помаленьку двигается, — ответил тот.

Горунов перешел на другое место, опять постоял несколько минут молча, остановил пробегавшего мимо Совкова.

— Голубков как? А?

— У нас Василий Егорович Мамыкин начал работать, — ответил тот и убежал.

Голубков подошел к секретарю и стал рядом с ним, делая вид, что ему нужно издали поглядеть на работы.

— Все на своем настаиваешь? — спросил его Горунов.

— Я ведь работаю, — ответил уклончиво Голубков.

— Без надежды работаешь. Какая же это работа без надежды? Ты, как старший монтер, должен возглавить энтузиазм бригады, должен сам гореть, тогда дело пойдет.

— Я своего мнения не меняю. И ответственность с себя снимаю.

— Снимаешь? — Горунов недобро прищурился.

«Ты сам ответишь то же, — злобно подумал Голубков, — ты сам ответишь, когда здесь работа затянется».

— Конечно, снимаю, — повторил он.

— Ну, давай еще производственное совещание устроим, — сказал Горунов.

— Вот через три дня и устроим. Через три дня семидневный срок кончается, тогда волей-неволей устроим совещание.

— Ты смотри, Голубков, — сказал Горунов угрожающе.

— Что мне смотреть, — ответил тот, — я все хорошо вижу.

— Товарищ Горунов, — сказал тихо Совков, когда Голубков отошел, — вы не верьте ему. Вы лучше обратите внимание на Мамыкина. Старый кадровый рабочий, а примкнул. Я, говорит, категорически убежден, что сделаем в срок работу. Я, говорит, голову даю на отсечение.

— Иди, иди, работай, — усмехнулся Горунов.

— Я, говорит, этого Голубкова за пояс заткну, я, говорит, категорически убежден, мы, говорит...

— Ты чего брешешь, парень, — сказал Мамыкин, некоторое время прислушивавшийся к разговору. — До чего ты брехун, сукин сын!..

— Так ведь говорили же, Василий Егорович, — сказал Совков, делая знаки глазами и рукой. — Как только не стыдно от своих слов отказываться.

Уходил из цеха Мамыкин вместе с Горуновым.

— Связался ты с монтерами, это я одобряю, — сказал Горунов, — им такое руководство нужно.

— Хочешь не хочешь, а свяжешься, — ответил Мамыкин, — когда угроза делу есть, поневоле свяжешься.

— Надеешься, значит, в семь дней сдать работу? — спросил Горунов.

— Без надежды никакое дело не делается, — уклончиво ответил Мамыкин.

— Нет, я вижу ясно, — неожиданно сказал Горунов злобно, — вижу ясно.

— Да тут и думать нечего, — перебил Мамыкин, —

чужой совсем человек. Не болит у него сердце за наше дело.

— «Ответственность снимаю», — передразнил Голубкова Горунов. — Да. Много в нем спокойствия. Очень много. — Потом, переменив тон, сказал: — Идем ко мне, Василий Егорович, чай пить.

— Наломался я за день, — сказал Мамыкин, — пойду спать.

Глава двенадцатая

Встретившись, они узнали друг друга. Через минуту оба оглянулись.

— Мария Федоровна, — сказал Воробьев взволнованно. — Вы ли это?

Он подошел к ней и взял ее за руку.

— Сторонись! — кричали им рабочие, тащившие громадную балку.

Он помогал ей перепрыгивать через канавы: давал свою руку для опоры, оттаскивал в сторону доски, мешающие пройти. Она внимательно разглядывала его. Он очень постарел. Правда, времени с тех пор, как не видались они, прошло немало. Вероятно, и она сама постарела. Она смотрела сейчас на Воробьева, как смотрят в зеркало: она разглядывала себя.

Наконец они миновали все препятствия.

— Вы помните? — спросил Воробьев тихо.

— Помню, — так же тихо ответила Мария Федоровна.

Они шли теперь по полю. Крики и стук были уже вдалеке. Остатки леса — содружества деревьев — попадались им то и дело. Таяло. Тени и лужи лежали на земле, и нельзя было сразу различить их. Они попали в лужу и промочили ноги.

— Мне надо идти, — сказала тогда Мария Федоровна, — я опоздаю на занятия.

— Я не женился, — сказал просто Воробьев, точно заканчивал этой фразой какой-то подробный рассказ.

Он проводил ее до самого дома, где помещались курсы ликбеза.

— Вы навестите меня? — спросила она.

— Конечно.

— Вы придете, значит?

Она нарочно еще раз спросила его. «Вы навестите» показалось ей неуместным, больничным вопросом, сразу выдававшим ее тоску, одиночество, плохое настроение. Она вовсе не хотела, чтобы Воробьев догадался обо всем этом.

Глава тринадцатая

Тимка познакомился с Гремучиным в трактире. Тут было шумно и суетно. Люди пили чай, закусывали, разговаривали. Тимка знал, что только здесь возможно быстрое знакомство, быстрая дружба. Только здесь возможно без всяких объяснений начать с любым человеком разговор. Весь трактир опутывал такой разговор, он казался общим. Люди входили в него просто и незаметно, как просто и незаметно входили они в трактир. Для Тимки все это было привычно. Он сразу повеселел, когда попал сюда.

Гремучин попросил разрешения присесть к Тимкиному столику. Тимка вежливо сказал:

— Пожалуйста.

С минуту они сидели молча.

— До чего мне ваше лицо известно, — сказал таинственно и хитро Тимка. Это была его обычная фраза при знакомстве с людьми. — Где только я вас видел, не помню.

Гремучин ничего не ответил. Он вообще-то был неразговорчив, а теперь стал даже угрюмым. Комиссию по защите наций осуществить не удалось. Она была ни к чему. Это стало понятным на другой же день. На другой день после собрания Гремучин пришел в домоуправление.

— Что вы предпринимаете? — спросил председатель.

Гремучин не знал, что ответить председателю.

— Одна только выдумка! — сказал председатель и занялся своим делом.

Гремучин ушел. Он больше не заходил в контору. Все вечера проводил он дома. Было скучно.

«Ничего не изменится, — думал он. — Теперь уже до самой смерти ничего не изменится».

Было даже у него желание пойти к Зотову, но это

означало бы, что все уже окончательно потечет по-старому, и он не поддавался этому желанию. Он с отвращением вспоминал эти вечера у Зотова, эту игру в домино и карты. Их было много, этих вечеров. Уже с давнего времени они повторялись, одинаковые, как ступени лестницы, и, как ступени лестницы, вели они все вверх, вверх, неизвестно куда. По ним, как по ступеням, можно было спуститься и вниз. Путь вверх и вниз был одинаково бессмысленным, тошным. Что может быть отвратительнее одинаковых дней!

— Озадачены вопросами? — спросил намекающе Тимка.

В это время вошел Юртов.

— Жду комиссию, — сказал он насмешливо Гремучину. — Жду и не боюсь. Могу любую комиссию намахать.

Гремучин отвернулся. Юртов постоял с минуту, точно в раздумье, и отошел.

Потом случилось так, что разговорился Гремучин с Тимкой. Это случилось, по всей вероятности, потому, что Гремучин боялся, что Юртов вернется. При разговоре с другим человеком не придется отворачиваться от Юртова, а можно будет просто не обращать внимания, сделать вид, что не замечаешь его.

Они выпили вина.

— Конец советской власти я предсказываю, — сказал захмелевший Тимка.

— Почему такое? — спросил удивленно Гремучин.

— Эта власть хочет людей на правильный путь поставить, а люди этого не хотят. Не хотят, и все тут.

Потом они вышли из трактира, и неизвестно почему Гремучин повел Тимку к Зотову. Зотов очень обрадовался приходу Гремучина.

— Я ждал вас, Александр Иванович, — сказал он тихо. — Был в уверенности, что вы придете. Сейчас я самоварчик разогрею.

— И вина давайте, — сказал Гремучин.

Он смешно таращил глаза. Он почти никогда не пил, и теперь привычный мир ускользал от него. Вместо привычного мира перед глазами устанавливалась небольшая прекрасная картина. Она устанавливалась и никак не могла установиться, точно была полотняной декорацией

из плохонького театрика. И, как у декорации, подплывали то и дело ее концы и бока вовнутрь. На картине был Лучинск, этот прекрасный, тихий город. Гремучин разговаривал с Лучинском.

— Обратите внимание, — говорил он ему, — что происходит. Как живем, до чего дожили. Гнием. Да-с, гнием. Коммунистическая власть нас окружает, а что, позвольте спросить, я нашел? Что?

— Ничего не нашли, — поддакнул Зотов. — Ничего не нашли и ничего не найдете. Для Сашей эта жизнь, исключительно для Сашей.

— Для каких это Сашей? — спросил Тимка, трезвея.

— Для комсомолов, — сказал, пьяно ухмыляясь, Зотов. — Фамилия ихняя — Луч. Он, этот Саша Луч, у нас стекла протирал. Так сказать, с целью — смотрите, мол, старые хрычи! Смотрите!

— Саша Луч, — сказал Тимка громко. — Я его знаю. Очень хорошо я его знаю. Я его недавно видел.

— Город тихий! — кричал Гремучин. — Прошу тебя, подойди сюда, прошу. Прости меня, что я тебя по-стариковски, по-простому на «ты» называю. Но будем друзьями.

— А советская власть — она только своим, — говорил Зотов. — Свой — пожалуйста. Пожалуйста, если свой. А не свой — она тебя накрутит.

— Что вы говорите? — спросил, очнувшись, Гремучин. — Что вы такое говорите?

— Советская власть, говорю, только своим, только своим.

— Правильно, — сказал Гремучин. — Вот этот человек тоже советскую власть отрицает. — Он показал на Тимку.

— Жму руку, — закричал Зотов, обнимая Тимку.

— Я не отрицаю, — сказал Тимка, отталкивая Зотова. — Я за советскую власть кровь проливал. Я не могу отрицать.

Потом Зотов плясал, по-бабьи обмахиваясь носовым платком. Дверь была открыта, и из коридора заглядывали в комнату любопытные. Зотова и Гремучина знали в этой квартире аккуратными, тихими людьми, и потому все очень удивлялись происходящему.

— Я Сашу знаю, — сказал вдруг громко Тимка. — Очень хорошо я его знаю...

«Ты вот решил сознательным рабочим стать. Знаю и понимаю...» «Я рад...» «А потом пойми, кому от этого польза, старик...» «Завод-то для себя строим...» «Ведь общее наше пролетарское дело делаем...»

Тимке стало плохо. Какая-то отвратительная тошнота подступила к горлу. Он отворил окно. Издалека донеслись гудки.

«Это паровоз маневровый на строительстве», — подумал Тимка. Ему представились сейчас цехи, котлованы, мастерские.

«Господи боже мой, до чего я бедный, а вместе с тем до чего же я богатый. В это, старик, вникнуть надо по-настоящему, ведь ты для себя все делаешь... ведь это все наше...»

Убогая, душная комната сдавила сейчас Тимку. Какие-то бумажные веера, табуретки о трех ножках.

— Это мой паровоз, — сказал Тимка, улыбаясь. Он понял сейчас же, что все то, что покинул сегодня утром, было его. Его паровозы, его цехи, его мастерские. Там, на его территории, было все огромно, богато.

«...В Европе нет таких заводов... Один инструментальный цех — пять десятин...»

Здесь все было убого, бедно, скрипуче. Тимка почувствовал себя разоренным. Еще сегодня утром он был богатым. Да, его разорили. Эти люди, которые окружают его сейчас, — это тоже бедность. Он хорошо знал этих аккуратненьких стариков, тихих и вежливых. Он знал, что сто́ит им только выпить, как начинают они ругать все и вся, обижаться на весь свет. Они так и умирают обиженными. Перед смертью вспоминают жирные кулебяки, которые едали раньше и которых не стало при советской власти, вспоминают зеленые бурки, которых теперь тоже не достать. Эти люди — бедность. И им, конечно, нет никакого дела до него, до Тимки, как и многим другим людям, с которыми он, Тимка, пьянствовал, дружил. Все эти люди — чужие.

«...Куда же ты пойдешь, старик, ведь идти, я так понимаю, тебе некуда. Оставайся, работай по-настоящему... Ты знаешь, что мы тут делаем, какую жизнь мы строим...»

— А потом мы этого Сашу выжили, — говорил Зотов, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Взяли да и выжили.

«...Значит, не хочешь ты своему классу помочь?..»

— Хочу! — сказал Тимка громко. Потом грубо обратился к Зотову: — Позволь пройти! — Он толкнул стол. Закуски и бутылки попадали на пол. Тимка растолкал любопытных и вышел.

Весенний ветер освежил его.

«Куда же теперь?» — подумал Тимка. Но тут заметил, что идет по направлению к строительству. Он шел уверенно и спокойно, как идут домой. Дома не было у него почти никогда. А он стремился теперь домой, и ему казалось, что кто-то мешает ему идти. Он махал руками, точно расталкивал мешающих ему людей.

Он быстро шел к себе домой. Теперь ему было непонятно, как мог он решиться уйти со строительства. Уйти от людей своего класса. Он кровью в годы гражданской войны заработал право быть вместе с этими людьми. Многие годы после этого он жил путано, скверно. Алкоголь ломал его, многое перестал он уже понимать, казалось, на этом и конец. Но вот началась настоящая жизнь, а он бросил ее почему-то и пошел опять бродить и путаться, пошел к чужим людям.

Окраина была уже далеко позади.

Глава четырнадцатая

Воробьев долго рассказывал Марии Федоровне о своей жизни. Они не видались девять лет. Воробьев рассказывал не так, как обычно рассказывают: главные события, исключительные моменты. Он, точно задавшись целью рассказать о всех днях этих девяти лет, подробно объяснял: «Я встаю ровно в семь часов, потом...» Когда он рассказал об одном дне, больше уже нечего было рассказывать: все девять лет состояли из таких вот похожих один на другой дней. Люди, которые живут однообразно, монотонно, так всегда и рассказывают: «Я встаю ровно в семь часов, потом...»

«У нас одна судьба, — думала Мария Федоровна,

слушая Воробьева. — И, очевидно, это вовсе не любовь, а тяготение друг к другу людей с одинаковой судьбой».

Воробьев встал с тахты и заходил по комнате. Он ждал слов Марии Федоровны. Мария Федоровна молчала. Воробьев ждал терпеливо.

«Что сказать ему?» — думала она, мысленно воспроизводя рассказ Воробьева: «Я встаю ровно в семь часов, потом. . .»

Она видела сейчас этот рассказ, факты, события точно окаменели, приняли доступную зрению форму, так подробно рассказал обо всем Воробьев, подробно и аккуратно. С той, вчерашней, встречи с Воробьевым на площадке она с нетерпением ждала его прихода, волновалась. Волновалась и вспоминала прошлое. Прошлое казалось ей одним днем, объединившим все разговоры, поступки и встречи, имевшие когда-то место, объединившим все периоды их знакомства, в самом деле длившегося несколько месяцев. Обрывки разговоров дополняли один другой, становились связной речью. Различные поступки тоже приобрели единство. Прошлое, казалось, было одним днем. Оно начиналось утром, переходило в сумерки. И пришло это прошлое не отрывочно и разорванно, а так вот, днем, театральной комнатой без одной стены. Оно приблизилось, сохраняя порядок всех частей, как приближается к быстро идущему человеку пейзаж, как приближается кадр в кино. Теперь, когда Воробьев ждал слов, Мария Федоровна поняла, что не случайно так необычно представилось ей вчера прошлое. Она поняла, что произошло это потому, что она долго готовилась к встрече с Воробьевым. Еще задолго до этого вечера она сама расставила все по своим местам. Она украсила это прошлое, как украшают комнату. И все это было ни к чему: пришел усталый, монотонный, нудный человек. «Я встаю ровно в семь часов. . .»

«Это не любовь, — подумала она опять, — это просто-напросто тяготение друг к другу людей с одинаковой судьбой».

— Я — не мечтатель, — сказал Воробьев, не дождавшись ее слов.

— Это я знаю. — Мария Федоровна усмехнулась.

Воробьев хотел что-то сказать, но в это время мужской голос за перегородкой спросил:

— Куда же ты поедешь?

— Тебя это не должно интересовать, — ответила женщина.

— Как это, не должно?

— Так вот, не должно.

Мария Федоровна и Воробьев некоторое время прислушивались.

— Люди портят свою жизнь, — сказала Мария Федоровна, — совсем ведь они молоденькие, эти соседи.

— Надо перегородки делать толще, — сказал Воробьев, — а впрочем, в нашей жизни и это — развлечение.

Он несколько раз прошелся по комнате. Он был высокого роста, но сейчас остановился в полутемном углу, и Марии Федоровне показалось, что Воробьев совсем маленький: темнота отсекла ему голову, а сцепленные на груди белеющие руки в полумраке походили на носатое лицо.

— Опустите руки, — попросила Мария Федоровна.

— Зачем? — удивленно спросил Воробьев.

— Так. — Она попросила тихо: — Расскажите что-нибудь.

— Вы исследуете меня, — сказал он обиженно. — Вы не интересуетесь мной, а исследуете меня, как исследуют жука, насекомое.

«Он прав», — подумала Мария Федоровна.

— Ну что же, — сказал Воробьев, — я могу удовлетворить ваше любопытство. Вам хочется знать, что интересует меня. Отвечаю: ничего.

«Он догадывается», — подумала Мария Федоровна и попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась.

— Вам, конечно, удивительно, — продолжал Воробьев насмешливо, — вам удивительно, как это человек ничем не интересуется. Я уже сказал вам: я — не мечтатель. А жизнь наша такова, что интересовать не может. Мне просто-напросто скучно. Мы живем в самое скучное время, какое когда-либо было. Вот представьте себе. Некий инженер встречает женщину, которую он когда-то любил. Инженеру этому сорок три года, он много поработал в своей жизни, и вот он хочет уехать со строительства, он хочет уехать с этой женщиной. Уехать из этой сутолоки, из этого шума куда-нибудь в глушь. Ведь вы бы уехали со мной, Мария Федоровна?

— Не знаю.

— Ну ладно, предположим, — лицо Воробьева искривилось. — Итак, человек этот хочет уехать, он много, повторяю, поработал, он хочет отдохнуть, наконец! — последнее слово Воробьев выкрикнул.

— Не надо волноваться, — попросила Мария Федоровна.

— И вот прихожу я в контору, — продолжал, стихая, Воробьев, — прихожу и говорю: я хочу уехать. Представляете себе, что произошло? Инженер Воробьев, руководитель монтажа мартена, хочет уехать. Как это может быть? Кто его откомандировывает? Никто. Он сам хочет уехать. Болен? Нет, здоров. Ну, тогда на какое же строительство он сам хочет ехать? Да вовсе не на строительство он хочет ехать, а так, для своего удовольствия, с женщиной, которую он любит. Этого не может быть, он всегда был... он всегда оставлял хорошее впечатление. Покажите-ка его анкету. Глядят в анкету. Возраст — сорок три года. Отец — служащий. Так. У белых не служил. Прекрасно. Все в порядке. Так позвольте, почему же он хочет уехать? У нас ведь строительство, у нас ведь революция! А позвольте вас спросить, разве я начинал это строительство? Разве я начинал революцию?..

— Перестаньте, — сказала Мария Федоровна.

— Пусть все знают, я не боюсь!

— Мне противно это слушать, перестаньте.

Наступило неловкое молчание.

— Вы, может быть, неправильно меня поняли, — сказал Воробьев. — Я вовсе не против революции. Кто желает — пожалуйста! У меня товарищ один, сознательный беспартийный, может, слышали такую фамилию — Кожин, инженер Кожин. Так вот мы с ним даже поругались. Собственно, это он перестал со мной разговаривать. Так вот он работает, у него какие-то там нагрузки, и чувствует он себя великолепно. Пожалуйста — кому нравится! Я даже не в обиде на него за то, что он со мной разговаривать перестал. Не могу его упрекать. Я не против революции. Я не считаю только, что должен всего себя отдавать этой революции. Я тоже хочу существовать! А кто желает отдать ей всю жизнь — пожалуйста! Попробуйте сказать об этом где-нибудь — завопят. По-

милуйте, как же это вы, инженер Воробьев, не хотите отдать всю жизнь революции? Ведь вот же инженер Кожин отдает? Вопль будет!

— Вы работаете на постройке мартеновского цеха? — спросила Мария Федоровна. — Мои ученики только о нем и говорят. Действительно скоро пуск?

— Маловероятно.

— Почему?

— Так. Еще многое не готово. Пока все это — безответственные разговоры. Когда можно будет пустить, пустим.

— А ученики мои говорят: вопрос решен, пятнадцатого мая пуск.

— Не будем спорить об этом, — сказал раздраженно Воробьев. — Скучно это. Подумаешь, мировое дело! Нам здесь кажется страшно важным: пустим, не пустим, а в сущности, все это — пустяки.

Разговор не налаживался. Вскорости Воробьев ушел.

«Он встает ровно в семь часов, — подумала Мария Федоровна, — он должен выспаться».

Сама же она долго не ложилась спать в этот вечер.

Глава пятнадцатая

Войти он не решался долго. Покамест шел от города до строительства, Саша представлялся ласковым, простым, близким человеком, теперь же, когда стоял у двери дома, где жил Саша, вспомнил почему-то Сашино резкое: «Некогда, старик», сказанное тогда в мастерской. Было как бы два Саши: один — простой, ласковый, веселый, другой — строгий, сосредоточенный. Тимка стоял как бы перед двумя людьми, но тянулся к ласковому, веселому Саше. Тимка даже помогал ему в споре со строгим и сосредоточенным Сашей.

— Ну что же, — говорил один Саша, — это бывает, это мы поправим. Ничего, не горюй, старик.

— Конечно, ничего, — поддакивал Тимка, — подумаешь, какое дело.

Тимка осмелел. Саша был тщедушным, маленького роста человеком, и хотелось Тимке даже покровительственно хлопнуть его по плечу.

Из двери вышел какой-то человек. Проходя, он толкнул Тимку. Дверь была некрашеная, много слов всяких было ножиком вырезано на ней, она скрипела, по земле за ней тащился окурок. Там, в доме, за этой дверью, был Саша, который поручил Тимке дело. Строгий, рассудительный Саша, которому уже, наверно, сообщили о том, что он, Тимка, скрылся куда-то.

«Ничего, — попытался улыбнуться Тимка, — ничего, подумаешь, какое дело!»

Дверь была некрашеная, окурок лежал под ней, мимо проходили люди, кирпичи валялись неподалеку, мир был обычным, знакомым. Было понятно, что там, за дверью, в доме, находится сейчас Саша, который поручил ему, Тимке, дело, а он, Тимка, не выполнил его. Мир был дневным, ясным, разоблачающим.

Тимка вошел в дом. Дверь квартиры, в которой жил Саша, никогда не запиралась. Тимка потоптался в нерешительности около Сашиной комнаты и вошел.

— А, старик, — сказал приветливо Саша, — ну, как дела?

Тимка понял, что Саша еще ничего не знает.

— Дела, так сказать, идут.

Саша радостно ухмыльнулся.

«Теперь бы уйти, — подумал с тоской Тимка. — Уйти куда-нибудь».

Вошел Совков, за ним — пожилой рабочий. Совков был чем-то озабочен.

— Мы к тебе, Саша, посоветоваться насчет одного дела, — сказал он, недоверчиво поглядывая на Тимку.

— Говори, ничего, — сказал Саша, — это — свой человек.

«Да я ведь бросил все, я ведь уйти хотел, — какой же я свой?»

Тимка хотел выкрикнуть это, но сдержался. Через мгновение он даже обрадовался тому, что узнает какой-то секрет, какую-то тайну. Саша, узнав о его, Тимкиных, проделках, конечно, выгонит его, а он, Тимка, уходя, скажет: «Насчет вашей тайны, Саша, можешь не сомневаться, никому не скажу; что-что, а уж насчет того, чтобы людей подводить, — на это я не способен».

— У нас ничего такого секретного нет, конечно, — сказал Совков. — Понимаешь, Саша, погорячились мы, и

плохое дело получается. Вернее сказать, я погорячился, потянул ребят, постановили мы смонтировать кран в семидневный срок, а старший монтер Голубков все твердил: двадцать дней надо, не меньше, ну, мы его сбили, авторитет у меня тоже есть, ну, работали неплохо, а получается неважно: сегодня четвертый день, и видим, что в семь дней не сделать. А Голубков сейчас усмехается: что же, мол, вы, такие-сякие, старшего монтера решили переспорить? Типичный оппортунист. Как семь дней пройдет, да не успеем если сделать, он на ребят насядет. Уныние будет, сам понимаешь, тогда, дай бог, в двадцать дней смонтировать. Двадцать дней — ты пойми...

— Плохо, — сказал Саша. — Каждый день сейчас дорог, каждый час. Пятнадцатого мая надо зажечь мартен и все параллельные работы подогнать. А без крана цех ни черта не стоит. Вот все-таки подтягивается работа. Смотри, землекопы как подогнали — по двадцать кубометров земли вынимают, пристройки через пяток дней ставить начнем на западной стороне.

— Не будет ли у тебя, Саша, закурить? — спросил Тимка.

Саша протянул Тимке пачку папирос.

— Очень крепкие куришь, — сказал нараспев Тимка, — я так вот крепкий табак не люблю.

— Ладно, ладно, — сказал грубо Саша, — подожди ты. Так как же будет все-таки? — обратился он к Совкову. — Паршивое дело выходит.

— А я вот что говорю! — закричал вдруг Совков. — Я говорю Василию Егоровичу, — он указал на пришедшего с ним пожилого рабочего. — Я говорю: товарищ Мамыкин, возьми мой авторитет и действуй за меня.

— Как это, возьми авторитет? — спросил удивленно Саша.

— А так вот, — продолжал Совков, обращаясь к Мамыкину, — возьми мой авторитет и действуй за меня. Ругай меня за ребячество, за перегиб, крой изо всех сил меня за перегиб, а Голубкова — за оппортунизм; зови ребят на десятидневный срок, чтобы уныния не было, чтобы темп не потеряли. Ребята за тобой пойдут, в десять-то дней обязательно сделаем. А меня ты опозорь. Чтоб не по-моему и не по-голубковски было.

— Так ведь вам потом проходу не дадут, — вмешался Тимка.

— Ничего не значит, — сказал Совков. — Я — самый самолюбивый человек на свете, но тут о самолюбии речи быть не может. Вопрос сейчас о кране, вопрос сейчас о мартене, вот о чем вопрос. Я тебе говорю, — обратился он к Мамыкину, — крой меня, крой Голубкова, бери мой авторитет, зови ребят на десятидневный срок. Сбивай оппортуниста Голубкова, он — типичный оппортунист. Он еще в партию хочет подавать, я ему покажу партию... мать, спокойная дрянь.

— Нет, так не годится, — сказал Саша. — Так поступать не стоит.

— И я говорю, не стоит, — подхватил Мамыкин.

— А вот что, — Саша помедлил, — сколько, говоришь, дней осталось?

— Три дня.

— Три дня да три ночи, это выходит шесть дней.

— Как это — три ночи? — спросил Совков.

— Так, так, Саша, — Мамыкин понимающе усмехнулся. — Вот это другое дело. Он тебе, чудаку, штурмовые ночи предлагает устроить, — обратился он к Совкову.

— Штурмовые? — спросил удивленно Совков.

— Ну да. Не слыхал никогда? А мы это знаем. Мы, когда цех металлических конструкций кончали, шесть ночей штурмовых вогнали.

— Это будет другое дело, — сказал Саша. — А то что-то ты глупое предлагаешь: ругай меня, ругай тебя, — глупость все это.

— Так ведь я, Саша, для мартена, — тихо сказал Совков.

— Вот что, — сказал Саша, вскакивая с койки, — вы сейчас собирайте ребят, а я со своей бригадой разговаривать буду. У нас у самих сейчас баня. Да, такие, между прочим, что за длинным рублем гонятся, тоже есть, но, думаю, что кое-кого найду, поможем вам, вырвем дело. Я приведу ребят, ручаюсь, партийцев и комсомольцев безусловно, да и беспартийные у нас есть ребята крепкие. Ну, кройте к себе, а я побегу. Окажем вам социалистическую помощь.

Он быстро стал натягивать сапоги.

— Я с тобой, к твоим ребятам, — сказал Совков, к ко-

торому вернулись его прыткость и бойкость, — я уж им объясню, будь уверен.

Тимка вышел вместе с Мамыкиным. Некоторое время они шли молча.

— Отчего здесь ночи темные, в этой местности? Ужасно какие темные? — спросил неожиданно Тимка.

— А кто их знает, — ответил Мамыкин, думая о другом.

— Партиец? — спросил Тимка.

— Кандидат.

— Так, так.

Они опять помолчали.

— Вот мы с вами — пожилые люди, — сказал Тимка. — Окружает нас молодежь. Можем ли мы за молодежью угнаться — возникает вопрос.

— Почему же не можем? — усмехнулся Мамыкин. — Кто в партии, тот молод. Партия молодая, и мы молодые. Вы не в партии?

— Нет, — ответил Тимка. — Трудно мне очень примкнуть.

— Почему так?

— Трудно.

Они подошли к дому, где жил Мамыкин.

— Надо зайти поесть, — сказал Мамыкин, — а то сегодня уж не попадешь домой. Зайдемте?

Они вошли в дом.

— Ну, жена, — сказал Мамыкин, — корми нас скорей, времени нет. Сегодня я не приду, ночью работать будем.

Мамыкин жил в маленькой комнатке. Кровать, стол, три старых стула — вся мебель. На стене — зеркало, календарь, фотография, на которой изображен сам Мамыкин в солдатской форме на фоне озера.

— Николай приходил, — сказала жена Мамыкина, — приходил и жалел, что тебя не застал. Меня, говорит, моим отцом попрекают, опять он, говорит, выпивши был.

— А ты не отбрехалась? — спросил, усмехаясь, Мамыкин.

— Чего же я буду брехать? Правильно Колька говорит. Пора уже глупости-то кончать.

— Я и кончаю, — сказал Мамыкин и принялся за еду.

— Употребляете? — спросил тихо Тимка.

— Случается, не без этого, да сын меня кроет. Все старые привычки, это правильно.

— Нехорошо, — сказал облегченно Тимка, — старые привычки.

Ему захотелось рассказать Мамыкину все, что с ним произошло. Он был уверен, что Мамыкин поймет его, Тимку. Мамыкин был пожилым человеком. Он скорей должен понять. И он рассказал Мамыкину все. Мамыкин слушал внимательно.

— Да, — произнес он, когда Тимка кончил, — потеряли вы свой авторитет, это действительно плохо, надо восстановить его.

— Как же его восстановишь? — спросил тоскливо Тимка.

— Способы, положим, есть. Объявить себя ударником. Отметим мы вас сейчас в газете. Я сам — активный рабкор.

— В какой газете?

— В нашей газете «Ленинец». Это огромное значение имеет, на газету у нас все оглядываются. И вам рабкорствовать надо. Как что заметили, сейчас в газету. Всколыхнуть ваших землекопов можно.

— Да ведь я почти что неграмотный.

— Плохо дело. Надо на ликбез записаться. Я ведь тоже на ликбез в прошлом году ходил.

Через несколько минут, расставаясь с Мамыкиным, Тимка сказал:

— Вижу сам, что поскорее дело надо делать. А то только слова, слова, много я слов говорю, а кругом люди дело делают, а я мечусь как неприкаянный. Ну, спасибо вам.

— За что? — спросил Мамыкин.

Тимка не ответил и быстро ушел.

В бараке его встретили насмешками. Он не отвечал ничего. Вечером пошел в редакцию газеты.

— Хочу рабкорствовать, — сказал он.

— Это хорошо, — ответили ему, — давайте материал.

— Писать почти что не могу.

— Вот это уж плохо, у нас всего два работника в газете, зашиваемся. Ну да ладно, что у вас?

— Вчера пьянка здоровая была в бараке, а сегодня благодаря этому шесть человек на работу не вышли.

— Так это быт. Ну, а по производственной линии?

— А по производственной линии — насчет распределения работы. Такая ерунда получается...

Он долго говорил с секретарем редакции.

На другой день Тимка объявил себя ударником. Работал усердно. Через два дня появилась в газете «Ленинец» о нем заметка с портретом. Придя в барак, Тимка увидел, что вырезка из газеты приколота к стене над койкой Шувалова.

— До чего я красивый, — сказал Тимка и потянулся вытащить иголку, снять со стены газетную вырезку.

— Ты не трожь, — строго сказал Шувалов, — поглядеть — погляди, а не трожь.

— Почему такое? — спросил Тимка.

— Потому такое.

— Да ведь это — мой портрет, — сказал несколько обиженно Тимка.

— Это ничего не значит. Ты погляди, что написано.

Шувалов прочел: «В бараке номер шесть, землекоп Носков Тимофей объявил себя ударником. Работает он действительно очень хорошо и своим примером оказывает влияние на таких отсталых рабочих, как Шувалов, который тоже начинает подтягиваться...»

— Ну вот, — сказал Шувалов. — Кто такой этот Шувалов? Это именно я и есть.

— Гордишься? — спросил Тимка.

— Вспоминают нашего брата, — сказал Шувалов, — не только нас ругают, глядишь, и добром вспомнят.

— Вот насчет твоего аппендицита скоро объявление будет в газете.

— Как это объявление?

— А так. Как именно аппендицит — причина того, что прогулы у тебя.

— Кто же это объявит?

— Я.

— Ты?

— А ты что думаешь? Люди за тебя работать будут, надрываться, а ты на чужой спине проехать хочешь — здравствуйте, я, мол, здесь.

— Послушай, старик, — сказал просяще Шувалов, — отмени ты это, пожалуйста.

— Нет, — сказал Тимка важно, — не отменю.

— Мне теперь очень стыдно будет. Тут прочли заметку о том, мол, что я осознаю, а тут насчет аппендицита объявление. Отмени, я тебя прошу. Обидно выходит.

— А другим не обидно, что ты не работаешь?

— Да ведь я бы теперь...

— Ну, я подумаю, — сказал Тимка. — Только вот что, парень, я тебе хочу сказать. Надо старые привычки бросать. Видишь небось сам, как настоящие люди-то работают. А мы-то что же, хуже людей? Давай мы с тобой за дело по-настоящему возьмемся. Мы с тобой вдвоем весь барак расшевелим.

Когда Тимка отошел к своей койке, Петр спросил Шувалова:

— Ты это о чем со стариком разговаривал?

— А тебе что?

— А то, что это — мой старик.

— В каком смысле твой?

— Мы с этим стариком вместе ходим, мы с ним друзья.

— Старик не твой, старик общий.

— Ты смотри! — Петр угрожающе повысил голос.

Подошел пожилой землекоп Копыткин, он некоторое время прислушивался к перебранке.

— Чего это вы, ребята, ругаетесь? — спросил он. — Тимку поделить не можете, в большой цене он теперь. Тимка, — крикнул он, — слышь, Тимка!

— Не Тимка, а Тимофей Васильевич, — сказал, подходя, Тимка.

Копыткин усмехнулся:

— От старого отказываетесь, значит, а сами говорили... — Он помолчал и неожиданно почтительно спросил: — Тимофей Васильевич, скажи, пожалуйста, кто должен грязь из барака удалять?

— Мы должны, — сказал Тимка, — мы сами. От грязи духота появляется, от духоты — дурная жизнь.

— В каком смысле понимать надо?

— А в том смысле, что пьяная жизнь от грязи идет.

К ним подошли несколько человек.

— Товарищи, — сказал громко Тимка, — опять я к вам должен обратиться насчет работы. Плохо у нас дело идет, подводим мы строительство.

— Холодный свет! — вдруг закричал Копыткин.

— Что такое? — спросил, опешивши, Тимка.

— Ничего, — угрожающе сказал Копыткин.

— Непонятно. — Тимка ощутил в себе прежнюю решительность. — Непонятно хотя, а вижу, что глупо.

— Разве можно вам понять, где уж вам! Я спрошу вас, где сапоги, где обувь? Где?

— Не заработали мы обувь, — сказал Тимка.

— Как такое не заработали? — задорно спросил Копыткин.

— А так вот. Как работаем? Да за такую работу гроша жалко.

— Это правильно, — неожиданно согласился Копыткин. — Я вот в тринадцатом году, к примеру сказать, на одной постройке работал, так мы куда крепче работали.

— Для царя и буржуазии старались, — злобно произнес Тимка, — а для пролетарского класса не надо, так выходит? Безобразие это!

— Правильно, — согласился Копыткин, — это очень даже, я считаю, правильно сказано. Только вот в чем причина, растолкуйте.

Лицо его сморщилось и отразило внимание, он даже голову втянул в плечи, к уху приставил ладонь, приготавливаясь слушать. Тимка с опаской глядел на него, ожидая подвоха.

— Причина тут ясная. С палкой люди стояли над тобой, а тут с тобой по-товарищески обходятся, потому что ты такой же хозяин, как и все трудящиеся. А сознать ты этого не хочешь.

— Правильно, — сказал Копыткин, видимо наслаждаясь тем, что находится в центре внимания. Он не изменил своей напряженно-внимательной позы, ждал, что ему еще скажет Тимка. Ему так нравился разговор, что он мог бы его, кажется, продолжать без конца. — Правильно, ничего сказать нельзя, потому — правильно.

— Потому так и происходит, — продолжал Тимка. — Вы для царя наживали, а для Советской страны проживаете, вы Советскую страну хотите пропить. За такое дело надо во как тянуть.

— Правильно, — сказал Копыткин, — это уж действительно правильно. — И, убедившись, что Тимка

продолжать речь свою не собирается, обратился к стоящему рядом молодому парню.

— Раздумываешь? — спросил он его едко. — Не хочешь для своего класса работать, тебе палку подавай, «высокоблагородие» тебе подавай? Сопливец ты, если хочешь знать.

— Ты чего привязался? — спросил молодой парень обиженно.

— Да я тебя измордую! — закричал отчаянно Копыткин. — Ты у меня смотри! — Потом обратился к Тимке: — Вы не беспокойтесь, Тимофей Васильевич. Мы понимаем.

— Соревнование надо, — сказал Тимка. — Социалистическое соревнование...

— Правильно, — закричал Копыткин. — Вот это уже действительно правильно. Вызываю тебя, — обратился он к Петру, — вызываю тебя на соревнование, и такое промеж нас будет соревнование, что все равно должен ты меня обогнать.

— Так это уж не соревнование будет, — ответил Петр. — Какое же это соревнование, если все равно должен я вас обогнать.

— Ах, не соревнование! — закричал еще громче Копыткин. — Нет именно такое будет соревнование, что все равно должен ты меня победить. Мне сколько лет? Пятьдесят. А тебе — двадцать.

— Я не согласен, — сказал Петр.

— Тогда давай со мной, — обратился к Копыткину Шувалов.

— Ты не лезь, — сказал Шувалову резко Петр. — Что же, попробуем, — обратился он к Копыткину.

— Давайте барак чистить, — сказал Шувалов с преувеличенной бойкостью, громко, точно желая привлечь внимание всех. — Раз ударники, значит, в таких бараках жить нельзя.

— Начинаете вы помаленьку сознавать, — насмешливо и снисходительно сказал Копыткин.

Тимка и Копыткин вышли из барака.

— Это неправильно, — сказал Тимка, — неправильный насчет соревнования у вас договор выходит, в том смысле, что все равно должен Петр тебя перегнать. Какое же это соревнование?

— Воспрещается?

— Да не воспрещается, а нельзя раньше уговариваться.

— Так-так. Конечно, вам виднее, вы, как сказать, рабочий человек, мы, конечно, сезонные люди. Мы зимние люди.

— Все сезоны советские, — строго сказал Тимка, — что зима, что лето.

— Вы, может, думаете, что я в смысле сапогов весь разговор затеял? Ошибка ваша. Да я в лаптях с дорогой душой прохожу, тут сапоги ни при чем совершенно, Тимофей Васильевич. Я партию на сапоги не променяю, если хотите знать.

— Понятная вещь, — согласился Тимка.

— Я с открытой душой, — сказал Копыткин, — потому вижу и понимаю. А в смысле, сказать так, прогулов и пьянки, так это старые мнения. Как вы считаете?

— Безусловно.

— А партию я на сапоги не променяю. Вам слесарь Мамыкин знаком?

— Знаком.

— Вот тоже, пожилой человек, а партийный. Он к нам сейчас прикреплен ячейкой. Он нас в партию примет, как вы думаете?

— Если дух настоящий будем иметь — примет.

— Я к нему на кружок хожу, текучей политики. Очень он мастак, я скажу, Мамыкин. А если вы именно думаете насчет сапогов, так это — пустяк. У меня, если хотите знать, сапоги есть. Пожалуйста, идемте в барак, я вам покажу, они в сундуке лежат. Сапоги здесь ни при чем.

— Мы весь барак перетряхнем, — сказал Тимка, — мы ударный барак сделаем.

— Обязательно, — согласился Копыткин. — А вы думаете, Копыткин из-за сапогов? Вы не думайте, пожалуйста.

— Я не думаю, — успокоил его Тимка.

— Могу свои сапоги отдать, — сказал решительно Копыткин.

— Не надо.

— Нет, я отдам, — упрямо заявил Копыткин, — если у вас такое мнение, что я именно через эти сапоги затеваю все...

— Нет у меня такого мнения.

— Я всю жизнь бедняк, — он порылся в кармане, достал бумажку и прочел: «Дана сельсоветом деревни Котлы т. Копыткину, Якову Андреевичу, что хозяйство у него маломощное, бедняцкое». Это как по-вашему, ничего не значит? При чем же здесь сапоги?

— Ни при чем, — сказал Тимка.

— Я живу и оглядываюсь, — сказал Копыткин, — я давно оглядываюсь, что именно происходит. На две части все поделились. Одни вот вроде нашего брата, шалтай-болтай, другие работают, создают, строят. А для кого? Для нас же. Имеем мы право так дальше жить? Могу я себя сравнить с Мамыкиным, с Василием Егоровичем? Да никогда. А что же я, чужой? У меня, если хотите знать, сын единственный под Харьковом за советскую власть жизнь положил.

— Правильно, правильно, — сказал Тимка. — О чем говорить — правильно.

Они подошли к дому, где помещалась редакция «Ленинца».

— А сапоги я отдам, — сказал Копыткин. — Ну их к дьяволу, если так. — И пошел прочь.

Тимка, усмехаясь, несколько минут смотрел ему вслед.

В редакции Тимка потребовал обратно свою заметку.

— Парень начинает сознавать, — сказал он секретарю, — про аппендицит свой он забывать начинает и становится человеком, чего же его зря позорить? Я вам лучше другой факт дам.

Он присел к столу и долго писал печатными буквами.

— Ничего не понятно, — сказал секретарь, взглянув на это писание. — Давай, говори, я буду сам писать. Беда, зашиваемся мы, честное слово, ведь два человека работают!

— Что же вы третьего-то не потребуете? Дело можете подорвать. — Произнес Тимка это строго, по-хозяйски и сразу оробел.

— Обещают третьего человека. Да вот все как-то не получается. Ну, давай, что у тебя.

— Барак номер шесть становится ударным. Первые ударники — это Шувалов, Петр Ложкин, Копыткин, Муравьев и Носков. Будем организовывать промеж себя

соревнование. Сегодня устраиваем собрание, на собрании решим вызвать пятый барак на соревнование.

— Дадим в послезавтрашний номер, — сказал секретарь. — Только, старик, подучился бы ты немного на ликбезе. Самому тебе писать надо заметки. Сколько времени я потратил с тобой. Зашиваемся мы. Валяй, товарищ Носков.

— Подучусь. — Тимка сочувственно покачал головой. — Надо вас выручать, подучусь.

А Копыткин в это время подходил к бараку. Было уже совсем темно. Кто-то преградил ему путь. Он подумал, что случайно наткнулся на человека, и захотел обойти этого человека, но тот снова преградил ему путь.

— Что ты! — крикнул Копыткин раздраженно. — Шутки тоже!

Луна и звезды растаяли мгновенно. Копыткину показалось, что входит он в землю, все глубже и глубже, что земля мягкая, покорная и вот-вот он потонет в ней. «Убили меня», — подумал он и потерял сознание.

Вечером в бараке один землекоп сказал другому:

— Сомневаюсь я, Вася, очень я, сказать так, сомневаюсь.

— Глупые речи, — ответил другой. — Он от этой своей сознательности обязательно бы язык развязал, не сегодня-завтра. Кто в деревне кулак, кто тому подобное, — это он безусловно бы высказал. А тут наших, деревенских, почитай, четверть всего барака. Как бы тогда получилось?

— Я ничего не говорю, — ответил первый землекоп.

— Молчать и надо, — сказал второй строго.

— Об этом я понимаю.

— Ну то-то.

Глава шестнадцатая

Он курил непрерывно в течение часа. Табачный дым тяжелой тучей висел над головой. Это был мирный табачный дым, но если бы кто-нибудь зашел сейчас в комнату Голубкова, он подумал бы, что в комнате пожар.

«Задохнуться бы, — подумал Голубков. — Интересно, может ли человек накуриться до смерти?» Но тут же возразил себе вслух:

— Рано помирать. Я еще поборюсь.

Но он не верил в эти слова. Наверно, потому и произнес их громко, что не верил.

«Что же теперь делать?» — подумал он.

Час назад он говорил с Горуновым.

— Я думаю, — сказал Борис Андреевич, — я думаю, что вы поймете меня правильно.

— Поймем, — ответил Горунов. — Тут все понятно. Оппортунизм. Его понять быстро можно.

— Но ведь я, как опытный монтер, совершенно точно рассчитал.

— Двадцать дней? — перебил насмешливо Горунов.

— Да, двадцать дней.

— А сделают в восемь! Это теперь определенно.

— Так ведь как же можно было предполагать, что по ночам...

— Ты должен был возглавить энтузиазм бригады, а ты бригаду холодной водой поливал. Совков, конечно, мальчишка, он перегнул, ну, а где в это время был старший монтер, почему он не определил правильный срок? Правильный срок, исходя из большевистских расчетов, а не из других? Спокойствия в тебе много, нехорошего спокойствия, не горишь ты к нашему делу. — И, как бы отвечая на вопрос Голубкова, добавил: — Рано тебе в партию, очень рано.

— Почему же рано? — упавшим голосом спросил Борис Андреевич.

— Конечно, я тебе свое мнение говорю. Как цеховая ячейка выскажется, не знаю. Я считаю, что рано, очень надо тебя со всех сторон проверить, не нравишься ты мне, прямо, не скрываясь, говорю — очень ты мне не нравишься.

«Все к черту!» — подумал Голубков.

И теперь, когда был один в прокуренной своей комнате, эта фраза не покидала его. «Все к черту, — повторял он несчетное количество раз. — Все к черту».

Ему захотелось сейчас домой, к отцу, туда, в заставленную вещами пыльную комнату. Он вспомнил лицо Горунова, когда тот говорил об оппортунизме. «Хам, мужик, — подумал он с ненавистью. — Убил бы! До смерти самой бил бы. Все они такие. Чужой, ненавистный мир».

«Если бы этот болтун Керенский проявил достаточно твердости, ничего бы не было», — вспомнил он фразу, которую часто произносил дядя. И ему жалко стало этого расстрелянного в девятнадцатом году старика. «Он любил меня, — подумал Борис Андреевич, — он очень меня любил, он был бездетен, и я бы был его наследником. Так все говорили. Отца он не любил, а меня любил. Все эти прекрасные вещи, которые вывезли тогда из особняка, да и сам особняк — все это принадлежало бы мне». Он ощутил страшную злость. Его обокрали. Да, его обокрали. Горунов — один из тех, которые его обокрали. Сволочи! Все равно скоро будет война. Обязательно будет война.

Эта мысль немного успокоила его.

Надо будет поступить на другой завод. А может быть... Он оглянулся, точно боясь, что мысль можно подслушать. Есть ведь тайные организации, безусловно есть... а если откроют?.. Ну что же, чем так жить... А потом, не всех же ловят... Он умный и хитрый человек... его не поймают.

«Что за чушь! Я, конечно, шучу, шучу, я нарочно шучу!» Он несколько раз произнес это слово, точно оправдываясь перед кем-то. Он испытал сейчас большой страх.

Он вспомнил о Воробьеве, о своем недавнем разговоре с ним. Его потянуло к Воробьеву. «Вот это человек, — подумал он. — Его можно уважать». На минуту страшно ничтожным представился он сам себе. «Что ему? — подумал он снова о Воробьеве, оправдывая собственное ничтожество. — Что ему?! Специалист, инженер, ему можно храбрым быть...»

Он пошел к Воробьеву.

— Вы пришли меня учить? — спросил насмешливо Воробьев.

— Нет, — торжественно ответил Борис Андреевич, — я пришел у вас учиться.

— Не понимаю.

— Я не боюсь вам сказать... я ненавижу их...

— Я не понимаю вас, — повторил Воробьев, но по насмешливому его лицу Борис Андреевич видел, что он прекрасно все понимает.

— Я не боюсь сказать вам... я интеллигент... дворянин... я ненавижу их... я давно наблюдаю за вами и вижу, что и вам невозможно... — И вдруг, сам того не ожидая, сказал: — Если бы этот болтун Керенский не проявил слабости, ничего бы не было.

— Я очень хочу спать, — сказал Воробьев, — простите меня.

— Можете донести на меня, можете.

— Я не буду доносить, но я очень хочу спать.

Когда Голубков был уже около двери, Воробьев сказал ему:

— Вы допускаете ошибку. Вы считаете, что я существую. Это — ошибка. Меня нет, и вас, по всей вероятности, нет. Нет и, наверное, не будет. Мы как пыль, которая зависит от любого ветра... Мы приводимся в движение посторонней силой... а впрочем, мне скучно объяснять вам это... я даже допускаю, что вы подосланный провокатор. Мне противно... Я хочу спать...

Он почти вытолкал Голубкова за дверь.

Глава семнадцатая

В бараке было пусто, горели две тусклые лампы, и барак, обычно неопрятный и грязный, был сейчас словно прибран их светом, украшен их тенями. Над головой Тимки плыла комнатная туча, теплая, тихая. Тимке от теплоты этой и тихости очень хотелось спать. Но спать было нельзя.

— Восемнадцать и шесть, — сказал Тимка громко, для того, чтобы отогнать сон. — Восемнадцать и шесть будет двадцать четыре.

Надо было уже идти на занятие ликбеза, а он еще ничего не успел выучить. Тимке представилось сейчас строгое лицо учительницы Марии Федоровны, и ему стало не по себе.

«Все равно не успею выучить», — подумал он и стал одеваться.

Он опоздал к началу занятий.

— Каждый раз вы опаздываете, — упрекнула его Мария Федоровна. — Садитесь скорей, нельзя всем мешать.

Один из учеников читал медленно по газете:

— «Основное наше внимание надо сейчас уделить мартеновскому цеху. Надо добиться скорейшего пуска этого цеха. Партийные и общественные организации должны. . .»

— Так, очень хорошо, — перебила Мария Федоровна, — сразу видно, что вы дома занимались. Надеяться на одни занятия здесь, на уроках, нельзя. Кто дома не работает, тот успевать не будет.

Она назвала Тимкину фамилию.

— Вот читайте, — сказала она, протягивая Тимке книжку, извлеченную из туго набитого маленького портфельчика. — Тут шрифт ясней. Когда мы получим наконец пособия?

— А нельзя ли по газете? — робко спросил Тимка.

Мария Федоровна усмехнулась:

— Это — роман Тургенева. Один из лучших русских романов. Мне думается, что он вполне достоин вашего внимания. Читайте.

— «Базаров уже не вставал в тот день, — начал Тимка, — всю ночь он провел в тяжелой полузабывчивой дремоте. . .»

Тимка сбивался, то и дело путал буквы, а на следующей фразе окончательно застрял.

— Очень плохо, — раздраженно сказала Мария Федоровна. — Не работали дома, это сразу видно, и не убеждайте меня. Вот товарищ — он работал дома, и вы слышали, как он читал. Берите пример.

— Так ведь он по газете читал, — возразил Тимка, — по нашей газете «Ленинец».

— Какая же разница? Не понимаю.

— Как это, какая разница? Это — Тургенев, а это — наша газета. Да я по газете сам не хуже его прочту.

— Ерунда! — резко сказала Мария Федоровна. — Наоборот, в книге шрифт яснее. Ну, читайте по газете. Послушаем, как это вы будете читать по газете.

Тимка взял газету и бойко, почти без запинок, прочел:

— «Вопрос о кадрах у нас очень обострен. Нам не хватает людей. Вполне понятно, какую роль играет вербовка. Однако некоторые товарищи не понимают этого. . .»

Он перестал читать и посмотрел самодовольно на Марию Федоровну.

— Ничего не понимаю, — произнесла она удивленно, — тут вы действительно читаете бойко.

— Потому что это — наша газета, а не Тургенев, — ответил Тимка. — Да вы посудите сами. Во-первых, мне все здесь знакомо, мне здесь только первую половину слова прочесть, а об остальном догадаться можно; а во-вторых, сами мы рабкоры и пишем все это. Как же нам свое написанное не прочесть?

— Я не понимаю, — пробормотала Мария Федоровна, еще не оправившись от смущения. — Я не понимаю, как же это вы пишете, когда и читать-то почти не умеете.

— Заставляют обстоятельства, надо ведь. У нас по большей части работа коллективно идет — кто пишет, кто составляет, кто материал собирает. Вот, например, насчет кадров, это лично я составлял. Что же вы хотите, чтобы я свою заметку не прочел? Этого никогда быть не может, чтобы человек свою заметку не прочел.

— Я ничего не хочу, — тихо сказала Мария Федоровна.

— А насчет кадров, — продолжал Тимка, не обращая внимания на эти слова, — насчет кадров у нас действительно дело обстоит плохо. Возьмите хотя бы землекопные работы на постройке мартеновского.

— Какое я отношение имею к землекопным работам? — спросила Мария Федоровна.

— Вот то-то и плохо, что многие норовят так рассуждать: какое я имею отношение? Не хватает землекопов! А как распределена работа, я вас спрошу. Умеют, по-вашему, распределить работу? Нет, вы ответьте, умеют?

— Что вы от меня хотите? — жалобно спросила Мария Федоровна.

— Нет, не умеют, — продолжал азартно Тимка. — Пятнадцатого мая надо во что бы то ни стало пустить первый мартен, а пустим ли мы его, если так будет дело идти, это — вопрос...

Он говорил теперь горячо о мартеновском цехе, как говорил о нем вчера на собрании землекопов. Он не был в этот момент учеником ликбеза. Комната, в которой поместились курсы ликбеза, комната технического отдела, отнюдь не напоминала класс, ученики были все взрос-

лые, они почти все работали на постройке мартеновского цеха, им было понятно все то, о чем говорил сейчас Тимка. И если бы сейчас кто-нибудь вошел в комнату, он не предположил бы, что здесь курсы ликбеза, он был бы уверен, что здесь собрание, посвященное мартеновскому цеху, одно из многочисленных собраний и совещаний, на которых обсуждались вопросы о том, как закончить к сроку стройку цеха, как создать все возможности для того, чтобы зажечь пятнадцатого мая первый мартен.

— Срок-то не очень правильный, — сказал кто-то.

— Вполне правильный срок, — перебил другой.

— Давайте заниматься, — тихо сказала Мария Федоровна, — нельзя столько времени терять на посторонние дела.

Когда Мария Федоровна вышла на улицу, Тимка нагнал ее.

— Товарищ педагог, — сказал Тимка. — Очень нас безграмотность мучает. Ужас до чего она нас мучает! В газете два работника, а пишем мы так, что хоть пять посади — мало будет. Может, когда поправите нам материал в смысле грамотности? А?

— Пожалуйста, — сказала Мария Федоровна.

— Я вас буду иметь в виду.

— Пожалуйста.

— А насчет того, что вы выразились, будто бы мартеновский — это дела посторонние, ошибка ваша. Никак это не посторонние дела.

— Я не знаю, — робко сказала Мария Федоровна, потом спросила: — Неужели вы знаете все, что в газете написано?

— А как же не знать, — усмехнулся Тимка. — Конечно, знаем.

— Хочется вам пустить пятнадцатого мая цех?

Тимка рассмеялся.

— Хочется. — Потом добавил с неожиданной серьезностью: — Всей пролетарской стране этого хочется. Значит, и мне хочется, и вам...

— Мне? — спросила она удивленно.

— И вам хочется, — подтвердил Тимка. — Конечно! Вы — трудящийся интеллигент, который с нами идет, разве мы не понимаем?

Марии Федоровне захотелось поскорее уйти от Тимки.

— Я в управление зайду, — сказала она и свернула в сторону.

Глава восемнадцатая

Мария Федоровна подошла к зеркалу. Зеленоватая, гладкая поверхность отразила внешность человека, в лице которого — ночь и день, доброта и злость, усталость и бодрость, в фигуре же — только день, только доброта, только усталость. Мария Федоровна не была кокеткой, но в зеркало глядела часто. Зеркало было отверстием в стене. Казалось, что через это отверстие проникает в комнату свежесть. Зеркало отражало половину комода, один стул, этажерку с книгами, письменный стол, две гравюры. Это все составляло отдельную маленькую комнатку. Зеркало создавало квартиру из двух комнат. Мария Федоровна подолгу смотрела в зеркало, и чем больше смотрела, тем ощутимее становилась вторая маленькая комнатка, тем быстрее окружала она ее, Марию Федоровну, приобретала свойства трех измерений. Эта вторая маленькая комнатка была как бы предназначена для размышлений. Мария Федоровна подолгу простаивала у зеркала.

Сейчас, подойдя к зеркалу, она все застала на своих местах. Маленькая комнатка была такой же, как и всегда, такой же, как вчера. Мария Федоровна отошла от зеркала. Большая комната была также обычной. Казалось, ничего не изменилось со вчерашнего дня. Мария Федоровна вспомнила: вчера вечером пошла она на занятия ликбеза, потом вернулась домой, утром сегодня провела три урока. «Все как обычно», — подумала она. Но все же было различие между вчерашним и сегодняшним днями. Различие это было трудноуловимо, но существенно, как трудноуловимо и существенно бывает различие между прекрасно исполненным портретом и натурой.

Мария Федоровна вспомнила тот день, когда после девятилетней разлуки встретила она Воробьева. Тот день сильно разнился с сегодняшним. Различие это было отнюдь не таким, какое бывает между прекрасно испол-

ненным портретом и копией, нет, тот день, когда встретила она Воробьева, не был похож на сегодняшний, как не бывает похожа цирковая афиша на действительность, на зверей, на укротителей, которых она изображает.

«Многое изменилось», — подумала она и ощутила радость.

В дверь постучали. Вошел Воробьев. Он был возбужден.

— Как вам нравится Кожин? — сказал он.

— Какой Кожин?

— А вот этот сознательный беспартийный. Сейчас я вам расскажу об этом мерзавце. Общественник!..

За стеной мужской голос спросил тихо:

— Итак, ты, значит, уезжаешь?

— Так вот этот сознательный Кожин, — начал Воробьев.

— Подождите, — попросила Мария Федоровна раздраженно.

— Пожалуйста, — голос Воробьева звучал обиженно.

— Итак, ты, значит, уезжаешь?

— Уезжаю, — ответила женщина.

— Приедешь?

— Не знаю, — ответила женщина. — Да и зачем я тебе нужна? Днем не бываешь, ночью не бываешь. Не заметишь даже, что я уехала.

— Оля, — сказал мужской голос жалобно.

— Не нужна я тебе.

Потом на несколько минут голоса стихли, слышно было только, как двигали сундук, как скрипела корзина, как елозили по полу ремни. Потом в коридоре был шум и треск, потом хлопнула входная дверь. Мария Федоровна видела в окно, как сосед ее укладывал чемодан в пролетку, как привязывал корзину к перекладине, как усаживал жену. Наконец все было сделано, они поцеловались. У нее искривилось лицо. Пролетка отъехала. Возница несколько секунд никак не мог выбрать место, где бы объехать кучу щебня: пролетка стояла на месте. «Надо бы сразу, быстро отъехать», — подумала Мария Федоровна, и ей стало больно. От нетерпения она даже несколько раз повторила про себя: «Скорей, скорей». Она вспомнила, как провожала девять лет назад Воро-

бьева, как поезд так же, как и эта пролетка, задержался после того, как уже произошло прощание. Наконец пролетка покатилась. Сосед долго смотрел ей вслед. Ветер трепал его светлые волосы. Вечерело. «Когда он войдет в дом, будет уже совсем темно, — подумала Мария Федоровна. — Нельзя расставаться в сумерки. Утром надо расставаться, тогда легче». Она слышала, как сосед вошел в свою комнату, как наталкивался он в темноте на какие-то вещи. Потом он лег на койку, запел песню. Он пел веселую песню, и было понятно, что он усиленно о чем-то думает. «Началось одиночество», — поняла Мария Федоровна, и ей захотелось пойти к соседу и сказать ему что-нибудь утешительное.

— Ну так вот, — сказал Воробьев, — буду продолжать.

«А должно быть, очень ему тяжело, — думала в это время Мария Федоровна о своем соседе. — Мучается он».

— Вот он мне и говорит, — Воробьев продолжал какую-то начатую им фразу.

— Кто говорит? — спросила Мария Федоровна, очнувшись.

— Кожин мне говорит: «Я бы, говорит, если бы не был таким человеком, давно бы рассказал товарищам о всех ваших убеждениях, о ваших разговорах. Я называю это, говорит, ложным чувством, ложным, интеллигентским стыдом. И возможно, говорит, мне удастся побороть этот стыд и рассказать о вас, потому что руководить монтажом мартена должен человек, страстно желающий пуска этого мартена». Это он мне все говорит, а я выслушал и отвечаю: «Кроме благодарности, ничего питать не буду к вам, если расскажете, только не привирать, а так все можете рассказывать, я не дорожу работой здесь. . .»

— Не дорожите? — насмешливо спросила Мария Федоровна. Ей захотелось, чтобы Воробьев ушел.

— Что с вами? — спросил Воробьев.

— Ничего.

— Вы сердитесь на меня, Мария Федоровна?

— Нет.

Ей захотелось, чтобы он ушел. Бывает так: живет в человеке с детства особенность, черта, свойство харак-

тера. У Марии Федоровны с детства таким свойством была нетерпимость. Если кого невзлюбит, не переносит. Десяти минут не может вынести присутствия этого человека. Начинает грубить ему, вести себя с ним так, как никогда ни с кем себя не ведет. Живет в человеке с детства такое свойство, и по-детски проявляется оно: бурно, без удержу.

— Когда вы сегодня встали? — спросила Мария Федоровна. — Как обычно, в семь часов?

Она не знала, что ему сказать такое, чтобы он ушел, обиделся и никогда бы больше не приходил.

— Мне нужно с вами поговорить, Мария Федоровна, — сказал Воробьев. — Вы сами понимаете, что то, что было девять лет назад, не прошло бесследно...

В дверь постучали. Вошел Тимка.

— Товарищ педагог, — спросил он, — можно к вам?

— Входите, — сказала Мария Федоровна.

— У меня вот какое дело, — сказал Тимка. — Насчет заметки дело. Не поправите вы мне ее? — Он вынул из кармана бумажку и прочел: «За последнее время участились дожди, а крыша сарая, в котором лежат инструменты, протекает. Сколько раз говорили прорабу Васильеву, а он только один дает ответ: «У меня еще перекрытия цеха не готовы, тоже в некоторых местах течь, что же я, мол, могу сделать, — говорит он, — когда людей нет, какие могут все сделать».

— Послушайте, — перебил Тимку Воробьев. — Так неудобно, товарищ. Вы приходите, когда люди отдыхают. Надо все-таки считаться... Очень, очень неудобно.

— Извиняюсь, — сказал Тимка и, прежде чем Мария Федоровна успела сказать что-нибудь, вышел.

— Нахальство у людей. — Воробьев сердито прошелся по комнате. — Так вот, Мария Федоровна, я и хочу сказать, что такие встречи, как та наша, девять лет назад, не могут пройти бесследно...

— Я очень устала, — сказала Мария Федоровна, — у меня болит голова.

— Может быть, мне лучше уйти? — спросил обиженно Воробьев.

— Может быть, лучше.

— Как хотите, — Воробьев снял с гвоздя фуражку и

вышел. Через секунду он вернулся. — Я прекрасно понимаю вас, — сказал он.

— Это хорошо, что понимаете.

Он ушел. «Он не придет больше», — подумала Мария Федоровна и в это время услышала Тимкин голос в комнате за стеной. Она прислушалась.

— Работа идет, Саша, — говорил Тимка. — Очень хорошо работа теперь идет.

— Подогнать землекопные работы надо, — сказал сосед. — Пятнадцатого мая зажжем мартен. А знаешь, монтировать кран-то ведь кончаем.

— Я, Саша, скажи, рюмки не выпил за все время, — произнес Тимка, — честное слово.

— Так и надо, старик. — Марии Федоровне показалось, что Саша дружески похлопал Тимку по плечу. — Так и надо. А от меня, старик, знаешь, жена ушла.

— Бывает, — сказал Тимка неопределенно.

— Три года со мной прожила, а теперь ушла уехала к матери, не нравится ей со мной жить. Вот как, старик.

— Скучаешь? — спросил Тимка.

— Скучаю.

— Так, так.

Раздался чей-то громкий голос.

— Здорово, товарищи. Я сейчас из мартеновского. Последняя ночка, Саша, осталась. К завтрему кончим.

— Последняя? — спросил Саша.

— Да, конечно. Завтра кран готов. Точка. А Голубков, тот, знаешь, ведь в партию собирается. Да что это, Саша, такое? Разве можно оппортунистов в партию пускать?

— Его никто и не пустит, — ответил Саша.

— Кожин тоже в партию собирается. Вот это парень!

— Теперь что же, можно считать, параллельные работы подогнаны, — сказал Саша. — Вопрос о монтаже мартена. Ты с Воробьевым не говорил, Совков?

— На Воробьева надеяться можно, это, брат, во какой инженер, он, понимаешь, молчаливый, это ничего, я тебе скажу, не значит, но преданный делу человек. Он сам не терпит скорей мартен пустить.

— Ладно, посмотрим, — сказал Саша. — Пора уж

небось идти на работу. Так последняя ночь, говоришь, осталась? А у меня жена ушла, Колька.

Через несколько секунд они вышли. Хлопнула дверь.

«Они надеются на Воробьева, — подумала Мария Федоровна. — Они работают ночами. Они надеются на Воробьева».

Она подошла к столу. На столе лежала оставленная Тимкой заметка: «За последнее время участились дожди», — прочла она. Она прочла всю заметку и выправила ее. Потом решительно дописала в конце: «Инженер Воробьев — чужой человек. Он об одном только думает — скорей уйти со строительства. Он считает, что не он начинал революцию, не он должен работать. Надеяться на такого человека нельзя. Потом...»

На другой день Мария Федоровна передала Тимке заметку.

— Я выправила, — сказала она, — ошибок очень много было. Потом я перефразировала. Непонятна у вас была мысль.

— Спасибо. — Тимка хотел что-то добавить, но Мария Федоровна быстро ушла от него.

Глава девятнадцатая

— Подождите, — сказал Воробьев, нагоняя ее. — Вы что же, даже поздороваться не хотите?

— Я вас не заметила.

Они помолчали.

— Вы знаете, что Кожин сделал? — спросил Воробьев.

— Нет, не знаю. — Ей хотелось скорей уйти.

— Донес на меня. Что я ему говорил, он все передал: будто, мол, я против строительства и так далее. Сегодня я имел разговор с главным инженером. Тот тоже мне плел насчет сознательности и революции. И вы знаете, я совершенно спокоен, я работаю честно, и мне нечего бояться, потом...

— Это не Кожин рассказал, это я рассказала.

— Что? — Воробьев отшатнулся.

— Да, я. Не может человек ваших мыслей, ваших настроений руководить такой работой... Понимаете...

руководитель должен быть убежденным человеком: ведь люди, с вами идущие, все отдают... — Она запуталась.

— Ах, вот что! — Воробьев усмехнулся. — Не знал, не знал, что у вас такие способности доносить. Буду знать. Прощайте, Мария Федоровна. — Он отошел на несколько шагов и крикнул: — Я вас презираю, слышите?

— Вы не имеете права, — сказала она взволнованно, — понимаете?

— Идите своей дорогой, — сказал Воробьев грубо, — идите своей дорогой в коммунистический рай.

Он быстро ушел от нее. У входа в контору ему встретился Кожин.

— Арсений Иванович, — обратился к нему Воробьев, — мне надо вам сказать несколько слов.

— Я слушаю.

— Вы знаете, конечно, о том, что меня сегодня вызывал главный инженер, и знаете, о чем он со мной говорил.

— Знаю, — сказал Кожин, — и должен вам открыто заявить, что имел беседу о вас...

— Как, разве это вы донесли?

— Я не доносил, — Кожин нахмурился. — Я сказал то, о чем считал нужным сказать. Я работаю очень много, — продолжал он тихо, — это вы знаете, я работаю и глубоко верю в то дело, которое делаю, которое делает весь коллектив. Согласитесь, что я имею основание беспокоиться за мартен.

— Я честно работаю, — сказал Воробьев.

— Знаю. Я так и говорил, что вы честно работаете. Но есть такие участки работы, где честности одной мало. Руководство монтажом мартена — это такой участок...

— Бросьте, ладно, — перебил Кожина Воробьев, — слышал уже много раз это. Значит, на меня два доноса было. Так, так. А знаете, уважаемый товарищ Кожин, меня, вопреки вашему желанию, не сняли...

— Вас и не нужно снимать. С вами надо совместно работать. Ну, я тороплюсь, — сказал Кожин и вошел в дверь.

— Идите, идите, — крикнул ему вслед Воробьев. Он постоял несколько минут около двери, точно дожидаясь, что Кожин вернется.

Кожин не вернулся. Воробьев отошел. Он не мог идти сейчас в контору. Он шел медленно по площадке. Ему захотелось напиться. Он прибавил шаг и вышел на большую дорогу. Через полчаса он уже входил в трактир. Потребовал закуски и, воровато прячась, открыл бутылку водки, купленную по дороге в магазине. Он выпил сразу целый стакан.

— Со строительства будете? — спросил его официант.

— Со строительства.

— Слухи есть, что приближается оно к нам.

— Как это, приближается?

— А так вот, соединят нас с ним. Все застроено будет до самого города.

— А вы хотите этого?

— Неплохо, конечно. Потому, какой у нас город.

— В раю хотите быть? — спросил насмешливо Воробьев.

— В каком смысле?

В это время в трактир вошли Зотов и Гремучин.

— Вот, обратите внимание, — сказал официант, указывая на них, — удивительный случай. Сколько лет я их знаю — самые трезвые были люди, а теперь что ни день, то выпивши.

— Позовите их сюда, — сказал Воробьев, — скажите им, что инженер Воробьев просит их присесть к его столу.

— Рад вас видеть, — сказал он, когда Гремучин и Зотов приблизились. — Давайте познакомимся, главный инженер Воробьев, самый главный инженер. — Он был уже совсем пьян. — Главный инженер Воробьев, измученный доносами, одинокий человек.

— Этого в наше время сколько хочешь. Чего другого, а доносов сколько угодно, — почтительно сказал Зотов.

Воробьев угостил их вином.

— Выпьем за всех усталых, — сказал он.

Они выпили.

— Строительство к городу присоединяют, — сказал Гремучин. — Как вы на это смотрите? — Помолчал, потом неожиданно сказал: — Я сам хочу на строительство податься.

— Желает на старости лет глаза открыть, — закричал Зотов Воробьеву.

— Я нации хотел защищать, — продолжал, не обращая внимания на Зотова, Гремучин. — А выходит все не то.

— Правда, правда, — перебил Зотов. — Это он правду говорит.

— Идите в коммунисты, — сказал Воробьев, — я советую вам, искренне советую. Все идите, все.

— Имеет человек благородное образование и лета.— Зотов намекал на Воробьева. — Привык человек жить хорошо. И вот, будьте любезны, положение его — мальчишке какому-нибудь кланяйся. В старое время такому человеку первый почет, дело мог такой человек заиметь свое. А теперь. . .

— Откуда вы знаете? — спросил Воробьев.

— Догадываюсь.

— Не поеду я на строительство, — продолжал Гремучин, — времени мне остается мало. Семьдесят лет скоро. Все заканчивается. Трам-тарарам. Конец! — Он привстал, хотел, видно, топнуть ногой, но это не удалось, и он повалился на стул. — А что, — спросил он, — было бы, если бы мне, скажем, двадцать лет, а революции один год? Мне бы сейчас тридцать, а революции — одиннадцать. А?

— Идемте, Александр Иванович, — сказал Зотов, испуганно оглядываясь по сторонам. — Народ на вас обращает внимание. — Он помог Гремучину встать со стула, и они ушли.

Воробьев еще долго сидел за своим столиком. Он заснул сидя. Потом его разбудил официант. Воробьев вышел из трактира, когда было уж совсем темно, и пошел по направлению к строительству. Голова болела. Ветер налетал как-то необычно, со всех сторон. «Через семь лет мне будет пятьдесят, — думал Воробьев. — Ничего у меня нет. Даже жены нет. В старое время я был бы обеспеченным человеком. Я бы жил по-настоящему». Он понял сейчас, что вовсе не любил Марию Федоровну. «Это от бедности, — подумал он и усмехнулся. — Хотелось хоть что-нибудь иметь. Хоть жену. Через десять лет, наверное, умру, ничего не достигнув. Через десять

лет мне будет пятьдесят три года, человек таких лет в былые времена занимал положение...»

Он всегда интересовался возрастом человека, занимавшего место большее, чем занимал он.

— Сколько лет Петру Алексеевичу?

— Пятьдесят семь.

— Так. Значит, в его годы я тоже смогу занять такое место. Мне еще четырнадцать лет осталось.

Это его всегда успокаивало. Теперь же казалось, что все обогнали его. Ему уже сорок три года, а какое место занимает он? Наверное, Кожин скоро получит большое назначение. Вот как теперь делается. Кожин много работает, много читает. Он же, Воробьев, давно уже не читает. Но ведь Кожин — мальчишка, ему, кажется, всего двадцать девять лет.

«Я директором завода был бы в старое время, — подумал Воробьев, — и я, конечно, тогда бы и работал над собой, и читал бы много. А теперь все не то, все не то».

Он видел себя в этот момент. Это было то удивительное состояние, когда человек может отрешиться от самого себя, видеть отчетливо самого себя, идти рядом с самим собой, как идешь рядом с каким-нибудь другим человеком. Он видел: идет по пыльной дороге человек, высокий, горбоносый, один из тех нелепо высоких людей, которым всегда коротки рукава пиджака. Он видел шляпу на своей голове, старую, потерявшую цвет шляпу, купленную чуть ли не пятнадцать лет назад в Москве. Он привык к ней. Они прошли вместе годы военного коммунизма, она и тогда была с ним, покорная, как собака. Он с какой-то резкой настойчивостью не хотел от нее отказаться, хотя тогда никто не носил шляп. Она, эта шляпа, была не то символом, не то просто свидетельством его интеллигентности, его простого и независимого отношения к суровому, страшному времени. Ему стало жаль эту шляпу, — так жалеют человека. Он жалел сейчас и худые волосатые свои руки, которые торчат из рукавов. Он вспомнил, что и спина у него сутулая и некрасивая, и вдруг ощутил любовь к этому человеку, шествующему рядом с ним, и злость к тем, кто обидел этого человека. Нет, это была скорей досада, чем злость. Такая досада, какую вызывают у нас люди, обидевшие кого-то, кого, впрочем, и мы-то сами не уважаем.

«Процесс созидания, — подумал он, — сопровождается всегда преувеличенным представлением о величине созидаемого. Это — радостное и волнующее чувство огромности пространства. А потом, когда они построят, то увидят и сами поймут, что все это отнюдь не так значительно».

Эта мысль не успокоила его. Он, опытный инженер, прекрасно понимал ее лживость. Нет, такого завода не было еще никогда в мире. Это действительно огромный завод. И странно, он ощутил некоторую гордость оттого, что принимает участие в этом строительстве. А ведь по всей стране строят сейчас такие заводы!

Он внутренне оробел при этой мысли.

Ветер бил ему в лицо.

«Зачем я иду туда?» — мелькнула мысль.

Он остановился в раздумье. Потом быстро пошел по направлению к строительству.

Глава двадцатая

За стеной громко говорили.

— Я ему и докладываю, — Совков расхохотался: — «В смысле партии твое дело плохо, Голубков». Он мне начинает выворачивать: «Я, мол, как опытный монтер, никак не мог допустить, что удастся смонтировать кран в восемь дней. При чем, мол, здесь мое поступление в партию». Я ему отвечаю: «Оппортунистов нам в партии не надо...» Он мне говорит...

— Ну, черт с ним, — сказал Саша. — Что ты все о нем. Сделали дело — мартеновский пустим пятнадцатого мая, честное слово, а через полгода завод пойдет. А старик-то наш тебе как нравится?

— Там, брат, — перебил Совков, — кроме старика, такие энтузиасты, что будьте любезны: Шувалов, Муравьев... Три ударные бригады. Я у них вчера собрание проводил. Такие ребята, что я тебе дам! Насчет Копыткина только плохо: в больнице помирает, врач говорит, надежды мало, чтобы встал.

Мария Федоровна постучала в стенку.

— Что вам, соседка? — спросил Саша.

— Найдутся у вас спички?

— Есть, как же не быть. Заходите.

Мария Федоровна до этого не была ни разу у Саши. Комната его совсем не была похожа на ее комнату. У нее все было пухло, плюшево, тяжело, здесь стояли вещи легкие, молодые, выразительные. И Марии Федоровне показалось, что ее комната далеко отсюда, а не за стеной, где-то в другом доме или в другом городе.

Совков поразил Марию Федоровну. Она даже не сразу узнала его, хотя до того встречала часто. На Совкове был черный новый костюм, на голове — не по размеру большая шляпа. Указательный палец его был украшен толстым кольцом из нового золота. Сидел Совков на краешке стула, видно боялся смять костюм. От всегдашней суетливости его не осталось и следа. Совков был неподвижен и даже несколько грустен. Ему было, видно, очень жарко: по худому, скуластому веснушчатому лицу катился обильный пот. В этом нелепом костюме Совков казался не юношей, а маленьким человечком.

— Сними ты эту муру, — сказал насмешливо Саша.— Глядеть на тебя жалко. Что сидишь как истукан?

— Что значит муру? — обиженно сказал Совков и покосился на Марию Федоровну.

— Обратите внимание, какой франт, — сказал с той же насмешливостью Саша Марии Федоровне, указывая на Совкова. — Шляпа какая! Сразу видно, что у человека выходной.

— Шляпа хорошая, — сказала Мария Федоровна вежливо.

Саша и Колька представляли собой интересную пару. Саша был одет, как обычно одевался, но костюм Кольки делал его соучастником какой-то интермедии, какого-то спектакля синей блузы, где два молодых актера изображают: один — рабочего, другой — бюрократа или западного капиталиста.

— Кран-то смонтировали, соседка, — сказал Саша. — Дело сделали на ять. Действительно поработали, но сделали. Пятнадцатого мая пускаем мартен. Кожин определенно ручается.

— Кожин? — спросила Мария Федоровна. — Почему Кожин?

— Инженер Кожин, — сказал Саша, — он теперь привлечен к монтажу мартена.

— А Воробьев?

— И Воробьев тоже работает. Вместе они сейчас работают над монтажом. Пятнадцатого мая хотите вы или не хотите, а мартен зажжем.

— Я хочу, — сказала Мария Федоровна.

— Не сомневаюсь, — улыбнулся Саша.

Она постояла еще несколько минут и вышла.

— Я, брат, штаны сниму, — сказал радостно Колька, когда Мария Федоровна вышла. — Звери, а не штаны, я тебе скажу.

— Нет, пожалуйста, не снимай, — строго возразил Саша.

— Очень они, Саша, режут. Ведь я в трусах, а не в подштанниках.

— Все равно, нельзя.

Колька понимающе подмигнул глазом и присвистнул.

— Зинка? — спросил он.

— Не твое дело.

— Факт, Зинка. Так, так. Ну что же, я уйду.

— Не валяй дурака, — сказал сердито Саша.

— Счастливо оставаться. Ты, Саша, — член партии, ты теперь — секретарь нашей комсомольской ячейки, я тебя должен уважать. Могу я разве тебе одолжение не сделать? А то в самом деле сниму штаны и буду сидеть. Что же, разве нельзя у товарища в трусах посидеть?

— Ну и тарахтелка ты, — сказал Саша с раздражением, поглядывая на часы.

— Уйду, уйду сейчас, не волнуйся. Купи у меня костюм, — предложил он неожиданно. — Тебе в самый раз будет.

— Мне не надо. — В голосе Саши было нетерпение.

— Уйду, уйду. Я и шляпу продам. Только вот кольцо не продам.

— Оно мне и даром не нужно, — расхохотался Саша.

— Кольцо — это подарок, — обиженно сказал Колька. — Я все могу продать, а подарок нет.

— Хочется тебе поскорей от штанов избавиться, — ехидно сказал Саша.

— Кооперация наша, я тебе скажу, — сволочь, а не

кооперация, — начал Колька, но Саша опять поглядел на часы.

— Не грусти, не грусти, сейчас уйду.

И Колька действительно через минуту ушел.

«Надо поговорить с Сашей, — подумала Мария Федоровна. — Он все поймет. Сказать ему: «Вот что, Саша...» Или просто пойти в партийный комитет и предложить свои услуги. Пусть дадут общественную работу».

В дверь соседа постучали. Мария Федоровна прислушалась.

— Войдите, — сказал Саша. — Можно. Входите, входите, Маруся.

— Вот как вы живете! — сказал женский голос.

— Я сейчас со стола уберу! — Голос Саши звучал радостно. — Сегодня я, Маруся, отдыхаю. Вот хочу радиоприемник сделать. Я хочу, Маруся, весь мир слышать, что где происходит.

— Разве можно самому сделать? — спросила Маруся.

— Я все сам делаю, — сказал Саша с гордостью. — Вот стол тоже сам сделал.

— Какой вы способный, — сказала Маруся и засмеялась.

Мария Федоровна улыбнулась, она поняла, что Саша девушке этой очень нравится, и ощутила доброе, поощрительное и вместе с тем завистливое чувство, которое всегда ощущает женщина, наблюдая чужую любовь.

— У вас, Маруся, глаза очень темные, — сказал Саша, — прямо как вишни.

Потом за стеной стали говорить тихо и тихо смеяться. Мария Федоровна вышла из комнаты.

Через несколько минут она вошла в редакцию газеты. Секретарь посмотрел на нее недоверчиво.

— Хочу предложить свои услуги.

— Как? — спросил он, не поняв.

— Я — преподавательница ликбеза...

— А! — радостно закричал секретарь. — Мне рассказывал Тимофей Васильевич, что вы хотите нам помогать. Очень рады!

Он усадил ее за стол и дал пачку рукописей.

ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ

Всеволоду Иванову

I

Дворы, дворы, дворы. И каждая улица кажется двором, и нет различия между дворами и улицей. Нет различия между душной скрипучей комнатой и гнилым вонючим двором. Нет различия между грязным коридорчиком полутемной квартирки и пыльной, разъеденной мочой улицей. Все вместе — окраина старой Москвы.

В хорошем месте, в чистом районе, если извозчик с козел слезет чемодан в квартиру занести, сразу всем не по себе станет. Все сразу видят: вот пыльный вонючий извозчик, вот его громадные сапоги, а вот квартира — вот чистота, вот прекрасное место. Все видят, что не в свою квартиру извозчик вошел и не жить ему в этой квартире, и даже на кухне не жить, потому что грязная кухня чистой квартиры — совсем другой породы, потому что стоит только вымыть эту кухню — и будет она чистая, стоит только открыть окна — и будет она светлая, и воздух будет настоящий, а вот окраину не отмоешь и окна открыть тоже смысла нет: окраина спервоначалу душной строилась, грязной строилась, насквозь гнилой. И если не только легковой, а даже ломовой извозчик в любую комнату окраины войдет — везде ему будет дом родной, и никто не удивится.

Окраина. Пыль. Человеческая мелочь: мастеровые, почтовые чиновники, рабочие, извозчики. Бабы такие, что кажется, будто бы каждая баба — прачка. Мужчины такие, что кажется, будто бы каждый мужчина —

алкоголик. А он, может быть, и не пил никогда. Окраина. Пыль. Высохшее место. И кажется, если снести все эти гнилые домишки, не будет больше здесь никакого поля, не будет здесь больше никогда свежести, не вырастет здесь никогда больше трава. И кажется, что не земля здесь, а пол. Грязный, деревянный, обшарпанный пол. И кажется, что здесь не улица, не какая-то там территория, а закрытое помещение.

Есть окошко в одном доме, из окошка этого открывается вид на прекрасные места. Сиам, Венецию, Андалузию видно из этого окошка. Не имеет значения, кто смотрит в это окошко: телеграфист, или Иван Иваныч Шуткин, или рабочий паренек Хохлов Вася. Все равно и тот и другой видят через это окошко прекрасную жизнь. Телеграфист Иван Иваныч Шуткин видит, как Дон-Кихот проходит под окошком, проходит и вежливо кланяется. Рабочий паренек Хохлов Вася видит через окошко зеленую траву, огромные поля, девушку и много солнца. Окраина окружает его. Закрытое помещение. И окошко будто бы не в доме, а в этом огромном вонючем закрытом помещении. И пыльная трава в этом огромном закрытом помещении растет и никак вырасти не может, и жеребец с соседнего извозчичьего двора, выпущенный этой травой попитаться, тоже бродит по унылому закрытому помещению. Молодость глядит в окошко. Но вот наступает момент, когда в окошко не видно ни Венеции, ни Андалузии, ни поля, ни солнца, ни девушки. Два человека бьют мороженщика за какое-то мошенничество. Кричит человеческим голосом трактир. Поет слепец. Пыль. И нет ни Венеции, ни зелени, ни огромных пространств. Справедливость требует отметить, что Венеция иногда и после этого появляется за окошком. Но опять же по справедливости надо сказать, что это как бы уж совсем не та Венеция, несет от нее мочой, и даже пьяные извозчики на улицах ее появляются, хотя, как известно, никаких извозчиков в Венеции быть не может и не бывает.

Плохо. Скучно. Тошно. Молодость, конечно, не прошла еще. Но какая старая эта молодость! Не восемнадцать лет, а восемнадцать зим, восемнадцать осеней, восемнадцать, умноженные на триста шестьдесят пыльных, вонючих и очень длинных триста шестьдесят. Нет

ощущения молодости, как крепкого бодрого единства, как струны, натянутой до отказа. Восемнадцать, помноженные на сонные триста шестьдесят, какая-то куча из дней, вечеров, сумерек. И в эту кучу свалены и тротуары, и чахлые деревца, и рваные козлы, эти деревца объедающие. И скрип прогнившего пола, и чьи-то пьяные проклятья, и тиканье дрянных часов. Куча. Свалка. Совсем такая, как неподалеку за зеленым домом купца Галкина. Скучно. Тошно. И пьет человек, и бьет человек, и страдает человек.

II

Легенды бродят по окраине. Отнюдь не рыцарские, без блеска шлемов, без благородных поступков, без героизма, без самопожертвования. Герой одной из таких легенд — купец первой гильдии Александр Петрович Галкин.

— Был это очень прекрасный человек. Очень, во-первых, богатый. Во-вторых, характер имел прекрасный. Лавки свои, трактиры, дома. Богатый человек. Дочь в золотой карете венчал. Вообще человек что надо. И был у него родной брат, Сергей Петрович Галкин. Был этот Сергей Петрович неудачник в своей жизни, нестоящий человек, его кроме как Сережкой и не звал никто. Не то чтобы он пьяницей был, а так вообще незавидный человек.

— Непутевый, одним словом.

— Вот, вот, — именно непутевый.

— И служил этот Сережка у брата, у Александра Петровича, в дворниках. Так с семьей и помещался в дворницкой сторожке. В комнаты, конечно, их не пускали никогда. Служил, значит, Сережка у Александра Петровича в дворниках и получал пятнадцать рублей в месяц. Только у Александра Петровича характер был хозяйский. Александр Петрович чистоту любил. И все, что надо, требовал, будто бы это не родной брат, а вообще дворник. Как первое число, приходит Сережка к брату. Тот его спервоначалу поругает: то, мол, не так, то, мол, нехорошо, поругает, а потом деньги начнет платить и торговаться.

— Это как же торговаться?

— А вот так. «Уступи, говорит, что-нибудь с пятнадцати рублей».

— Вот это хозяин!

— Сережка, конечно, артачится. «Не могу, говорит, уступить. Семейство большое, не хватает денег». Александр Петрович настаивает. «Уступи, говорит, для родного брата». — «Не могу, Александр Петрович». — «Ну, для родного брата. Неужели тебе, Сережка, для родного брата рубля жалко?» — «Да не могу, Александр Петрович». — «Уступи, Сережка, прошу тебя, возьми четырнадцать, тем более ты как старший брат должен к младшему снисхождение иметь».

— Молодец. Вот это хозяин!

— Ну вот, у них при всякой получке разговор такой и заводился. Поговорят, поговорят, и уступит, конечно, Сережка. Много не уступит, а полтинник, глядишь, и сбросит. Да и то — деваться ему больше некуда. Семейство у него громадное, кто ему с таким семейством громадным дворницкое помещение предоставит? Никто. А у Александра Петровича дворницкое помещение очень даже хорошее было, просторное. Александр Петрович по причине этого помещения и напирал на Сережку. Он дело понимал. Ну хорошо. Каждый месяц стал Александр Петрович с Сережкой торговаться. Хоть двугривенный, а скостит. Дошли до десяти рублей. Тут это и приключилось: поторговались они, а Сережка возьми да и выйди из себя и Александра Петровича по голове и трахни чем ни попадя несколько раз.

— Ах, зверь какой, родного брата!

— Да, родного брата. Александр Петрович кровью облился, но человек крепкий — выжил.

— Ну и что же?

— Суд был. Судили Сережку. Александр Петрович человек добрый. Он так прямо суду и сказал: я, говорит, его совершенно прощаю, мне одно только обидно: старший он мне брат, должен он меня наставлять, пример показывать, а он меня убить захотел. Я, говорит, его совершенно прощаю, только, говорит, посадите его в тюрьму.

— Посадили?

— Посадили, конечно. Александр Петрович интересовался, нельзя ли Сережке судом присудить у него в

дворниках пять лет по пяти рублей в месяц работать, вроде как бы в наказание. Храбрый человек Александр Петрович. «Я, говорит, его, Сережку, совершенно не боюсь. Человек он хилый, слабосильный. Я знаю, что он против меня умысел имеет, и остерегаться буду. Пусть он за наказание у меня за пять рублей в месяц работает».

— Присудили?

— Нет, не присудили. Суд так сказал: «В тюрьму мы засудить можем, а по пять рублей в месяц работать у нас правов нет присудить». Посадили Сережку на пять лет в тюрьму. Александр Петрович очень жалел. «Если бы я, говорит, знал, что так обернется, я бы с Сережкой без всякого суда бы сделался. Или, мол, я тебя на пять лет в тюрьму сажаю, или работай у меня пять лет по пяти рублей в месяц. Эти, говорит, суды только человеку убыток нанести готовы. В них, говорит, настоящего соображения совершенно нету». Заговорился я с вами. Пора лавку запирать. Колька, ты что же это, черт паршивый! Спать! . .

III

Я родился и вырос на окраине Москвы. Я много бы мог рассказать еще об окраине. Я мог бы рассказать о сыщике, который жил семейно в том же доме, где и я. Все знали, что он сыщик, все видели, как, переодетый, уходил он на ночную работу; все называли его сыщиком, а жену его сыщицей. Он был полный, лысый, вежливый человек. Редко напивался. А когда напивался, спрашивал тоненьким голосом нас, ребят:

— Я сыщик?

— Сыщик, — подтверждали мы.

— Горжусь! — говорил он, улыбаясь.— Горжусь этим.

Как-то раз, помню, он, сильно пьяный, встретил меня на дворе.

— Ты хочешь быть сыщиком? — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, сказал: — Каждый хочет. Но не может. Приобретай характер, — добавил он и погладил меня по голове.

В те времена мне трудно было представить будущую мою профессию. Я не думал о ней, я играл в перья и баб-

ки на пыльном тротуаре Грязно-Ивановского переулка и катался «сзади» экипажей, приезжавших из города с прекрасными людьми в ресторан «Золотой якорь». Это были прекрасные экипажи, все в незасыхающей оболочке мокрого блеска. Люди, ехавшие кутить в «Золотой якорь», не замечали окраины. Люди приезжали сюда поздним вечером или ночью. Они ехали по окраине, как по полю. Они выходили из чистых квартир, из прекрасных помещений, садились в прекрасные экипажи и, вылезая из этих экипажей, попадали в роскошный ресторан. Грязный путь от центра на окраину им был незаметен.

А в гнилых домишках на грязных койках и полатях спали в это время беспокойным сном другие люди и скребли обовшивевшие свои тела. Было тихо в эти часы на окраине. Только четыре трактира, как четыре сердца огромного отвратительного гнилого организма, бились неистово, истерически, с перебоями. Да еще в ночлежных домах Матросова, в этих громадных и страшных домах, отчаянно и пронзительно кричал порою избиваемый человек.

И не было тут ни ветра, ни природы, ни зелени, ни свежести. Было огромное, душное, вонючее помещение. Тюрьма.

IV

Я помню, на старой окраине были свои писатели. В больших домах, где обитало множество жильцов, преимущественно коечников, было всегда несколько писателей. К ним обращались с просьбой написать письмо или прошение. Я не ошибся в терминологии. Это были не просто грамотные люди (грамотность, впрочем, их была невелика), а именно писатели. Потому что для того, чтобы написать письмо на родину, требовалось творческое воображение и талант. Требовались прямые писательские данные, чтобы из нескольких отрывочных мыслей некультурного человека составить длинную и увлекательную повесть о жизни — письмо. Правда, эти повести-письма были очень схожи между собой. Это были печальные и однообразные повести.

Один из этих окраинных писателей обладал настоящим талантом. Он брал по три копейки за письмо, и за-

получить его было нелегко. Основная специальность его была — любовные письма. Он так писал любовное письмо, что отправляющий улыбался от счастья. Многие люди на окраине любили его любовью, следовали по пути, проторенному для них этим человеком. Взявшись вести любовную переписку, он не оставлял дела до того момента, покамест не приходило оно к желанному результату. Он, этот маленький, небритый, грязный человек, умел, очевидно, когда-то по-настоящему страстно и сильно любить.

Звали его Борис Георгиевич, фамилия его была Ушаков.

V

Познакомился я с ним случайно. Напротив ночлежного дома, в пристройке которого он жил, помещался извозчичий двор. Там, в этом дворе, обитал Сенька, человек лет пятидесяти пяти, которого никто и не подумал бы назвать Семеном Петровичем, такая странная и невероятная профессия у него была. Сенька был извозчиком, но ни пролетки, ни санок, ни лошади он не имел, а существовал исключительно благодаря чужому несчастью — запою. В этом большом извозчичьем дворе часто случались запои. Сенька тогда брал у запившего извозчика «выезд» и отправлялся промышлять. Половину денег оставлял у себя, половину отдавал владельцу «выезда». Извозчики его ненавидели.

— На наш запой ты существуешь, — говорили они ему злобно. — Нам запой — горе, тебе — радость. Ты именно нашего запоя дожидаешься, сукин сын.

Сенька был добрым человеком. Он знал, какое горе для извозчика запой. Он знал о том, что долго не может оправиться после этого человек, иногда запьет опять от тоски, от невозможности поправить дела. Сенька знал это, и его очень тяготило то обстоятельство, что существует он благодаря чужому горю.

Меня Сенька очень любил и подолгу со мной беседовал.

— Обижаются на меня люди, — говорил он мне, — справедливо обижаются. Я вредный человек для них. Они на меня только поглядят, и сейчас же представление у

них в смысле пьянства. Напоминаю я им. А с другой стороны, я опять же пользу даю. Так хоть лошадь сыта будет, а так она даром очень свободно простоит.

Как-то раз, после собственного длительного запоя, Сенька попросил меня написать письмо в деревню, письмо о невозможности прислать денег. Я старался, как умел, но Сенька остался письмом недоволен.

— Нет, не то, — сказал он. — Разве это письмо? Придется к Борису Георгиевичу идти. Пятачок отдай, зато письмо будет.

Я пошел вместе с ним. Борис Георгиевич обитал в маленькой комнатке с тусклым окном, к которому раз навсегда прилип унылый пейзаж. Никакой мебели, кроме койки, в комнате не было. На стене висело кривое зеркало, висело оно высоко, почти под самым потолком, и показывало, как пренебрегает хозяин этой комнаты всем, что касается его внешности. Борису Георгиевичу незачем было глядеть в зеркало. От непотребной жизни, от старости лицо его было хитро и неприлично. Одет он был в рваный пиджак с порванными локтями и в студенческие диагоналевые брюки. Он только что, видно, выпил и бойко хлопотал, усаживая нас.

— Три копейки будет стоить написать это письмо, — сказал он Сеньке. Потом, видно, разочарованный Сенькиным молчаливым согласием, обратился ко мне. — Платят, — сказал он, подмигивая на Сеньку. — Им пятачок скажи, им гривенник скажи, будут платить, ценят. — Потом спросил меня: — Сколько вам лет?

— Тринадцать, — ответил я.

— Вы интеллигентный мальчик, я вижу. Небось все думаете и думаете. Много вы думаете? А думать вовсе не требуется. Поверьте мне.

Через полчаса он читал написанное.

— «Любезная жена моя, Александра Кузьминишна. Посылаю вам нижайший мой поклон и горькую весть. Одолела меня тяжелая болезнь ног, тело мое она одолела, эта болезнь, и к сердцу подошла, но сердце тронуть не посмела, так как в сердце этом любовь моя к вам, хозяйка, и никого она не подпускает и подпустить не хочет. . .»

— Так! — перебил Сенька с удовольствием, сразу повеселев. — Очень здорово, великолепно!

— «Месяц меня болезнь мучила, — продолжал читать Борис Георгиевич. — Месяц в постели я лежал и боли разные испытывал, но внимание на это не обращал и думал о вас, Александра Кузьминишна, думал о том, как бьетесь вы с ребятишками без денег. . .»

— Ишь ты, — сказал Сенька и утер глаза. Он был сентиментален.

— «И теперь думаю об этом очень. Очень горько становится. Был бы я пьяница какой, из-за пьянства не присылал бы денег. . .»

— Именно, был бы я пьяница, — сказал Сенька, забывший в этот момент о том, что он действительно пьяница и что именно по причине пьянства и не посылает денег. — Именно что не верьте!

— Что? — спросил Борис Георгиевич.

— Напишите, — сказал, все больше воодушевляясь, Сенька, — напишите, Борис Георгиевич, чтобы она не верила, если начнут рассказывать, что я именно пьяница. Не верьте, мол, Александра Кузьминишна, ни в каком случае не верьте.

— Напишу, — снисходительно сказал Борис Георгиевич.

Когда было закончено письмо, Сенька заплатил деньги и сказал мне:

— Ну, пойдем, друг милый.

Я хотел было идти, но Борис Георгиевич не отпустил меня.

— Посидите, — попросил он.

Потом достал бутылку водки и строго сказал мне:

— Вам не предлагаю, вы еще юноша.

Он налил себе полстакана и выпил, морщась.

— Франция, — сказал он, — страна классических революций. Интересно отметить, что в характере французского народа есть много такого, что дает возможность иронически относиться к событиям. Их революции носят поэтому, я бы сказал, иронический характер. Вся карьера Наполеона проникнута большой иронией и даже насмешкой над идеалом свободы. . .

Он сказал еще несколько подобных фраз, поперхнулся, закашлялся, глаза его наполнились слезами.

— Вы интеллигентный человек, — сказал он мне и налил еще полстакана водки, — будем говорить открыто,

как взрослые люди. Разрешите, я, как бывший юрист, сделаю вам несколько замечаний о праве. А как бывший человек — несколько замечаний о жизни. Да-с.

Я ушел от него поздно вечером. Он рассказал мне свою историю. Я хорошо и надолго запомнил ее.

Провожая меня, он сказал:

— Я ни о чем не жалею, говорю вам, как товарищу, я ни о чем не жалею, я и сейчас люблю ее. Ее звали Вера Михайловна.

Он держал меня за руку, дышал мне в лицо страшным перегаром водки.

Я хотел поскорее уйти. Мне не терпелось поскорее рассказать товарищам о том, что я познакомился с Борисом Георгиевичем, два часа провел у него, у этого таинственного и странного человека, произносящего непонятные слова, вызывающего у всех на окраине смех и удивление, у этого отчаянного пьяницы, про которого на окраине говорили, что он перепьет любого. Он вообще вызывал всеобщий интерес, этот писатель. На окраине было несколько таких людей из спившихся «бывших». Истории их были известны всем. Один Борис Георгиевич был таинственным. Теперь я владел его тайной. Я был рад. Я торопился уйти.

— Ее звали Вера, — повторял он, — она была тоненькая брюнетка, похожая на японку. Она была маленького роста, но издали казалась почему-то высокой. Я каждый день по ней скучаю. Вот уже сколько лет прошло, а я каждый день скучаю. У нас было две комнаты. Я хорошо их помню. Я помню, около тумбочки стояли ее туфли. Бывало, я ей говорю: «Верочка, туфли твои. . .» Она полюбила другого, ушла от меня.

Я вырвался от него.

По дороге к дому мне встретился Сенька. Он был задумчив. Какое-то сомнение, видно, терзало его немудреную душу.

— Три копейки, — сказал он, останавливая меня, — а долго ли? Раз, раз — и три копейки. Живет неплохо. Седоков не ждет. Лошади не кормит. Это что же, плохо, скажешь?

— Вы о чем это? — спросил я, недоумевая.

— А ведь я сам грамотный, — продолжал свои

размышления Сенька, не отвечая на мой вопрос. — Я сам могу писать. Двадцать человек придет?

— Не знаю, — сказал я.

— Ну, пятнадцать. Это сорок пять копеечек, и лошадь не корми. И занятия — не на морозе стоять, сиди себе в комнате и пописывай.

Он неожиданно спросил, обращаясь ко мне, кажется, в первый раз за все время нашего знакомства на «вы»:

— Вы могли бы меня подучить?

— Как? — не понял я.

— Вы бы могли меня подучить письма писать такие? — И, не дожидаясь ответа на свой вопрос, сказал: — Тут, положим, чего учить, тут надо свое собственное соображение иметь, свои ходы. Именно, где открывается, где закрывается. Это надо Бориса Георгиевича попросить, а вы не сможете подучить.

И, не попрощавшись со мной, он зашагал прочь.

VI

Я очень подружился с Борисом Георгиевичем. Я не знал тогда, что буду писать историю его жизни, и интересовался им бескорыстно, как давно уже никем интересоваться не могу. Он не являлся для меня «материалом», я не изучал его жизни и, может быть, потому так хорошо запомнил ее.

Мы были большими друзьями. Как-то раз я упросил родителей одного моего товарища принять Бориса Георгиевича. Отец товарища был врачом, его знали и уважали на окраине, сам знаменитый купец — богач Галкин приезжал к нему в гости и заискивал перед ним.

Борис Георгиевич вначале наотрез отказался идти в гости, потом, когда я умолил его, он внимательно стал приводить себя в порядок: починил локти пиджака, подкрасил чернилами веревки, заменяющие шнурки ботинок, побрился.

В доме доктора нас встретили с любопытством. Борис Георгиевич краснел и мучился.

— Франция, — сказал он, — это великая страна не только потому, что. . .

Он долго говорил о Франции, потом сбился и раза

два произнес неприличные слова. Руки он позабыл вымыть, и теперь всем было видно, как ужасающе они грязны. Один раз он даже совсем нехорошо выразился, и, когда спохватился, слезящиеся глаза его наполнились мукой. Он запутался окончательно вскоре и стал вести себя нагло.

Товарищ вызвал меня в коридор.

— Папа хочет, чтобы вы ушли, — сказал он мне.

И мы ушли. Вечерело, таял снег. Стояла осень, похожая на весну. Заборы пахли свежестью леса. Мы долго шли молча, наконец Борис Георгиевич сказал:

— Я к ним еще раз пойду.

— Не стоит, — сказал я.

— Пойду, чтобы доказать. Я им докажу, будьте спокойны.

Что он хотел доказать — так он мне и не выразил.

Я давно уже пытаюсь написать правдивую повесть о жизни Бориса Георгиевича Ушакова. И только теперь решился сделать это. Вот какие обстоятельства меня побудили.

Как-то раз, по заданию одной редакции, я интервьюировал одного заслуженного человека, моего приятеля. Я должен был узнать у него, что в нашей жизни он считает самым значительным. Он сказал мне буквально следующее:

— Предусмотрено до меня, все места заняты, жизнь стара, как сама старость. Вас интересует, что самое поразительное для меня в нашей жизни? Для меня самое поразительное то, что я стал молодым. Мне кажется, что все мы живем жизнью мальчиков, жизнью, в которой все возможно. Многие из моего круга еще не замечают того, как интересна, как умна наша жизнь. . .

Я слушал этого человека и вспоминал Бориса Георгиевича Ушакова.

Если бы Борис Георгиевич Ушаков сидел сейчас против меня, если бы я обратился к нему с тем же вопросом, с каким обратился к заслуженному моему приятелю, Борис Георгиевич Ушаков, я не сомневаюсь, ответил бы то же самое. Он был умным человеком, этот Борис Георгиевич Ушаков. Он был тонким и интересным человеком. Он не нашел себе применения в дореволюционной жизни. Он ушел в любовь для того, чтобы избавиться от скуки

жизни, от тоски. Ему казалось, что любовь — это то единственное молодое и настоящее, для чего стоит жить. Он неинтересно прожил свою жизнь, он погубил ее. И теперь, слушая моего приятеля, я твердо решил написать правдивую повесть о жизни Бориса Георгиевича Ушакова.

VII

Сенька зачастил к Борису Георгиевичу. Он приходил обычно днем, но засиживался до вечера. Некоторое время они говорили о том о сем, потом Сенька вынимал из кармана принесенный лист бумаги. Начинался урок. Сенька старательно выписывал буквы, Борис Георгиевич диктовал.

— Я, Маруся, люблю вас очень, — диктовал он. — С того момента, как я увидел вас, я понял, что жить без вас не могу.

— Увидел вас, — шептал Сенька, дописывал фразу до конца, прочитывал:

— Я, Маруся, люблю вас очень даже, — читал он.

— «Даже» не нужно, — говорил Борис Георгиевич.

— Нужно, — утверждал Сенька, — а то не по-нашему как-то выходит.

Он был прав. Борис Георгиевич был интеллигентом, клиенты же его — мастеровые, сапожники, портные, вообще простые люди. Борис Георгиевич не знал, что клиенты его не раз подставляли в письма слова вроде «даже», «совершенно». Они восторгались письмами Бориса Георгиевича. Они говорили на свиданиях его сложные любовные фразы, они почти любили его любовью, но все же иногда вставляли свои слова в написанные им письма.

Был случай, когда Борису Георгиевичу пришлось вести одновременно переписку и за него, и за нее. Борис Георгиевич был в ударе, он писал о солнечном дыхании любви, о чувствах, которые рвутся, как нити, о розах. Клиент был кузнецом, возлюбленная его — швеей.

Благодаря Борису Георгиевичу они долгое время жили в мире чужом и прекрасном. Переписка сыграла роль. Они поженились. И тогда-то окраина вступила в свои права. Душная комната, где за стеной пьяный сосед-инвалид днями мучил больную гитару. Вонь.

Прекрасный мир был потерян. Они искали его и не находили. Иногда и он и она говорили заученные по письмам, прекрасные фразы Бориса Георгиевича, но фразы эти были теперь одинокими, они терялись в гвалте кухни, они пахли нехорошим запахом комнатушки.

Тогда и он и она пришли к Борису Георгиевичу. Муж был высоким плотным человеком с постаревшими от работы руками, с лицом серьезным и растерянным. Жена — тоненькая, миловидная женщина. Они пришли будто бы в гости, но в самом деле, чтобы попросить вернуть им прекрасный, ушедший от них мир. Они, сами того не сознавая, полагали, что, как только увидят Бориса Георгиевича, этого сухощавого, лысого, небритого человека, созданный им прекраснейший мир сразу вернется к ним и вернутся красивые слова, так легко выбегающие из-под его пера.

Они долго сидели и ждали, но так ничего и не дождались. А когда пришли домой, муж впервые избил ее, избил жестоко, точно это не он сидел с ней две недели назад в саду и произносил тщательно заученную фразу: «Цветет акация. Вы не удивляйтесь, Поля, этой акации нет, но она цветет в моем сердце. Это потому, что я люблю вас».

Он запоминал эту фразу долго, с трудом заучил ее под аккомпанемент больной соседской гитары. А теперь две недели спустя бил жену под аккомпанемент той же гитары.

Окраина вступила в свои права.

После первой отвратительной ссоры они долго не спали. Они думали о том, что чу́дное время уже не вернется, что чу́дные моменты уже ушли навсегда, что им, рожденным на отвратительной голодной окраине, больше не придется уже переживать эти чу́дные моменты, что их отцы и матери жили так же, как живут теперь они, что она, как ее мать, ворует обрезки в мастерской, где работает, и в дальнейшем будет воровать наглее и лгать нахальнее, а он, так же как и отец его, пьет, дебоширит. Они думали о той жизни, которая им предстоит, и знали, что иной эта жизнь не будет.

Через два года, когда у нее было уже двое детей, его выгнали с работы за пьянство и гордый характер. Она занялась проституцией.

Я помню, как на углу нашего переулка ее не раз жестоко бил околоточный надзиратель Борис Иванович Шипов, любящий порядок. Я помню ее хорошо. Она одевалась чисто, говорила иногда какие-то непонятные слова и за необыкновенность и отличие от других проституток окраины не раз допускалась даже в ресторан «Золотой якорь». Его через год убили в драке. Дети несколько месяцев бродили по окраине, потом исчезли куда-то.

...Сенька дописывал до конца письмо и, аккуратно сложив его, уносил домой, где прилежно учил наизусть.

— Как вы предполагаете? — спрашивал он Бориса Георгиевича. — Может быть толк?

— Вы завидуете моей славе, — говорил Борис Георгиевич, — но зависть сама по себе многого дать не может. Я заведую любовью окраины потому, что считаю любовь самым великим и радостным чувством, потому, что считаю, что любовь — это единственная в нашей жизни радость, потому, что я сам любил и люблю. Вы любили когда-нибудь?

— Сколько раз! — отвечал Сенька.

— Значит, ни разу, — беспощадно колол Сеньку Борис Георгиевич.

Он насмехался над Сенькой, говорил ему иронические сложные слова, вообще он презирал Сеньку. И как-то раз Сенька, вопреки своей всегдашней почтительности, закричал:

— Ты что смеешься, черт паршивый?! «Любили, любили»! Ты на морозе постой, седока подожди часа четыре, ты чужую лошадь подожди неделю, да так, чтобы у тебя брюхо подвело. «Любили»! Сукин сын!

— Убирайтесь вон! — закричал Борис Георгиевич. — Хам, мужик!

— Какой не хам нашелся! Ты бы лучше так и сказал человеку: мол, способностев у вас нет — и все тут. Ты бы лучше так сказал, чем деньги-то брать даром.

Впрочем, вскоре они помирились.

VIII

— Я могу написать письмо, — сказал Борис Георгиевич и улыбнулся. Ему очень понравился паренек.

— Пожалуйста, — сказал паренек. Он был еще очень

молод, на щеках горел молодой румянец, глаза были задумчивыми, умными.

— А очень вы ее любите? — спросил Борис Георгиевич.

— Очень, — сказал паренек и совсем не смутился, как ожидал Борис Георгиевич, а, наоборот, стал серьезным.

«Очень хороший парень, — подумал Борис Георгиевич с удовольствием. — Давно ко мне такие не приходили». Он достал бутылку, налил полстакана и стал сочинять письмо.

— Как зовут ее? — спросил он.

— Вера.

Борис Георгиевич написал: «Милая Вера», потом зачеркнул и написал: «Милая моя Вера».

Он писал это письмо долго. Он старался написать его очень хорошо. Паренек сидел и терпеливо ждал. Когда Борис Георгиевич прочел ему письмо, он сказал:

— Хорошо написано. Только вы это все от себя, а ведь я тоже хочу ей кое-что сказать.

Борис Георгиевич не рассердился. Ему даже понравилась такая самостоятельность паренька.

— Вы можете быть очень счастливы, — сказал он пареньку, когда кончил писать. — Я вам говорю, вы мне поверьте. Теперь подпишитесь.

— Да уж подписывайтесь сами, пишите: Николай.

И Борис Георгиевич подписал письмо именем Николая и даже сделал завитушку.

Николай пришел через неделю. Борис Георгиевич очень обрадовался.

«Мне очень нравится этот парень, — подумал он. — Я чувствую, что он из тех, которые могут по-настоящему любить».

Он спросил Николая:

— Ну как, идет дело?

— Идет, — ответил Николай, и Борису Георгиевичу показалось, что по лицу его проскользнула усмешка. «Стесняется, — подумал он. — Чистый, милый мальчик».

Он почти любил этого паренька. Он почти любил Веру, которой шли письма.

— Теперича, — сказал паренек, — напишем другое письмо.

Другое письмо Борис Георгиевич написал с таким же воодушевлением, как и первое. И, как в первый раз, Николай потребовал, чтобы и его мысли излагались в письме; как и в первый раз, Борис Георгиевич подписал письмо именем Николая.

С тех пор Николай стал бывать часто. Он ни разу не говорил Борису Георгиевичу о том, как любит Веру, но Борис Георгиевич уже не сомневался, что любит он ее глубоко. Борис Георгиевич привязался к этому пареньку. Остальные любовные переписки выполнял он теперь механически, без интереса, за деньги. Зато письма Николая писал так, как никогда еще не писал никому. Впервые он потерял уверенность. Ему все казалось, что написано плохо, он по нескольку раз переписывал письмо, а однажды сделал то, чего никогда бы раньше не сделал: разыскал письма к своей Вере, письма, которые он писал ей после того, как они разошлись, которые она ему потом возвратила и которые лежали в сундучке уже тридцать лет. Он перечитал эти письма, взял из них много фраз и вставил в письмо Николая. И оттого, что возлюбленную Николая тоже звали Верой, фразы ложились без изменения.

В этот день он много пил. Он писал письмо за Николая, и ему казалось, что фразы, которые он взял из своего письма, сразят возлюбленную Николая. Он жертвовал. Он писал:

«Я люблю тебя, моя Вера. Вера, родная, вернись, мне так тяжело без тебя. Вернись, Вера, мне душно». И перечитав, только заменил слово «вернись» словом «приди».

Он вспомнил тот день, когда Вера была очень нежна с ним, и отложил письмо. Она стояла сейчас перед ним, тоненькая женщина, похожая на японку, и улыбалась. Он вдруг услышал ее голос. Этот голос он узнал бы из тысячи, из сотен тысяч других голосов. Это был необыкновенный голос — ласкающий, нежный.

— Вера, — сказал он, — Верочка.

Через час пришел Николай.

— Я сделал для вас то, чего никогда ни для кого бы не сделал, — сказал ему Борис Георгиевич. — Вот, возьмите письмо. Это очень хорошее письмо. Мы сейчас впишем сюда то, что вы хотите.

— Спасибо, — сказал Николай.

— Когда вы получите ответ, сейчас же мне скажите и принесите ее письмо. Я буду ждать.

Он поймал себя на мысли, что будет ждать ответа как бы от своей Веры. Казалось, на это письмо должна ответить не неведомая какая-то девушка, а его Вера. И не Николаю, а ему, Борису Георгиевичу Ушакову, должна ответить.

— Посидите со мной, — попросил он Николая. — Тоска.

— Хозяева заругают, — ответил Николай и ушел.

А Борис Георгиевич стал ждать письма. Он давно уже не ждал письма от Веры. Когда-то он думал о том, что вот она напишет ему, даже придет к нему и они снова будут счастливы. Он гнал от себя эти мысли, много лет гнал от себя такие мысли, знал, что этого не может быть. А теперь, когда ему уже под шестьдесят, когда он совсем опустился, болен и задыхается, теперь такие мысли совсем смешны. И все же он ждал. Через час он так привык к мысли, что она должна прийти, что даже сбегал в парикмахерскую побриться. Он торопил парикмахера, так как боялся опоздать, боялся, что она придет и не застанет его.

Когда он подходил к дому, ему показалось, что она уже пришла и ждет. У него замерло сердце.

Ее не было. Он бросился к соседям, спросил, не приходил ли кто к нему. Ему ответили, что никто не приходил. Он стал прибирать свою комнату так поспешно, точно договорился и знал, что сейчас к нему обязательно придут. И в момент, когда он безуспешно пытался стереть со стены сальное пятно, вдруг понял, что никто к нему не придет, никому-то он не нужен.

Никто не придет. Это ясно. Вера давно уже забыла о нем. Смешно даже думать о ней. Но все же он не бросил уборки, все прибрал, попытался сделать комнату приветливее, чище. Все же он ждал. Это было то удивительное и редкое состояние человека, когда не слушает он рассудка своего, не поддается собственным мудрейшим убеждениям. Это было состояние, похожее на состояние ребенка, настойчиво, упрямо, долго, вопреки всему, твердящего: «А я хочу. Я хочу».

— Я хочу, чтобы она пришла, — твердил Борис Георгиевич. — Я хочу.

Он метался по своей комнате, прибирал ее. Неожиданно он упал. Ему показалось, что он поскользнулся, но встал он с пола только через час. Ему было дурно, голова горела, он с трудом дотащился до своей койки. «Я болен, — подумал он, — я умру». И вспомнил, что, когда раньше случалось ему прихворнуть, Вера заботливо укрывала его, сидела около него, читала ему. Около постели стояла тумбочка, и на ней всегда было несколько книг.

Он протянул руку — никакой тумбочки не было. Из соседней комнаты доносилась ругань, там играли в карты азартные и бедные люди. Там, за стеной, был самый отвратительный нищий азарт: спор шел о пятачке.

Никого не было, он был один. И не только в этой комнате, но во всем мире.

Вдруг ему пришла в голову мысль, которая еще никогда не приходила: может быть, Вера давно умерла? Он вскочил с койки, огненные круги метались перед его глазами. Он упал опять. Ему никогда не приходила в голову такая мысль. Он почувствовал, как страшно одинок, понял, что никогда еще не был таким одиноким. Он знал давно уже, что Вера не вернется к нему, он знал, что потерял ее навсегда, но мысль о том, что ее нет в живых, что ее вообще нет, делала мир этот совсем уж невыносимым. Он не мог сейчас себе представить, как же существует без нее этот мир, как он, Борис Георгиевич Ушаков, может жить в этом мире, зная, что Веры нет. Он испытывал чувство сиротливое, ужасное, такое же, как то, какое он испытал в детстве, когда умерла мать.

Вера была сейчас его матерью. Матерью, которую можно не видеть долгие годы, но, узнав о смерти которой, чувствуешь, как пуст мир, одинок ты, как тяжело, невыносимо тебе будет жить. Он вспомнил, как Вера лечила его, когда он бывал болен, как поила малиной, какие ласковые и теплые были у нее руки.

— Мама, — сказал он.

Странно и дико было бы кому-нибудь услышать это слово от хилого, грязного, старого человека. Странно и дико прозвучало оно здесь, в запущенной комнатенке, за шаткой стеной которой до и после этого слова раздавались отвратительные ругательства, порождаемые нищим азартом. И к кому оно относилось — к Вере, или матери,

или, может быть, ко всему страшному миру? И почему слышались в нем и просьба, и упрек?

Он задыхался. Отвратительная тошнота подступала к горлу. Ему показалось сейчас, что все, что было в прошлом, вся его жизнь с Верой — упреки, страсть, ссоры, ревность, недомолвки, — все, что вспоминал он всегда, — все это было отнюдь не главным, а второстепенным. Главное же — это теплые руки, это моменты, когда они, он и Вера, тихие, радостные, сидели в комнате, прижавшись друг к другу. И главное — это то, что сейчас он так одинок.

— Я стар уже, — сказал он. — И, представьте себе, я заболел. И, представьте себе, никого нет. . .

Он прислушался — за стеной ругались. Ему захотелось пойти туда. Он встал, но тут же опять свалился. Сил не было.

— Я не жалею, — сказал он громко, — я ни о чем не жалею. Я жил по-настоящему. Пусть другие играют в преферанс, пусть другие живут спокойно. Я ни о чем не жалею.

Он потерял сознание, а когда очнулся, за стеной было тихо: там спали. Он не мог больше оставаться в своей комнате, вышел на улицу и пробродил всю ночь.

Ветер рвал его пальтишко. Он шел и думал о том, что скоро, очевидно, конец всему. Он попытался сейчас вспомнить прошлое, как вспоминал его часто, но не смог. Ему показалось, что у него, у Бориса Георгиевича Ушакова, вообще не было никакого прошлого. Разве этот страшный хаос похож на прошлое настоящего человека? Он стал думать о Вере и, как всегда, представил себе ее молодой тоненькой женщиной, похожей на японку. Но, позвольте, ведь ей уже тоже около пятидесяти лет! Наверно, у нее уже взрослые дети, сын — какой-нибудь там неудачливый, второй год проваливающийся на конкурсных экзаменах в университете. А она думает о своем сыне, только сыне, и, наверное, давно уже позабыла о нем, о Борисе Георгиевиче Ушакове.

Он бродил всю ночь. Утром, когда приплелся домой, увидел нескольких клиентов, которые дожидались его терпеливо.

— Разойдитесь, — закричал он им. — Все кончилось!

Он кричал и ругал этих клиентов. Они, испуганные, ушли. Сенька же остался.

— Это в каком смысле все кончилось? — спросил он тревожно.

— Уйди, — попросил Борис Георгиевич.

— Заболел? — спросил Сенька, вглядываясь в Бориса Георгиевича. Потом сказал тихо, просяще: — Передайте мне дело, Борис Георгиевич. Место известное. Я буду писать. Я уже научился.

Он говорил долго. Борис Георгиевич не слушал его. Наконец он выгнал его. Голова кружилась, тошнило. Он вышел на улицу. Ноги подкашивались. Он прошел несколько шагов. Керосиновый фонарь встал на его пути. Борис Георгиевич обнял этот фонарь, как друга, как женщину, и потерял сознание. Его подняли и отвезли в больницу для бедных. Там через несколько дней он умер.

IX

Этим и заканчивается история Бориса Георгиевича Ушакова.

За день до его смерти я навестил его. Тут, в больнице, окруженный белым, он показался мне совсем старым человеком.

— Довольно хорошо здесь, чисто, кормят вполне, — сказал он. — Я рад.

Я подсел к нему.

— Я не жалею, — сказал он тихо, — я ни о чем не жалею. Ну, что бы было, если жил бы я иначе? Тоже ничего бы не было. Я играл бы в преферанс, успевал бы по службе. И все. Мало! Мир стар. Все распределено. Все стоит на своих местах. Мораль, люди, людские отношения. Что делать в этом мире новому человеку? Зачем рождаются люди? Когда я начал понимать, когда я вырос, я испугался. Я увидел: множество людей делают одно и то же. Мне пояснили — это мораль. Я увидел: множество людей делают одно и то же. Мне объяснили — это правила. Я испугался. Я увидел: тоска владеет всем нашим старым миром, тоска.

Я перебил его:

— Вы любили ее? Вы любили Веру Михайловну?

— Не знаю, — сказал он. — Не знаю. Теперь ничего не знаю.

Потом вдруг рассмеялся насмешливо, зло.

— Что вы? — спросил я удивленно.

— Вот я все говорил о Франции. Вы часто слышали... Это моя единственная и любимая тема была раньше. Франция была моей единственной темой, так же как тема о людской неблагодарности была единственной темой одного моего приятеля — адвоката; так же как тема о долге и чести была единственной темой другого моего друга-приятеля — инженера... Каждый в нашем обществе имел свою собственную тему, как имел собственную палку, собственную собаку, собственный костюм. Каждый имел одну тему, собственную. Вот и все.

Когда я уходил, он сказал мне:

— Если увидите Николая, скажите, чтобы он поискал, он молодой, пусть поищет. Мне кажется, он может найти настоящее.

— Что поищет? — спросил я.

Но Борис Георгиевич не пояснил.

— Вы еще мальчик, — сказал он мне ласково и строго. Он никогда так не говорил со мной раньше. Он всегда говорил со мной по-товарищески, будто мы были одного возраста, а теперь говорил, как с мальчиком. Я впервые увидел в нем старшего человека, человека, годившегося мне в отцы. Я робко отступил от него. Я теперь ни за что бы не спросил, любил ли он Веру Михайловну. Я понял: он при смерти, ему конец.

На другой день он умер. За гробом его никто не шел. Впрочем, путь от больницы до кладбища был очень коротким, и гроб везли не медленно, а быстро, как вообще везут гробы одиноких людей.

Вечером того же дня я долго бродил по окраине. Я вглядывался в лица встречавшихся мне женщин, и каждая пожилая женщина казалась мне Верой Михайловной, и к каждой я хотел подойти, сказать:

— Сегодня в больнице для бедных умер Борис Георгиевич Ушаков, которого вы любили.

И сочинил ответ женщины:

— Я никогда не любила его. Это было в молодости. Молодость вообще полна ошибок.

Я долго бродил по окраине. Сенька встретился мне. Я рассказал ему о печальном конце Бориса Георгиевича.

Сенька был потрясен.

— Решительный и смелый был человек, — сказал он сокрушенно.

Я задал Сеньке вопрос, который мучил меня:

— Как вы думаете, пожалел ли он о том, что та́к прожил жизнь?

Сенька не понял вопроса.

— Чего ж ему жалеть? Жил, как все люди. Он неплохо жил, одной водки выпил на большие сотни. Он жил хорошо.

Я попрощался с Сенькой и пошел домой, мне надо было торопиться. Завтра я должен был сдать сочинение на тему о любви, на тему о том, можно ли считать Татьяну Ларину идеальной русской женщиной или таковой ее считать не приходится. Я долго писал это сочинение.

«Она безумно любила его, — писал я, — она любила Онегина, это была идеальная, святая любовь».

Я знал: завтра все мои товарищи представят свои сочинения, и во всех этих сочинениях будут написаны те слова, которые я сейчас пишу. Но ведь все это — ложь. Образ Бориса Георгиевича стоял перед моими глазами. Я понял тогда впервые, что жизнь значительнее и сложнее, чем представлена она в книгах, и что есть две Татьяны Ларины — одна гимназическая, школьная, другая настоящая, что есть две Лизы Калитины — одна школьная, гимназическая, другая настоящая. Мне противным показалось мое сочинение. Я отложил его и пошел бродить.

Я долго бродил по окраине. Когда проходил мимо дома Галкина, увидел, что дом сильно освещен. Множество экипажей стояло у подъезда. Околоточный надзиратель Шипов хлопотал и наводил порядок. Я остановился, представил себе тех противных людей, что пировали сейчас в этом доме, их прочные лица, прочную мебель, прочную жизнь. Я увидел их прочных лошадей, прочные экипажи. «Там свадьба», — вспомнил я то, о чем говорили на окраине уже два месяца, и возмечтал, будто привожу на эту свадьбу Бориса Георгиевича.

— Разойдитесь! — кричу я всем этим противным лю-

дям. — Вот человек, который сядет на самое почетное место!

И вижу, как Борис Георгиевич проходит на самое почетное место. И все ждут, что он скажет сейчас какие-то значительные, замечательные слова.

Борис Георгиевич молчит. Он ничего не может сказать, он сам ничего не знает. И все смеются над ним.

— Подождите! — кричу я. — Он сейчас скажет.

Но проходит минута — он ничего не говорит, он молчит.

Нас выгоняют.

Я быстро ушел от дома Галкина и на углу своего переулка встретил Сеньку. Он не заметил меня. Он шел и бормотал какие-то слова. Я прислушался и понял: Сеньку все еще гложет мысль стать писателем, найти легкий хлеб.

— Милая моя Маруся, — бормотал Сенька. — Я пишу вам, а сердце мое ноет.

НЕРАВНЫЙ БРАК

Глава первая

1

Если бы Валерий Евгеньевич Лебедев и Таня Машина были в одном возрасте и познакомились детьми, они, очевидно, не заинтересовались бы друг другом. Валера Лебедев был мальчиком тихим и вежливым. Таня бойкостью своей приводила в восхищение даже отчаянных озорников, вокруг нее всегда бывало шумно, в каждую игру она вносила немалый азарт. Валера Лебедев никогда не лгал; Тане же к вечеру все, что случилось с ней за день, начинало казаться незначительным и удивительно тусклым, и перед тем, как отправиться спать, она рассказывала отцу и матери всякие небылицы.

— Позволь, позволь, — перебивал ее Иван Алексеевич, — то, что ты через ручей перемахнула и не сломала при этом ноги, я еще как-то могу допустить, но откуда волк взялся в Ростокинской роще, когда там лет уже двадцать и следов волчьих нет?

В конце концов Тане надоело такое постоянное недоверие, и она как-то привела к родителям свидетеля, который целиком и полностью подтвердил все на этот раз сказанное ею. Свидетель был на год моложе Тани, и звали его Федей. Немое обожание и покорность появлялись на его перемазанном личике, когда он глядел на Таню. Федя был сынишкой Бельчикова, начальника почтового отделения в Комарове, и тот при встрече не раз говорил Ивану Алексеевичу:

— Удивляюсь, как вы моего Федьку не прогоните? Он же совсем к вам переселился.

Впоследствии Бельчикова перевели из райцентра Комарово в соседний город, и Таня лишилась постоянного и очень надежного свидетеля. Но тут-то и произошло то, что очень удивило ее родителей. Необходимость в свидетеле исчезла: Федя Бельчиков точно увез в город Танину бойкость, девочка сделалась задумчивой, немногословной и оживлялась только тогда, когда Федя приезжал в Комарово. А приезжал Федя часто, используя каждую возможность, благо областной город был невдалеке. Вскоре в Комарове привыкли к тому, что Федя все свободное время проводит в доме Машиных; привыкли к тому, что между ним и Таней установились те отношения, которые обычно впоследствии приводят к браку.

Валера Лебедев в свидетелях, которые должны были подтверждать правдивость его рассказов, не нуждался. С первых классов он увлекся математикой, и учителям Озерковской школы было ясно, что этот худенький мальчик обрел свой жизненный путь.

В школе Валера был очень приветливым и робким, но мало кто знал, что дома он умел, как никто, утихомирить разбушевавшегося пьяницу отца, защитить мать от побоев. Отец Валеры, часовой мастер, высокий, худой человек с большим, мясистым, пористым носом, который казался непрочно приставленным к его узкому и всегда небритому лицу, постоянно бывал пьян. Как, никогда не протрезвляясь, он чинил часы и даже добивался того, что они начинали правильно показывать время, то самое время, течения которого он в пьяном тумане никогда не замечал, — это было тайной не только для окружающих, но, кажется, и для него самого. Звали его Евгений Евгеньевич, и, когда родился сын, он пожелал и его назвать Евгением. Но тихая и кроткая жена его Пелагея Осиповна на этот раз восстала. То ли самое имя Евгений сделалось ей за годы несчастного замужества ненавистным, то ли охватывал ее панический ужас перед тем, что с именем сын унаследует и пороки отца, то ли по каким-то другим причинам, но только всегда безропотная женщина эта настояла на своем, и мальчик был записан Валерием.

— У нас все Евгении, — упорно сопротивлялся отец. —

Дед был Евгений, отец Евгений, я вот, не последний человек в Озерках, тоже Евгений. Не желаю для сопляка делать исключение!

Но исключение было сделано.

Иногда отец приносил с собой испорченные часы. Может, какая-то смутная надежда на избавление от вечно тяготевшего над ним кошмара овладевала им, когда, сидя на высоком стуле в маленьком киоске, прилепившемся к стене городской бани, окончательно обалдев от постоянной мышиной возни окружающих его больших и малых часов, он решал вечером поработать дома? Или заказчики уж очень торопили его? Однако благим намерениям его, увы, никогда не удавалось осуществиться. Пообедав и изрядно выпив, отец укладывался спать, а мать и сынишка со страхом поглядывали на принесенные им часы, которые каким-то чудом не были потеряны по дороге к дому.

Однажды отец положил на свой верстачок часы, которые сразу обратили на себя Валерино внимание: хороший золотой хронометр, на крышке которого выгравировано: «МОЕМУ БОЕВОМУ ДРУГУ РОМАДАНОВУ. ФРУНЗЕ».

Валера показал эти часы матери.

— Отнеси их скорей, сынок, — сказала Пелагея Осиповна, всплеснув руками. — Это ж память какая! Да разве можно такие часы отцу доверять? Ах ты, господи! Слепой человек, что ли, этот Ромаданов? !

На бумажке, втиснутой между крышками часов, было написано: Морозная, 47.

Улица эта находилась на окраине городка, и населяли ее главным образом железнодорожники.

Петр Григорьевич Ромаданов и оказался машинистом товарных поездов. Он был высок ростом, широкоплеч, не по годам статен, седые усы, опущенные книзу, делали его похожим на запорожца.

— Спасибо, молодой человек, — сказал он, выслушав Валеру, — действительно, эти часы для меня много значат. — Он оглядел тщедушную фигурку мальчугана и приветливо предложил: — А ну-ка с нами чай пить!

«С нами» — это означало с ним и с его женой, Любовью Лукиничной, болезненной, полной женщиной с вялыми движениями и тихими голубыми глазами, которых

из-за многочисленных мешочков, образовавшихся вокруг, почти не было видно.

Валера сразу влюбился в Петра Григорьевича, как покорно и преданно влюбляются мальчики, лишенные отцов, в жизнерадостных, умных и добрых мужчин. Удивительно интересно умел Петр Григорьевич рассказывать о прошлой своей жизни, богатой событиями. От него Валера узнал, что Михаила Васильевича Фрунзе, когда тот был командующим Южным фронтом, называли «неспящий комиссар», так как почти никогда не видели его отдыхающим.

Хотя Валере немного в своей жизни привелось ездить по железным дорогам, но все интересное, что бывало на станциях и в пути, он запоминал; на машинистов же, выглядывающих из окошечек паровозов, он никакого внимания не обращал. А тут вдруг оказалось, что этот человек в брезентовой спецовке точно знает, от какой станции на его маршруте начнется вечер, в каком месте застанет его ночь, за каким поворотом откроется ему рассвет. Как бы быстро ни двигался поезд, человек из окошечка паровоза прекрасно замечает все изменения, которые произошли за два-три дня, чему-то порадуется, а то и погорюет. Вот эту огромную сосну повалила гроза, и в следующий проезд на месте ее кончины уже забелеют щепки и видны будут следы колес на мягкой земле, а ее, высокой и стройной, будто никогда тут и не было. И все вскорости забудут о ней, даже птицы, находившие гостеприимный кров на ее ветках. А человек в спецовке еще долго будет говорить кочегару: «От большой сосны — подкинешь угольку».

Каково же было удивление Валеры, когда Петр Григорьевич однажды, поблескивая черными, без зрачков, глазами, так же увлекательно рассказывал, как много лет назад орудовал на токарном станке, точил детали на Балтийском заводе в Ленинграде.

«Вот бы стать таким», — думал мальчик, слушая Петра Григорьевича.

Утомленная за день Любовь Лукинична уходила за перегородку, и оттуда еще долго слышались ее тяжелые вздохи.

— Золотая женщина, — говорил Петр Григорьевич, когда за перегородкой наступала тишина. — Если все ее

болезни сосчитать, то ее вроде и на свете уже нет. А вот, видишь, не только живет, и мне жить помогает. Большое дело — жена, брак вообще. Иногда всю жизнь может повернуть как в хорошую, так и в плохую сторону. Вот для нас, для всех простых людей, пример: Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Сама большой человек, Надежда Константиновна и Ильича оберегала, помогала ему, а за это ей от миллионов людей низкий поклон. Вот это брак! — Петр Григорьевич подходил к перегородке, прислушивался. — Спит, — говорил он. Садился снова на стул с потертым сиденьем, наливал из медного чайника в стакан чай и, с удовольствием прихлебывая его, говорил уже шепотом, чтобы не разбудить жену.

Как-то заметив на лице Валеры синяк, Петр Григорьевич сочувственно вздохнул и сказал:

— В этом деле я тебе подмогну.

На другой день он отворил скрипучую дверь киоска, прилепившегося к стенке городской бани.

— Что вы хотели? — спросил Евгений Евгеньевич, привычной гримасой сбрасывая с глаза лупу.

— Пришел о погоде узнать, — ответил Петр Григорьевич.

— Пивная — третий дом от угла, — сказал Евгений Евгеньевич и хотел накинуть на глаз лупу.

— Да уж, адрес из первых рук, — заметил Петр Григорьевич. — Какие могут быть сомнения! И все же повторяю вопрос: скажи, что на дворе?

— Снег, — довольно вежливо отозвался Евгений Евгеньевич для того, чтобы поскорее избавиться от непрошеного гостя.

— Это само собой, — сказал Петр Григорьевич, — но это не главное. А главное то, милый человек, что на дворе советская власть, и ты брось над женой и мальчишкой издеваться.

Евгений Евгеньевич кинул взгляд на длинные, с тяжелыми, словно пудовыми, кулаками, руки человека, заполнившего собою весь киоск.

— Вы что, представитель какой-нибудь?

— Особого желания нет у меня с тобой разговаривать, — сказал Петр Григорьевич. — Представитель не представитель, но учти, любезный друг: если не оставишь эту практику — плохо тебе будет.

Он вышел из киоска, и долго еще после этого пела тоненьким голоском дверная пружина.

После этого посещения Евгений Евгеньевич даже в состоянии сильнейшего опьянения не бил ни жену, ни сына, он просто перестал обращать на них какое бы то ни было внимание. Однажды только сказал Пелагее Осиповне, показывая на Валеру:

— Советую вам, мадам, с ними поосторожнее, у них защитники-покровители нашлись из железнодорожной среды.

Валера сразу понял, что произошло, и в тот вечер сказал Петру Григорьевичу:

— Спасибо вам. И от мамы спасибо.

— Благодарность тут какая же? — пожал плечами Петр Григорьевич. — Хотел я вначале в организованном порядке твоего батьку приструнить, а потом подумал: может, покороче найдется путь? Батька твой, видать, всего ума своего еще не пропил, глянул на это, — Петр Григорьевич положил огромные свои кулаки на стол, — ну и, конечно, сообразил, что к чему. Черт их знает, — продолжал Петр Григорьевич, легонько постучав кулаками по столу, отчего довольно высоко подпрыгнуло чайное блюдечко, — сколько уж лет я ими орудую — и хоть бы что. В шутку даже с ребятами возиться опасаюсь — чуть нажмешь, самую малость увлечешься, одним словом, и человеку на два-три дня бюллетень самый закоренелый врач беспрекословно выписывает. — Петр Григорьевич рассмеялся. — Из железа я, что ли, сотворен, сам не пойму. Скажем, грипп. Кругом «грипп, грипп». Ахи, охи. А мне даже интересно, что это за грипп такой? Понятия не имею!

Через полгода после этого разговора Валера Лебедев, поддерживая Любовь Лукиничну, шел за гробом. Увесистый камень, упавший с лесов стройки мясокомбината, размозжил голову Петру Григорьевичу, когда он после работы шел домой. На кладбище Валера слушал прочувствованную речь начальника железнодорожного узла, теплые слова о ратных и трудовых делах Петра Григорьевича, и, когда оратор, захлебнувшись от горя, с трудом произнес: «Спи спокойно, наш верный друг», он, не будучи в силах больше сдерживаться, громко, навзрыд заплакал.

Вечером мать, погладив Валеру по голове, сказала:

— Не убивайся так, сынок. Никто, как бог.

— В бога я твоего не верю, — со злостью произнес Валера.

— Нельзя так говорить, — робко возразила Пелагея Осиповна.

— Нет, можно, — с еще большей злостью сказал Валера. — Если такой человек от какого-то камня погибает. . . можно.

Когда Евгений Евгеньевич узнал о смерти Романданова, Валера с удивлением услышал, как после долгого молчания и бесконечного пожевывания потрескавшимися синими губами отец сказал:

— Видать, хорошие люди непрочно на земле держатся. Мелочь всякая — та крепче прилипает. — И, снова пожевав потрескавшимися губами, добавил: — Понять тут что-нибудь, вообще разобраться — лучше не берись. — Он тяжело вздохнул. — Все бессмысленно! Все!

И каждый раз, когда Валера навещал Любовь Лукиничну, когда входил в маленький домик на Морозной улице и бросал взгляд на стул с потертым сиденьем и до блеска отполированными медными гвоздиками на узкой спинке, на прокопченный железный сундучок, стоящий в углу комнаты и словно упорно ожидающий, когда же наконец хозяин возьмет его и отнесет на паровоз, — каждый раз, увидав все это, Валера мысленно повторял слова отца: «Все бессмысленно! Все!»

Слушая, что говорила ему Любовь Лукинична, голосом настолько слабым, что казалось — это последние в ее жизни слова, Валера думал: «А она, наверное, еще долго будет жить».

Он не ошибся: Любовь Лукинична жива и по сей день, и на столе в кабинете Валерия Евгеньевича лежит полученная вчера от нее из Озерков открытка.

2

Вскоре после смерти Петра Григорьевича появился у Валеры новый друг. Сеня Рубаник был веселым, остроумным, находчивым пареньком; этим он и очаровал тихого и застенчивого Валеру Лебедева. Учился Сеня посредственно, но чем-то он был мил учителям; не то чтобы

они завышали ему отметки, нет, но на лицах их появлялись довольные улыбки, когда можно было поставить ему тройку, а не двойку. Труднее всего Сене давалась математика. И Валера Лебедев по доброте душевной возился с ним, помогал разбираться в задачах и уравнениях, и иногда, выведенный из себя Сениной беспечностью, сердито покрикивал.

— Кричи на меня громче, Валерка, — говорил Сеня, улыбаясь своей обаятельной улыбкой, которая редко покидала его курносое лицо с веселыми синеватыми глазами. — Ну что мне с этим болваном делать, ума не приложу. — Он поколачивал себя по груди пальцем. — Даже бей, пожалуйста, и ничего, кроме благодарности.

На Сеню невозможно было долго сердиться. Валера заметил, что Сеня не только никогда не упорствовал в своих заблуждениях, а даже как-то с радостью признавался в них. Однажды, выведенный из себя Сениной тупостью, Валера сказал ему:

— Ты последний дурак.

— Чего ты мне льстишь? — засмеялся ничуть не обиженный Сеня. — До последнего дурака мне, как говорится, еще жить и жить.

Валера делал все возможное, чтобы подготовить Сеню к выпускным экзаменам, и с грустью думал о том, что Сеня, очевидно, все же провалится по математике, тем более что на выпускных экзаменах, кроме школьных учителей, будут присутствовать представители городского отдела народного образования, никак не подверженные Сенину обаянию.

На выпускных экзаменах Сене Рубанику достался один из трех билетов, вызубренных им назубок, и, к радостному удивлению учителей, он ответил на пятерку.

Вечером друзья отправились в маленький ресторанчик «Волга» для того, чтобы отпраздновать окончание десятилетки.

— Вот, друг мой, премудрый Валерий, — сказал слегка захмелевший Сеня Рубаник. — Вся правда жизни и предстала перед нашими восхищенными взорами сегодня на экзамене. Получил пятерку по твоей математике. Понял теперь?

— Счастливая случайность, — усмехнулся Валера Лебедев, — ты и на тройку-то не знал, премудрый Семен.

— На тройку? — искренне удивился Сеня. — Что ты, что ты, какая там тройка? С восьмого класса ты мне все льстишь. — Он рассмеялся. — Но как бы там ни было, за экзамен — пятерочка. В жизни много случайностей, Валера. — Курносое лицо Сени приняло глубокомысленное выражение. — Отнюдь не меньше, чем закономерностей. А может быть, и побольше. — Он хитро подмигнул. — Кроме того, счастливую случайность можно и подготовить.

— Чепуху несешь, — разозлился Валера. — Случайность. . . подготовить?

— Все можно подготовить, — настаивал на своем Сеня. — Откуда я знал, где мой счастливый билетик лежит, справа или слева? А может, он совсем даже посередке?

— Вот именно! — сказал Валера Лебедев. — Откуда?

— Дитё, — снисходительно заметил Сеня Рубаник. — Пойми, дите, все, в сущности, очень просто в этой жизни. Мой батя, как тебе известно, работает официантом в ресторане. Вчера он подавал, а сегодня мне подавали, ясно? И все! Ты на какой факультет собрался?

— Будто не знаешь. На физико-математический, конечно.

— Напрасно. Я лично — на юридический.

— Говорильня, — не без презрения отозвался Валера Лебедев.

— Не отрицаю. Но юристы живут — дай боже. Это тебе не формулы и чертежи. — Он залпом выпил бокал вина. — Я тебя, Валерка, страшно люблю, имей в виду, и потому опасаюсь за тебя.

— Опасайся за себя, — с насмешкой сказал Валера Лебедев.

— Не по силам мне такая нагрузка — за двух одновременно опасаться, — расхохотался Сеня Рубаник. — Вот ты мне много о своем друге рассказывал, об этом железнодорожнике. . .

— Дай боже нам с тобой такими быть, — перебил Валера.

— Разве я отрицаю? Сам я даже и не рассчитываю. . . Но давай разберемся.

— Не стану я с тобой в таких вопросах разбирать-

ся, — Валера Лебедев обвел рукой залу ресторана, — да еще в таком месте.

— Струсил?

— Почему струсил? Неприятно просто здесь говорить о нем.

— Воспользуюсь в таком случае твоим пробужденным самолюбием.

— А может, ты перестанешь наконец пить? — с раздражением спросил Валера Лебедев, заметив, что Сеня Рубаник собирается налить себе вина. — Хватит!

— Итак, — сказал Сеня, не обратив на слова друга никакого внимания, — человеком он был замечательным, прошел большой и славный путь. А чего достиг? Умер в каком звании? Машиниста товарных поездов?

— Ну и что?

— Нет, ничего. Только не использовал человек свои возможности. Виноват, не свои возможности, а...

— Чужие? — ехидно подсказал Валера Лебедев.

— Не сбивай. Не использовал те возможности, которые не только просились, а даже набивались... Хорошо. Может быть, я неправ, когда говорю, что счастливую случайность надо подготовить. Хорошо. Тихо, тихо, я согласен. Не прыгай, пожалуйста, упадешь со стула. Согласен, неправ. Но гнать ее, счастливую случайность, когда она стучится в твое окно? Зачем же? Стой, не маши рукой. Как бы я выглядел сейчас, если бы тогда, когда мне поставили пятерку, сказал: «Товарищи дорогие, я ничегошеньки не знаю по математике, отказываюсь от пятерки и прошу мне выставить по заслугам — двойку»? Все бы умилились: «Ах, какой молодой человек!», но я бы получил двойку и... никаких надежд на институт! Так, по-твоему, я должен был поступить?

— Ну почему же? — пробормотал растерянно Валера Лебедев. То, что нарисовал Сеня Рубаник, не приходило ему в голову.

— А как? Нет, ты скажи, как? — с пьяной настойчивостью добивался Сеня Рубаник.

— Пойдем, поздно уже, — сказал Валера и стал глазами разыскивать официанта.

3

В Москве Валера Лебедев поселился у дальних родственников матери. Комната, в которой жили эти родственники, была маленькой и душной, и Валера с утра, захватив с собой книги и тетради, уходил в парк, благо в Москве стояла чудесная осенняя погода. Как-то, увлеченный вычислениями, которые он быстро набрасывал в тетрадке, Валера услышал приятный женский голосок:

— Вы, наверное, ужасно умный?

Он обернулся и обнаружил, что рядом с ним на скамейке сидит девушка в синем жакете; на ногах у нее красно-рыжие туфли на удивительно толстой подошве, такой толстой, что Валера подумал: «Из Москвы в Озерки и обратно пройти можно — не стопчутся».

— Я на вас смотрю, — сказала девушка, — а вы ничего не замечаете, все только пишете и смеетесь.

— Разве я смеюсь? — спросил с удивлением Валера.

— Все время. А что тут смешного? — Она показала на тетрадку.

— Смешного тут ничего нет, — сказал Валера и спрятал тетрадку в карман. — Может быть, вы ошиблись?

— Зачем я буду ошибаться? — удивилась девушка. — Я же вполне нормальная.

Длинными, очень красивыми пальцами она достала из тоненького пластмассового портсигара сигарету, закурила и тут же закашлялась.

— Зачем вы курите? — спросил Валера.

— Вот именно — «зачем»? — сказала девушка. — Привычка. Причем мне нельзя курить. Я очень слабенькая: у меня плохие легкие. А сейчас вообще сыро.

— Ну ничего, такая-то подошва не промокнет, — заметил Валера и улыбнулся. — Пожалуй, даже в огне не сгорит.

Девушка почему-то ярко покраснела, и Валера заметил, что у нее нет бровей. Если раньше были хоть какие-то два тоненьких шнурочка над голубыми водянистыми глазами, то, когда кровь прилила к лицу, они совсем исчезли.

— Я, наверное, вам помешала, — сказала девушка. — Извините, пожалуйста, но я очень удивилась: отчего это человек ни с того ни с сего смеется?

— Нет, нет! — проговорил Валера, вдруг испугавшись, что эта девушка так же неожиданно, как возникла, исчезнет. — Вы мне совсем не мешаете, наоборот, я уж и сам хотел прекратить занятия.

— А вы куда поступаете?

— На физико-математический.

— У вас очень глубокомысленное лицо.

— Ну что вы! — смутился Валера.

— Нет, нет, я же вижу. Но почему в таком случае вы собираетесь заняться именно математикой?

«А она, видно, дура стоеросовая», — подумал Валера и спросил:

— Разве математика ума не требует?

— Конечно! — сказала девушка с такой уверенностью, что Валера даже открыл от удивления рот. — У нас в школе все учителя по математике были ужасные дураки. До свиданья. — Она встала со скамейки, и тут-то Валера увидел, что девушка слегка прихрамывает и что подошва одной туфли много толще другой.

Он проводил ее до дому. По дороге узнал, что зовут девушку Ритой, мать ее маникюрша, «крупнейшие московские дамы» от матери Риты «без ума». В прошлом году Рита окончила школу и теперь изучает иностранные языки. Об отце своем она отозвалась так:

— Совершенно невменяемый человек! Мама его бросила, поняв, что это была ее ошибка, хотя он много зарабатывал.

Она мило попрощалась с ним, просила заходить.

На другой же день, устав от разговоров с родственниками, Валера пошел в Капельский переулок.

Рита радостно встретила его, усадила на маленький диванчик, такой же пухлый, какими были и другие диванчики и кресла в этой большой комнате, разделенной пронзительно-оранжевым занавесом на две части, угостила чаем из маленькой чашечки с непонятным рисунком, завела патефон. . .

Валера очень приятно провел часа два. До этого он приходил к людям или по делу, или по обязанности, или, как к Петру Григорьевичу, по жаркому велению сердца. «В гостях» же он еще ни разу не бывал и потому почти все время молчал, наслаждаясь тем, что, оказывается, он,

Валера, может быть, интересен кому-то не только в связи с каким-нибудь делом, а просто так.

Когда Валера уходил, оглушенный и патефоном и Ритиным голосом, звеневшим наперебой с патефоном, она взяла с него слово, что он непременно придет завтра: «Мама на курорте, и мне очень тоскливо».

Несколько вечеров подряд приходил он к Рите и уже неплохо освоился с неведомым ему ранее положением, находя, что быть гостем очень приятно. Как-то вечером он застал Риту в обществе ее подруги. Это была полная рыжеватая девушка, от которой веяло немолодым спокойствием. Она казалась очень рассудительной, хотя говорила мало, а все больше кидала на подругу вопросительные и слегка презрительные взгляды. Но и из того немногого, что было сказано ею часа за три, Валера точно установил: Вера прекрасно знает, что она будет делать, чем заниматься завтра, послезавтра. Во всяком случае, точный план был намечен ею не менее чем до конца месяца, хотя число было всего лишь второе. Несколько удивило Валеру, что Вера обращалась исключительно к нему и не то чтобы совсем не удостаивала своим вниманием подругу, а как-то не придавала ее присутствию в собственном доме никакого значения. Еще более удивило Валеру то, что Рита относилась к этому вполне спокойно, ничуть не была обижена таким безразличием подруги.

Вера училась на медицинском факультете и намеревалась стать хирургом, «так как точнее всего можно определить болезнь человека тогда, когда его разрежешь». Валера, которого слегка передернуло от этих слов, пробормотал что-то вроде того, что всякие врачи приносят пользу. Вера снисходительно усмехнулась и заметила, что, к сожалению, некоторые люди берутся судить о том, чего совсем не понимают. После этого Валера решил, что его отношения с этой строгой рыжеватой девушкой не предвещают ничего хорошего.

Каково же было его изумление, когда Вера сказала, как только за ними закрылась дверь Ритиной квартиры:

— Вы производите очень хорошее впечатление.

— Да нет... — пробормотал Валера, довольный тем, что в полутьме лестницы Вера не сможет заметить, как сильно он покраснел.

Но какой же необыкновенной зоркостью ее рыжева-

тые глаза обладали, если тут же последовало ее замечание:

— И напрасно вы краснеете. Имейте в виду, я вообще ничего зря не говорю. Я бы окончательно могла понять вас за один этот вечер, если бы не то, что вы способны проводить вечера с этой идиоткой Ритой.

Валеру слегка покоробили эти слова, тем более что не далее чем три минуты назад он собственными глазами видел, как подруги на прощание расцеловались, и слышал, как каждая заявила, что завтра же им обязательно надо встретиться, а сегодняшний вечер — не в счет: накопилось много необходимейших, интереснейших тем, требующих совместного обсуждения.

— Мы учились в одном классе, — сказала Вера, — и поневоле приходится встречаться с ней. Если я не приду, она сама заявится.

Валера, который благодаря Рите обрел приятный, уютный дом, в котором можно спокойно провести два-три вечерних часа, был за это признателен хромоножке, но сейчас вдруг ощутил поразившее его самого желание сказать тоже что-то недоброе о девушке, у которой бывал.

— Да, она глупа, — сказал он. — И, по-моему, никаких иностранных языков не изучает, а только болтает об этом.

— Вы абсолютно правы! — оживленно подхватила Вера. И Валера снова удивился, теперь уже тому, что воспринял ее одобрение с удовольствием. — Какие еще иностранные языки? Откуда у нее способности? Если бы ее мать, которая еще глупее дочки, не нанимала ей репетиторов, Рита и школу-то не смогла бы окончить.

— Неужели? — счел своим долгом удивиться Валера, хотя Ритино прошлое в общем было ему совершенно безразлично.

— А разве вы сами не заметили ее тупости?

— Да, да, — неопределенно пробормотал Валера.

Так дошли они до остановки автобуса. Валера чувствовал, что именно этот нехороший, некрасивый разговор о Рите сближает его и Веру. И еще он понял, что и ум свой и остроумие можно особенно успешно продемонстрировать, кого-то осуждая.

На другой день отец Веры встретил Валеру очень приветливо, и уже через несколько минут Валера без особо-

го труда установил, что этот полный рыжий человек находится в беспрекословном подчинении у дочери. На круглом лице его была написана крайняя настороженность, и поэтому казалось, что его вот-вот кто-то должен вызвать из комнаты. Он словно боялся не поспеть куда-то к сроку и потому то и дело подходил то к двери, то к окнам, прислушивался.

Андрей Трофимович был бухгалтером. Узнав о том, что Валера собирается поступать на физико-математический факультет, он отнесся к этому весьма неодобрительно.

— Всю жизнь с цифрами дело имею, — сказал он. — Цифры весьма солидные — сотни тысяч и миллионы. Но какое эти цифры оказывают влияние, так сказать, на бытие? Проходят стороной, а бытие наше скудное определяется десятками рублей. Ну ладно, это в конце концов и не суть важно. Но цифра иссушает человека, поверьте моему тридцатилетнему опыту.

Валера хотел возразить, что математика никакого отношения к бухгалтерии не имеет, но тут Андрей Трофимович улыбнулся и сказал:

— Впрочем, посоветуйтесь с Верой. Как она скажет, так тому и быть.

«То есть почему это, как она скажет, так тому и быть?» — подумал Валера, но тут вдруг почувствовал, что в словах Андрея Трофимовича содержится какая-то истина. Действительно, ему, Валере Лебедеву, чрезвычайно важно знать, как отнесется Вера к его поступлению на физико-математический факультет.

— Умнейшая девушка, — продолжал Андрей Трофимович. — Покойная мать ее была очень умна, но Вера превзошла. — Он расхохотался. — Представьте теперь, молодой человек, мое положение: при жене в дураках ходил, а дочка подросла — то же самое. Оно, конечно, спокойнее, что называется, как у Христа за пазухой существую, но иногда все-таки обидно бывает.

Они жили в двух небольших комнатах, и Валера обратил внимание на то, что отец перед тем, как войти в комнату дочери, стучит в дверь; дочка же, входя в комнату отца, не считает нужным постучать. Словно уловив, что Валерия это удивляет, Вера сказала:

— За отцом нужно все время следить, не спускать

с него глаз. После смерти матери эта обязанность, к сожалению, пала на меня. Предоставленный сам себе, он погибнет. Если бы не мама, он давно уже умер бы под забором. Мне горько об этом вам говорить, но это факт. Мама была ему не только женой, но и матерью. Она, собственно, и нашла-то его под забором. Вот уже второй день я чувствую, что он прячет в своей комнате водку, но где именно, понять не могу. Найду, конечно. Но, увы, я не мама! Та всю себя ему отдала и спасла его.

«Большое дело... жена», — вспомнил Валера слова Петра Григорьевича и сказал:

— Я не знал вашу маму, но мне кажется, что вы на нее похожи.

— Слабая копия, — произнесла с усмешкой Вера.

В этот вечер Валере не захотелось уходить, он слишком поздно засиделся и был приглашен переночевать.

На другой день Вера сказала ему:

— Пусть то, что произошло, не играет для тебя никакой роли. Ты так же свободен, как и вчера. У меня свой взгляд на эти вещи.

Валера, который был не прочь остаться свободным, но которому казалось, что после того, что произошло, следовало бы поговорить о любви, все же промолвил:

— Что ты! Как ты можешь так думать?

— Ну, прекрасно! — произнесла Вера. — Меня вполне устраивает и брак. Но одно меня решительно не устраивает: я никак не могу согласиться с тем, что ты собираешься на физико-математический.

— Почему же?

— Бессмысленно! Декартом или Лобачевским ты не станешь, значит, будешь преподавателем. Ох как интересно!

Валера, который как раз именно и мечтал стать Декартом или Лобачевским, разозлился и резко произнес:

— Ну, это мы посмотрим!

Вера отнеслась к его раздражению совершенно спокойно.

— Я повторяю, что ты совершенно свободен. Но если ты хочешь жениться на мне, тебе придется считаться со мной в главных вопросах нашей жизни.

— Но куда же мне поступить? — растерялся Валера.

— На исторический, — не задумываясь, ответила она.

— Что я там буду делать?

— Ты прекрасно говоришь, — сказала Вера.

— Я прекрасно говорю?! — даже вскрикнул от изумления Валера.

— Да, прекрасно! Только это еще у тебя не разработано. Я помогу тебе. — Она тряхнула рыжеватыми волосами. — Можешь быть спокоен, ты станешь незаурядным историком.

— А зачем, собственно, историку нужно прекрасно говорить? — спросил Валера, с тоской думая в эту же самую секунду: «Неужели и наши дети будут рыжими?»

— Это придает ему необходимый блеск! — сказала Вера. — Биологу или там химику это совсем не требуется. Ты усидчивый человек, да и я лениться тебе не дам. Перед тобой могут открыться большие перспективы. Конечно, ты должен вступить в партию.

— Меня не примут в партию, — сказал Валера. — Что я сделал такого, чтобы меня в партию приняли?

— Тебя примут в партию, — спокойно сказала Вера. — Не на первом и не на втором курсе, но на третьем ты должен стать коммунистом.

Все, что произошло с Валерой впоследствии, подтвердило справедливость слов Веры. Валера учился хорошо, лодырничать жена ему действительно не позволила, и он беспрекословно подчинялся ей, хотя желание как-то отвлечься от исторической науки, к которой он был равнодушен, бывало иногда очень сильным.

В партию Валера Лебедев вступил. Правда, не на третьем, а только на пятом курсе, но принят был без препятствий: успевающий студент, хороший общественник. Вскоре его стали звать Валерием Евгеньевичем, хотя почти всех остальных студентов звали по именам. За годы пребывания в университете Валерий Евгеньевич усвоил много полезного. Во-первых, он стал очень терпеливо выслушивать собеседников, стараясь уловить все ценное, что они говорили, и даже запоминать отдельные удачные слова и выражения. Это было куда полезнее, чем, горячась и перебивая собеседника, со страстью и пылкостью в чем-то убеждать или разубеждать его. Если же собеседник оказывался противником, терпение было вдвойне полезно: выведенный из себя невозмутимостью Валерия Евгеньевича, он непременно допускал какой-

нибудь промах. А промахи противника, как известно, еще никому вреда не приносили.

Во-вторых, Валерий Евгеньевич понял, что в простоте обращения с людьми содержатся токи необычайной силы, а от этого ничего, кроме пользы, не бывает. И Валерий Евгеньевич был прост в обращении и приветлив буквально со всеми окружающими его людьми, даже со швейцарами и уборщицами. Обращение же со студентами первого курса, мальчиками и девочками, с уважением взирающими на аспиранта, он довел до такой милости и даже элегантности, что во всем университете трудно было сыскать кого-то, кто пользовался бы таким всеобщим расположением, каким пользовался Валерий Евгеньевич.

В-третьих, Валерий Евгеньевич твердо знал, что начальство никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть неправым. В этом плане была только одна трудность: надо было очень точно знать, что предпочитает начальство — тихое и покорное признание правоты или, наоборот, панибратство и дружескую грубоватость.

Валерий Евгеньевич прекрасно видел, что многие в университете понимали его хитрости, не заблуждались в объеме отпущенных ему природой способностей к науке и даже терпеть его не могли. Но это его не волновало: он не делал ничего такого, что являлось бы явно предосудительным. На один сомнительный его поступок приходилось, по крайней мере, два достойных, и это вполне компенсировало изъяны. Да, кстати сказать, изъянами они были лишь на очень придирчивый взгляд.

Валерию Евгеньевичу пришлось сознаться себе, что Сеня Рубаник был, в общем, весьма умным человеком и что его мысль о счастливой случайности не лишена практической основы. Усвоив это, через пять лет после окончания университета Валерий Евгеньевич занимал должность младшего научного сотрудника. Он готов был бы сейчас чистосердечно признаться бывшему другу в прежних своих заблуждениях, однако след Сени Рубаника был утерян.

Жизнь Валерия Евгеньевича текла хотя и без особых успехов и радостей, но вполне благополучно и спокойно.

Вера Андреевна, окончив медицинский институт, не

взяла диплома, так как не захотела работать врачом на периферии, и с присущей ей энергией, которая с возрастом нисколько не уменьшилась, принялась, как она выражалась, за устройство дома. Это касалось отнюдь не только хлопот по квартире, которую занимала семья Лебедевых. Квартира блистала чистотой, поражала уютом, но понятие «устройство дома» было для нее несравненно шире. В него вошло, например, стремление во что бы то ни стало через знакомых ее знакомых ввести в дом профессора Карсавина, приехавшего в Москву на научную сессию. Или поездки на курорт. Даже самые смелые умы не смогли бы сообразить, что ежегодные поездки в санатории для научных работников вызваны вовсе не заботой о здоровье, а тем, что там, в той среде, завязывались весьма полезные для служебной деятельности мужа знакомства.

За все годы жизни с женой Валерий Евгеньевич не утратил ни страха перед нею, ни неприязни к ней. Однажды, тоскуя и чувствуя, что жизнь с нею становится ему просто невмоготу, Валерий Евгеньевич изменил ей.

И тут он окончательно убедился, что Вера Андреевна непобедима.

Через несколько дней она спокойно сообщила ему, что знает о его измене.

— Я была бы дурой, — сказала она, — если бы этого не предвидела. Но я не дура и предвидела.

— Это что же значит? — насторожился Валерий Евгеньевич. Только сейчас он вспомнил, что Вера Андреевна иногда по вечерам уезжает из дому, что время от времени раздаются какие-то телефонные звонки, а когда он, Валерий Евгеньевич, снимает трубку, по ту сторону провода немедленно дают отбой.

— Это значит только то, что значит, — невозмутимо сказала Вера Андреевна. — Надеюсь, ты не станешь устраивать сцены ревности? Пример у тебя перед глазами. — Она показала на себя пальцем. — Вот как мудро надо ко всему относиться. — Она зевнула, так как время было позднее. — Впрочем, будем считать, что в нашей жизни ничего не изменилось.

4

Пелагея Осиповна умерла, когда Валерию Евгеньевичу предстояло защитить кандидатскую диссертацию, но, получив от отца телеграмму, он отложил защиту и выехал в Озерки. В городке за время отсутствия произошли большие изменения, одним из них было то, что на Морозной улице снесли маленькие строеньица, а на их месте встали большие красивые дома из розового камня. Но домик под номером сорок семь еще сохранился, и Валерий Евгеньевич застал в нем все то, что оставил много лет назад. С грустью глядел он на стул с потертым сиденьем, на прокопченный железный сундучок, который все так и стоял в углу комнаты. Он поговорил с Любовью Лукиничной, старые глаза которой никак не могли признать в полном, щеголевато одетом мужчине Валеру Лебедева.

После того как гроб с телом Пелагеи Осиповны опустили в могилу, Валерий Евгеньевич пошел бродить по кладбищу. Отец, по обыкновению своему, был пьян, бормотал что-то непонятное, и его увели домой. Валерию Евгеньевичу идти в гостиницу не хотелось. Была ранняя весна, таял снег, и ветви деревьев весело роняли на землю капли, тяжелые, как те слезы, что обильно проливаются на кладбище.

Валерий Евгеньевич остановился у могилы Петра Григорьевича. Он вспомнил вечера, проведенные в маленьком домике на Морозной улице, вспомнил рассказы Петра Григорьевича, его добрые и умные глаза почти без зрачков, увесистые кулаки, которых он немного стеснялся. И он заплакал. Он плакал от жалости к себе, оттого, что живет не слишком-то чистой, обременительной для совести жизнью, а иначе жить уже не может; он плакал оттого, что не встретил в жизни хорошей, чистой девушки и потому сожительствует с грубой, злой и хищной женщиной, а покинуть ее ему никогда не удастся; и оттого он плакал, что здесь, у могилы Петра Григорьевича, почему-то сильнее, чем всегда, почувствовал, как любит математику, как равнодушен и к исторической науке, и к кандидатской диссертации, которую предстоит защищать; и оттого еще, что в течение нескольких лет за стеной его комнаты жил милый, несчастный и перепуган-

ный отец жены, старик, который все хотел поговорить с ним, с Валерием Евгеньевичем, хотел откровенно поговорить и этим, быть может, облегчить душу. Но он, Валерий Евгеньевич, избегал разговора — боялся навлечь на себя гнев Веры Андреевны. Так и умер старик в глухом молчании.

Валерий Евгеньевич плакал. Он понял сейчас, что рано или поздно, но произойдет в его жизни катастрофа, ее не миновать. Но почему он понял это только сейчас? Разве для того, чтобы понять это, надо было приехать в Озерки? Да, конечно! Он ведь стоял у могилы Петра Григорьевича Ромаданова.

И Валерий Евгеньевич неожиданно для самого себя страшно испугался этой могилы и поспешил от нее уйти.

5

Невероятно, но недели через две по возвращении из Озерков Валерий Евгеньевич совершенно успокоился. По натуре он был весьма мнительным человеком, и нередко воображение его создавало всяческие ужасы, якобы подстерегающие его на каждом шагу. Вместе с тем в нем жила и крепла уверенность, что именно он, Валерий Евгеньевич Лебедев, благополучно преодолеет все препятствия, могущие помешать его карьере, и, что бы ни случилось с другими людьми, которые поступками и действиями своими ничем, в сущности, не отличаются от него, какие бы неприятности они ни испытали, он, Валерий Евгеньевич, сумеет сделать так, что из горькой чаши, придвинутой к нему, хлебнет кто-то другой.

Все убеждало Валерия Евгеньевича в этом: положение его было прочным, «супостаты» не решались нападать на него, кандидатская диссертация была защищена и благотворные последствия этого не преминули сказаться.

Через короткое время по приезде из Озерков все, что было связано с воспоминаниями о Петре Григорьевиче Ромаданове, ощущалось лишь как милый, чуть грустный сон, давным-давно приснившийся и почему-то до сих пор еще не забытый.

Вполне возможно, что знакомство с Федором Адамовичем Карсавиным вселило в Валерия Евгеньевича еще

большую уверенность, что служебный путь его будет и в дальнейшем прекрасен, и что если он, Валерий Евгеньевич Лебедев, и не является избранником судьбы, то уж, во всяком случае, Федор Адамович Карсавин ни при каких, даже самых трудных, обстоятельствах его, приглашенного в областной университет научного деятеля, в обиду не даст.

Людям, не слишком разбирающимся в бюрократических тонкостях, вряд ли было понятно, зачем Карсавин пригласил Лебедева в университет, где сам был деканом исторического факультета. Конечно, Карсавин понимал: не тот Лебедев человек, который способен обогатить историческую науку. И особой нужды в таком сотруднике он не испытывал. Но все же он пригласил Лебедева, и Лебедев считался «человеком Карсавина». Зачем-то это было нужно Карсавину, какая-то бюрократическая тонкость в этом поступке таилась, но какая именно — этого людям, не искушенным в бюрократических тонкостях, было не понять. Что же касается самого Лебедева, то одно ему было ясно: в столице возможности дальнейшего продвижения по службе более ограничены, а здесь, в «глубинке», как знать? Не случайно же Вера Андреевна была целиком за переезд.

Ожидания не обманули Валерия Евгеньевича: в областном центре положение его дел было прекрасным, он выпустил переработанную диссертацию в виде объемистой книги, редактором которой являлся Карсавин. Словом, он процветал.

Через несколько лет после приезда в город умерла от сердечной болезни Вера Андреевна. Валерий Евгеньевич поплакал на ее могиле — все же немало лет было прожито вместе. Потом он выписал из Озерков отца и в течение двух лет безропотно сносил сумасбродства окончательно выжившего из ума старика. Но умер и Евгений Евгеньевич. Лебедев остался один. Он остался один в квартире, которую покойная жена обставила мебелью из красного дерева и карельской березы, но он не очень ясно представлял себе, как же сложится в дальнейшем его личная жизнь.

Когда на университетском вечере, куда были приглашены студенты медицинского института, Валерий Евгень-

евич познакомился с Таней Машиной, он испытал необыкновенное и до тех пор незнакомое ему чувство: он не то что влюбился в Таню, он ощутил, что не сможет жить без нее, без этой тоненькой девушки с золотистыми вьющимися волосами. Он ощутил это едва ли не раньше, чем окончился университетский бал.

Прожив много лет с Верой Андреевной, смирившись с такой жизнью, он лишь смутно сознавал, что на свете есть и другие, непохожие на его жену женщины. Он даже совсем и разговаривать не умел с такими, как Таня. Ему пришлось учиться разговаривать с ней, а для этого всколыхнуть в себе все чистое, честное, хорошее, все, что было много лет назад в Валерке Лебедеве.

И он стал превращаться в Валеру Лебедева, он совсем не ощущал своих сорока лет, хотя сорок прожитых лет все же пригодились: многое было узнано в жизни, многое увидено.

Валерий Евгеньевич умел интересно рассказывать — Вера Андреевна когда-то не ошиблась, распознав в нем ораторские способности.

Таня не умела отличать мысли Валерия Евгеньевича от мыслей, которые он воспринял от других. Он казался ей очень умным и оригинальным человеком.

Когда, задыхаясь от волнения, он произнес: «Я жить без вас не могу, Танюша», — он знал, что это сущая правда. Он вообще с удивлением ловил себя на том, что все, о чем он рассказывал Тане, все, чем делился с нею, было сущей правдой.

Такого Валерий Евгеньевич давно за собою не замечал.

Глава вторая

1

Утро было светлое.

Иван Алексеевич Машин с удовольствием оглядел свою комнату. Освещенная солнцем, она показалась ему очень приветливой. Вообще он любил свое жилище. Приятно было, что многие предметы, находящиеся тут, были сделаны им самим. Например, этажерка.

Как-то, бродя по лесу, Иван Алексеевич обратил внимание на сосну, одиноко стоящую на лужайке. Лесник предложил ему это дерево: оно сохло от корня, было забраковано. Иван Алексеевич очень любил природу, и никогда бы ему в голову не могло прийти, что следует своими руками превратить сосну в мертвую вещь, скажем, в шкафчик для продуктов или во что-либо подобное. Но книги для Ивана Алексеевича тоже были вполне живыми существами, и жизнь сосны в его представлении вполне естественно и гармонично соединялась с их жизнью.

Вначале Иван Алексеевич решил сделать полки, но потом как-то само собой получилось, что стал он мастерить этажерку. Когда она была готова и он проолифил ее, оказалось довольно красиво.

Пепельницу, что стоит на письменном столе, Иван Алексеевич собственноручно выдолбил из большого черного камня, придал ей изящную форму. Однажды Таня уронила пепельницу на пол, и от нее отскочил маленький кусочек. Но все равно она имеет вполне приличный вид.

Своими руками смастерил он и раму для портрета Елены Павловны.

Иван Алексеевич смотрит сейчас на портрет покойной жены. Через несколько мгновений, как это всегда бывает, когда глядишь на изображение очень близкого человека, лицо начинает оживать, и ты видишь его не только таким, каким его нарисовал художник, а еще таким, каким оно бывало в различные моменты жизни; слышишь голос человека и ясно представляешь себе, что́ мог бы он сказать тебе сейчас, когда ты глядишь на него; знаешь даже, каким жестом он сопроводил бы слова. Происходит нечто вроде беседы.

Сегодня такая беседа не состоялась: Иван Алексеевич спешил в город, да еще следовало по дороге зайти в Глушково.

Он стал быстро одеваться.

Варвара Петровна стряпала на кухне, и было слышно, как она говорила собачонке:

— Ну, куда пришла?! Совершенно тебе нечего здесь делать! Пожалуйте. . . явилась!

Иван Алексеевич вышел на кухню. Варвара Петровна, высокая, худощавая старуха, возилась у плиты, а Булка стояла у порога, виновато повизгивая. Она была маленькая, пронзительно желтого цвета, с неправдоподобно большой квадратной головой и кривыми ножками. Казалось, что появилась она на свет не по естественным законам природы, а в результате долгого скрещивания всевозможных пород собак. И тот, кто вывел ее такой, сам удивившись тому, что́ получилось, устыдился, махнул рукой и убежал от содеянного, чтобы никогда и никому в нем не признаваться.

— Удивляюсь я, Иван Алексеевич, — сказала Варвара Петровна, — и зачем мы эту Булку держим? Сторожить не умеет. Лает безо всякого смысла. Будит ночью. Вдруг зальется, а зачем, сама не знает. Ко всему еще — воровка!

— Ну что же, придется уволить, — сказал Иван Алексеевич, с трудом сдерживая улыбку. — Я лично не возражаю.

— Скажете тоже — «уволить»! Это будет бесчеловечно. Она же абсолютно никчемная собака. Ее никто не приютит, и она сдохнет с голода. Нет уж. Вот приедет Таня, я ей скажу: «Танюша, забирай свою собаку. Ты ее откуда-то привела и делай с ней что хочешь!» Это — другое дело.

— Да уж, конечно, Таня ее сейчас же заберет, — улыбнулся Иван Алексеевич. — Не сегодня-завтра в мединституте будет распределение, и вполне возможно, что через некоторое время наша Булка окажется где-нибудь в Казахстане.

Булка, видимо, уже долгое время боролась с сильнейшим желанием лечь у порога, но все не решалась. В кухне было очень душно, духота навевала на нее сон. В конце концов задние лапки ее подломились, она уселась у порога, и умильное выражение ее черных глаз немедленно сменилось равнодушно-сонным.

— Ваша любимица сегодня пыталась в погреб забраться, — проворчала Варвара Петровна. — Если бы я не заметила, интересно, что бы вы ели на завтрак?

— Кормите меня, Варвара Петровна, — попросил Иван Алексеевич. — Я к Тане собрался.

2

Через полчаса он уже шагал по дороге в Глушково.

Дорога начиналась от края села, от двухэтажного оштукатуренного белого дома, где среди других учреждений районного центра находился отдел народного образования. Летом из окна служебного кабинета дорога представлялась Ивану Алексеевичу живописной, хотя в действительности вовсе не была такой. Просто в перспективе сближались перед глазами березовая рощица, мостик через маленькую речушку Гребную, у которого стоял стройный дубок, поле, поросшее ромашками, — словом, все, что в действительности находилось довольно далеко от этой дороги вправо и влево. Потом дорога резко обрывалась у края оврага, и из окна ее уже не было видно. Глазу открывалось только небо.

«Интересно, — думал Иван Алексеевич, спускаясь в низину, — как эти места образовались? Естественно или еще в незапамятные времена тут были карьеры, ломали камень, добывали породу?»

В овраге было прохладно, темновато. Хотя солнце и стояло сейчас низко, тепло его, рассеиваясь, сюда не попадало. Журчали ручейки, бились между камней, как будто спасаясь от кого-то. То вдруг вскрикивал один из них, то, захлебываясь, точно по сговору, поднимали шум все разом.

Иван Алексеевич вспомнил, что так вот бывает в школе, в младших классах. На мгновение он задумался, оступился, чуть не упал.

«Вы через овраг осторожнее идите. Все скачете. Не молоденький!» — вспомнилось обычное напутствие Варвары Петровны.

Машин усмехнулся. Действительно, уже не молоденький. Ну, а в общем, какие, собственно, изменения произошли в нем за последние десять, двадцать лет? Зрение стало слабее. Недавно опять пришлось сменить очки. Да иногда после трудового дня берет какая-то сонная одурь, от усталости так и валишься с ног, точно кто-то с силой толкает тебя. А во всем остальном как было, так и есть. Роста он маленького, сухонький, такие и в преклонном возрасте не горбятся, — куда ж еще ниже становиться? Нет, ничего... В пятьдесят девять лет можно жить, не

думая о старости. Вот Варвара Петровна — та действительно стареет на глазах. Чем-то, видно, больна. Но, хотя больница совсем рядом, лечиться не хочет. За последнее время вовсе высохла.

Во время войны приехала Варвара Петровна в село, была эвакуирована сюда. Поместили ее у одинокой дряхлой старушки Арефьевны. Всем было очевидно: Арефьевна доживает последние дни в захламленном своем домишке. Варвара Петровна быстро навела порядок и не только убрала комнаты и вымыла давно не мытые полы, но внесла в жизнь этого заброшенного домика какой-то новый смысл, которого здесь не было. В чем это выражалось, никто бы не мог сказать, но только Арефьевна стала выходить на улицу чисто одетой, по вечерам даже подтягивала девушкам, когда они пели песни. За всем этим ясно ощущалось, что жизнь в ней отнюдь не угасает, а даже, наоборот, решительно заявляет о своих правах.

Кто же она была, эта Варвара Петровна, способствовавшая такому чудесному превращению?

Всю жизнь она учительствовала в младших классах. Перед войной стало сдавать зрение, вышла на пенсию. И тут неожиданно обнаружилось, что сын ее Володя совсем уже взрослый. Он окончил техникум, поступил на завод, очень ухаживал за матерью, вообще замечательно к ней относился, даже обещал жениться только на той девушке, которая безоговорочно понравится матери.

А потом ушел Володя на фронт, а Варвара Петровна очутилась в этих местах. Ей по душе пришлось село, милыми показались здешние люди. Кончилась война, а Володя так и не вернулся, и Варвара Петровна не поехала в Воронеж, где прожила много лет, — осталась в Комарове. Когда умерла жена Ивана Алексеевича Елена Павловна, Варвара Петровна пришла в их дом, хотя Иван Алексеевич не звал ее. Пришла и стала вести его хозяйство, будто иначе и быть не могло.

Иван Алексеевич очень удивился этому и, хотя был весьма доволен, все же не раз намеревался спросить Варвару Петровну: что толкнуло ее на такой весьма самостоятельный и никак не согласованный с ним поступок? Но однажды, случайно услышав разговор Варвары Петровны с Таней, все понял.

— Я вас, тетя Варя, больше всех на свете люблю, — говорила маленькая Таня. — Если вы от нас уйдете, я умру, как мама.

— Я не уйду, Танюша. Я слово дала твоей маме, — слово!

Варвара Петровна очень дружила с его женой, часто они проводили вечера вместе, иногда, когда он, Иван Алексеевич, заходил в комнату, их разговор обрывался, словно Иван Алексеевич не должен был знать, о чем они говорили. Помнил он и то, как во время болезни Елены Павловны Варвара Петровна не отходила от ее постели, и в разговорах женщины часто упоминали Таню.

Сейчас, шагая по дороге, Иван Алексеевич думал о том, как это странно, как невероятно! Казалось, всю жизнь он будет жить с Еленой Павловной, с Таней, а вместо этого вся его семья теперь — высокая, с глуховатым голосом старуха, о существовании которой он когда-то и не подозревал.

Иван Алексеевич миновал мостик. Перед ним открылись широкие поля. И разом все повеселело вокруг, стало шумно от птиц и насекомых, пения и жужжания которых в овраге почему-то не было слышно. Точно из тихого, прохладного вечера он шагнул в ясный день.

В километре от мостика, на горе, раскинулось большое село Глушково.

3

Тихомирова Иван Алексеевич застал дома. Агроном встретил гостя приветливо.

— А, Иван Алексеевич! — закричал он зычным голосом. — Вот кому рад! Вот кому искренне рад! Заходите, дорогой мой. Сейчас мы что-нибудь сообразим. В обязательном порядке.

— Я ненадолго, — Иван Алексеевич сел на диванчик, обитый рубчатым вишневым бархатом. — Я к вам по дороге в город. Буквально несколько слов — и бегу.

— Ну и очень хорошо, — подхватил Тихомиров тоном полного согласия. — Ну и очень прекрасно! — И тут же крикнул так, что голубенькая занавесочка на окне колыхнулась. — Мама! Мамочка моя!

На пороге комнаты появилась старушка. Она была маленькая, с тихими плавными движениями, с умильной

улыбкой, кажется раз и навсегда застывшей на ее морщинистом личике. И тем не менее отчетливо было видно, что тучный, высокий Тихомиров, у которого на широком усатом лице ни одно выражение, вследствие крайней экспансивности, не держалось долее мгновения, очень похож на нее.

— Живу, как в дни юности моей, — с мамашей, — прокричал Тихомиров. — Жена и Филька блаженствуют на курорте в обязательном порядке! Купаются в Черном море. Плохо ли им сейчас, друзья мои?

Иван Алексеевич усмехнулся. Он все никак не мог привыкнуть к манере Тихомирова говорить одновременно и с собеседником и как бы еще со многими людьми, на поддержку и сочувствие которых он явно рассчитывал.

— Грибочков, мама, в обязательном порядке, не забудь! — Сын крепко обнял мать, словно боялся, что она уйдет, не дослушав его. — Если ты их не забудешь, то, наверное, вспомнишь и о графинчике! — Он обернулся к Ивану Алексеевичу. — Вот какое положение, друзья мои!

Старушка засмеялась. Это был такой радостный, молодой смех, что Иван Алексеевич, поглядев на нее, понял: видно, давно уже дожидалась она того дня, когда невестка с внуком уедут куда-нибудь и останется она, старенькая мать, вдвоем с сыном и станет ухаживать за ним так, как ухаживала когда-то, в дни его детства и юности.

Когда стол был накрыт и Тихомиров с Иваном Алексеевичем выпили по рюмке водки, закусив маринованными грибами, разговор принял деловой характер.

— Какой Галкин агроном, хороший или средний, я в точности определить не могу, еще не разобрался, — сказал Машин. — Но в одном смысле придется вам на этого молодого человека повлиять, Александр Матвеевич!

— Почему ж! Повлиять можно! — с готовностью согласился Тихомиров.

— С агроучебой дело обстоит из рук вон плохо! — продолжал Иван Алексеевич. — И в чем тут причина? В том, что у Галкина нет никаких педагогических способностей.

Полное лицо Тихомирова приняло недовольное выражение.

— А мне кажется, друзья мои любезные, — проговорил он, глядя поверх головы Машина, — что вам, Иван Алексеевич, вместо того, чтобы обращаться ко мне, следовало бы помочь Галкину в обязательном порядке. Вот это было бы дело!

— Потому я и решил с вами поговорить, Александр Матвеевич, — возразил Машин, — что Галкин не поддается! Всячески я пытался к нему приблизиться: «Давайте помогу!» Слышать не хочет. Сам, видите ли, все умеет.

Вошла старушка, поставила на стол продолговатое блюдо с винегретом.

— Уж не знаю, понравится ли вам, — сказала она. — Марианна Константиновна в винегрет уксус льет. А я не лью. Кислота в винегрете должна и без уксуса чувствоваться. Хотя, может, она и права, Марианна Константиновна?

— Мамаша, — сказал Тихомиров, подмигивая Ивану Алексеевичу, — зачем вы наводите тень на отсутствующую жену мою? Это неблагородно, мамочка моя дорогая!

— Да что ты, Саша! — пролепетала обиженно старушка. — Я... навожу... тень? Да лишь бы на меня никто тень не наводил. Господи, т а к люди живут, значит, им т а к нравится. И слава богу!

Она поправила скатерть на столе и вышла.

— Развесит Галкин, — сказал Иван Алексеевич, когда за старушкой закрылась дверь, — картинки всякие по стенам — дыни, огурцы, помидоры — и тычет в эти картинки: «Свекла в разрезе...»

— Нет такого наглядного пособия, — сердито буркнул Тихомиров.

— Ну что-то в таком роде. А вот проиллюстрировать теорию живым, запоминающимся примером — этого нет! Вы внушите Галкину, чтобы он не фыркал, когда я ему хочу помочь. У меня все-таки педагогический опыт кое-какой имеется.

Тихомиров с интересом поглядел на Ивана Алексеевича и громко расхохотался.

— Золото вы мое, Иван Алексеевич! Ну почему я вас так люблю? Все время с вами какая-нибудь канитель, а я все равно люблю!

Он налил вино в рюмки и закричал:

— Мамаша!

А когда старушка появилась на пороге, сказал ей:

— Вот этот заведующий районным отделом народного образования и есть мой супостат, мамочка! Вот кто меня со света сживает!

Старушка бросила взгляд на Ивана Алексеевича и сказала:

— Наверное, ты ошибаешься, Саша. У них лицо очень симпатичное.

Все трое рассмеялись.

4

Когда часа через полтора Иван Алексеевич ехал с вокзала в автобусе и с интересом смотрел на оживленные по-воскресному городские улицы, ему пришли в голову такие мысли:

«А что, если уже состоялось в институте распределение? Таня давно говорила, что есть слух, будто бы молодых врачей собираются направить в Казахстан. Трудновато будет мне в Казахстане. А как с Варварой Петровной получится? Поедет ли она? Сколько сразу свалится хлопот и забот! И надо же такому случиться, что в нашем районе больницы полностью укомплектованы врачами! Даже, говорят, резерв имеется. Если бы не было такого положения, похлопотал бы и, конечно, устроил, чтобы Таня работала поблизости. Но ведь тут не одного врача надо устроить, двух! Куда там! Лучше и не пытаться!

Как-то не могу определить, нравится мне этот Федя Бельчиков или не нравится? С малых лет в дом ходит, вроде милый парень. Но вот с некоторого времени как-то слишком самоуверенно держит себя, каким-то победителем выглядит. А кого он, собственно, этот Федя Бельчиков, победил? Что вообще сделал в жизни своей? Впрочем, при чем тут я и какое значение имеет — нравится он мне или нет? Тане-то он нравится».

Общежитие медицинского института занимало несколько двухэтажных оштукатуренных белой известкой старых домов на краю города. Когда-то здесь была городская больница.

В комнате первого этажа, где вместе с Таней жили Катя Синицына и Лиза Криворучко, никого не было.

Иван Алексеевич опустился на стул, с наслаждением вытянул ноги. Что-то он устал сегодня! Снял парусиновую фуражку, вытер пот со лба. Глаза как-то сами собой закрылись, захотелось вздремнуть.

Из коридора вошла в комнату большая серая кошка. Она, видно, не ожидала, что застанет тут незнакомого человека, остановилась у порога и поглядела на Ивана Алексеевича сонными глазами. От этого еще больше захотелось спать. Пришлось встать со стула, пройтись по комнате, встряхнуться. Кошка тут же вскочила на освободившийся стул, чуть не свалилось на пол висящее на спинке шелковое цветастое платье с красным пластмассовым пояском.

Иван Алексеевич снял с полки объемистую книгу. Это был учебник анатомии в ледериновом переплете. Книга чуть не выскочила из рук. Скелеты, красные мышцы, белые сухожилия, желудок, из которого выпадали пронумерованные внутренности... Из книги выпорхнула бумажка. На ней написано было крупными буквами: «Валька, это свинство, так поступать!» И оттого, что книга эта, очевидно, побывала в руках у Вали Титушевой, маленькой полной блондинки, жизнерадостной хохотушки с румяными щеками и звонким голосом, показалось Ивану Алексеевичу, что все эти страшные скелеты, кровавые мышцы и пронумерованные внутренности могут принадлежать только каким-то совсем иным людям, но не тем, что окружают в жизни.

От нечего делать Иван Алексеевич подошел к столику, помещавшемуся между застеленными белыми пикейными одеялами койками, и потрогал коробочку из бересты, в которой лежали шпильки; взял в руки флакон одеколона «Гвоздика», зачем-то посмотрел на свет желтоватую жидкость, отвернул белую крышечку, понюхал. Крышечка выскользнула из рук, упала. Иван Алексеевич почувствовал неловкость, какую всегда ощущал в этой девичьей комнате, где все было каким-то непрочным. Он взял с полки единственный стоящий том Большой советской энциклопедии, согнал со стула кошку и только расположился поудобнее, как услышал голоса за окном.

Он сразу узнал эти голоса.

— Ты можешь это оправдывать сколько тебе угодно, — говорила Лиза Криворучко, — я же не собираюсь!

И считаю, что я гораздо честнее поступила, когда прямо сказала ей, что это отвратительно, что это гадость! И все наши точно так же рассуждают — и Галя, и Света, и Клава. Все мы ее осуждаем, все... кроме тебя. Мне только теперь стыдно, что пять лет я прожила в комнате с человеком и не знала его.

— А я все-таки верю, что это любовь, — сказала Валя Титушева.

Но в голосе ее Иван Алексеевич не услышал на этот раз тех веселых, задорных ноток, которые были ему свойственны.

— Да брось, пожалуйста! — рассердилась Лиза. — Как тебе только не стыдно! А с Федей что тогда было?! Что?

— Это иногда случается. К одному человеку любовь пропадает... появляется к другому, — не слишком уверенно защищалась Валя.

— Или ты, Валька, меня нарочно злишь, или ты сама такая же! — закричала Лиза. — «К одному пропала, появляется к другому». Эх, ты!.. К Феде Бельчикову пропала любовь, потому что с ним надо в Казахстан ехать, а к этому, к Валерию Евгеньевичу, появилась, потому что у него квартира, машина и все на свете! Боже, боже мой! И это Танька?! Я была уверена, что ее... вóт как знаю!

— Что же, она такая подлая, да?

— А мне всегда не нравилась ее гордость! Как будто бы я об этом не говорила? Вот для того, наверное, чтобы выше всех прыгнуть, и понадобился этот толстый доцент!

— Вовсе он, этот доцент, не толстый, а интересный, — негромко сказала Валя. — Гораздо интереснее Феди. — Ей, очевидно, показалось, что она сможет переубедить подругу, и потому она добавила уже более решительно: — Мне, например, вполне понятно, что она влюбилась!

— Дура ты, вот что! — оборвала ее Лиза. — К счастью, на всю нашу компанию одна только ты такая дура! И беспринципная ко всему еще!

— У тебя все дуры, кто с тобой не согласен! — обиделась Валя. — И потом, так нельзя... отворачиваться вдруг от человека!

— «Отворачиваться»... — насмешливо проговорила Лиза. — Очень она сейчас о нас думает! Ах, как все это

противно! Между прочим, я и Катя завтра переезжаем к Катиной тетке. Хотя всего какой-нибудь месяц и остался нам жить тут, но все равно — не можем!

— Вы что, с ума сошли?!

Лиза Криворучко хотела ответить Вале, но вместо этого тихо вскрикнула от удивления: перед ней стоял Иван Алексеевич. В руках он держал том Большой советской энциклопедии.

— Я невольно слышал, — тихо сказал он. — Объясните мне, что произошло?

— Идемте лучше в комнату, — предложила Лиза и хотела встать с травы.

— Нет, не надо, — сказал Иван Алексеевич и сам опустился на траву.

Трава тут была редкая, вытоптанная, городская. Когда-то, очень давно, построили больницу в примыкавшем к городу небольшом леске. При постройке вырубили деревьев куда больше, чем следовало. Безжалостно валили тогда тут березы, осины, ели и оставляли почему-то только одни дубы. Разбили кое-где цветочные клумбы, понаделали дорожек, посыпали их желтым песком, и лес превратился в парк. Со временем же стал постепенно превращаться из парка в городскую окраину, так как на дубы напала гусеница, с каждым годом все меньше и меньше появлялось на них листвы; они засыхали, и их почти уже не осталось. И сейчас только кое-где была тень — неверная, дрожащая, пробитая светом.

Иван Алексеевич глядел на Лизу Криворучко, на ее некрасивое, не по-молодому строгое лицо, все разрисованное светом и тенями и потому казавшееся то хитро подмигивающим, то улыбающимся. Он ждал ответа.

Но молчание нарушила Валя.

— Лиза у нас очень непримиримая, Иван Алексеевич. Я же, например, считаю. . .

Она не сумела закончить фразы. То, что она недавно говорила Лизе, защищая Таню, она не могла повторить этому пожилому человеку с неторопливыми, а, когда надо, решительными и даже жесткими манерами, напоминавшими ей движения и жесты всех учителей, которых она знала. Вот уже пятнадцать лет из прожитых Валей двадцати трех она училась, и хотя ей иногда удавалось обманывать учителей, приходилось даже наблю-

дать порой их растерянность, не без удовольствия обнаруживать, что и им свойственны слабости человеческие, в избытке которых они постоянно ее упрекали, тем не менее она была твердо уверена, что в чем-то самом главном учителей обмануть нельзя.

— Таня бросила Федю, Иван Алексеевич! — сказала она. — Выходит замуж за пожилого доцента. Он к нам уже несколько раз приходил. Федя ужасно мучается. На это просто нельзя глядеть. Что это значит, Иван Алексеевич?

Впервые за много лет Иван Алексеевич, не подумав о своем авторитете педагога, сказал:

— Не знаю.

Он встал и пошел к дому. Девушки видели, как он постоял с минуту у двери, но в дом не зашел, а с их книгой в руках, как был, без фуражки, направился к воротам.

5

Сидя в вагоне пригородного поезда, Иван Алексеевич обнаружил, что держит в руках чужую книгу, а на голове у него нет фуражки. Вечерело, день мерцал лишь у окон, а в углах пустого вагона было уже темно, и от тряски эта жиденькая темнота колыхалась.

Всю свою жизнь Иван Алексеевич отмечал сумерки. Никогда они не проходили для него незаметно. Даже когда сумерки заставали его в разгар работы, он все равно улучал минутку, чтобы проводить день. Интересная она, эта минутка на границе дня и вечера: вспоминается и то, что случилось сегодня, и обязательно подумаешь о том, что будет завтра. Иван Алексеевич постоянно ощущал свою неразрывную связь с завтрашним днем. Так сильна, так прочна эта связь, что порой казалось Ивану Алексеевичу, что никогда он не умрет и для него завтрашний день обязательно наступит. Только сейчас, впервые за многие годы, не ощутил он в себе этой всегдашней уверенности. Без интереса наблюдая в окошке темные поля, очертания деревьев, он думал, что жизнь не бывает вечной, и кто знает, когда и как она оборвется.

Когда он вышел из вагона, к нему подошел начальник станции Гаврилов. Певучим, даже нежным голо-

сом, так не вязавшимся с его крепкой, дородной фигурой, сказал:

— Ну как хорошо, Иван Алексеевич, что я вас увидел! Хотел завтра к вам посылать. Большая просьба к вам. В четверг у нас закрытое партийное собрание. Вот бы хорошо, если бы вы нам после собрания лекцию о международном положении, как в прошлый раз. А, Иван Алексеевич? Или о воспитании детей? Так были бы вам благодарны! Как, Иван Алексеевич, договорились? Если хотите на партсобрании присутствовать, будем только рады! Может, заинтересуют вас наши железнодорожные дела?

Поезд уже отошел, и красный фонарь последнего вагона мерцал сейчас вдали не ярче, чем огонек папиросы Гаврилова, а тот все говорил о том, как бы было замечательно, если бы Иван Алексеевич согласился прочесть лекцию. Месяца два назад читал тут лекцию товарищ из общества «Знание», читал совсем неплохо, но прошлая лекция Ивана Алексеевича всем понравилась гораздо больше.

6

За ужином Иван Алексеевич молчал. Варвара Петровна, так и не дождавшись, что он ей расскажет о своей поездке в город, спросила:

— Ну как там Таня? Распределили ее?

— Не знаю, — ответил он. — И через мгновение добавил: — Я ее не видел. . . не застал.

— Вот девчонка! — с раздражением произнесла Варвара Петровна. — Знала же, что отец в воскресенье приедет! Небось умчалась куда-нибудь за город со своим Федей. А могла бы, между прочим, к нам явиться. Чем у нас не гулянье?

— С Федей, кажется, вообще дело покончено, — произнес Иван Алексеевич.

Его покоробило от собственных упрощенных слов — «дело покончено».

Он передал Варваре Петровне разговор Лизы Криворучко и Вали Титушевой, который случайно услышал.

— Чепуху вы какую-то говорите! — с присущей ей резкостью проворчала Варвара Петровна. — В вашем возрасте пора бы отдавать отчет в своих словах. — Она

решительно отодвинула от себя ни в чем не повинный медный чайник, мирно и дружелюбно посвистывающий на столе. — Ну как это можно девчонкам верить? Поссорились с ней из-за чего-нибудь — вот и наговаривают!

Иван Алексеевич с надеждой подумал: «Может, действительно что-то не так? И почему это я не дождался Тани, не поговорил с ней? И вообще, что со мной происходит? Ничего не выяснил, толком сам ничего еще не знаю, а расстраиваю, пугаю Варвару Петровну. Вот уж она-то этого никак не заслуживает».

И, попытавшись улыбнуться, он произнес:

— «Чепуху» оставляю на вашей совести, Варвара Петровна, а вообще вы правы. Будем надеяться, что все это какое-то недоразумение.

По тому, как радостно и визгливо залаяла Булка, Варвара Петровна догадалась, что это Таня отворила калитку. После вчерашнего разговора с Иваном Алексеевичем она с нетерпением поджидала девушку.

— Отец-то, оказывается, у меня вчера был, — говорила Таня, снимая плащ и отбиваясь от Булки, которая в порыве восторга пыталась лизнуть ее в лицо. — Девчонки, противные, не сказали ему, что я сейчас вернусь. Я сразу же после его ухода пришла. . . В вагоне ужасно душно было. Знаете, тетя Варя, мы напрасно со станции через Глушково ходим. Привыкли: Глушково и Глушково. А через Разуваево и ближе и дорога лучше — нет этого противного оврага.

Она говорила много, но видно было, что все это ей совсем не интересно — и овраг, и духота в вагоне. Варвара Петровна сразу заметила это.

— Люблю наш дом, — продолжала Таня, — очень я его люблю! Вы знаете, тетя Варя, мне кажется, что его сразу построили стареньким. Стареньким, но очень крепким. Навсегда.

— Распределили тебя? — спросила Варвара Петровна, когда Таня, усевшись наконец за стол, пила молоко из глиняного кувшинчика.

— У кого мы сейчас молоко берем? — поинтересовалась Таня.

— У кого брали, у тех и берем.

— Словно оно какой-то другой вкус имеет. Или мне

это кажется? Да, меня распределили, но дело в том... — Она отставила кувшинчик и тихо сказала: — Большие изменения произошли в моей жизни, тетя Варя. — Она подошла к старухе, обняла ее. — Даже не знаю, с чего начать. Ну, словом, тетя Варя, я вдруг почувствовала, что с Федей мне очень скучно... Нет, вру! Не вдруг почувствовала, а давно уж поняла, с прошлого года.

Варвара Петровна молча отстранила ее, села в кресло, взяла с подоконника вязанье, заработала спицами. Казалось, она занята только этим.

— Ну и тут произошло... Тетя Варя, это единственный человек, с которым мне интересно. Может быть, если бы Федя не вел себя так глупо... Я окончательно убедилась, что он неумный человек, Федя!

— Как же это? — не отрываясь от вязанья, спросила Варвара Петровна.

— Его фамилия Лебедев... Валерий Евгеньевич... ему лет сорок... о нем нельзя рассказать... его надо видеть, знать... научный работник. Тетя Варя, я выхожу за него замуж!

— А что же ты в городе будешь делать? — Варвара Петровна поглядела на Таню поверх очков. — Кого лечить? Самое себя, что ли? Там ведь врачей много. Да и не таких, как ты!

— Ах, тетя Варя, суровая вы моя женщина! — Таня укоризненно поглядела на старуху. — Вы же сами знаете, какой я принципиальный человек. Но что делать с принципами, когда любишь?

Варвара Петровна не поверила вчера Ивану Алексеевичу, ее покоробило от его слов «дело покончено», но сейчас она заметила, что Таня в разговоре опускает глаза. Таня ведь совсем не застенчивая, не робкая, еще какая бойкая, смелая. Когда говорила о том, что любит Федю, глаз не опускала, не спрашивала, кто носит молоко, не сетовала на плохую дорогу от станции, не боялась говорить о том, что было в ее жизни.

И Варвара Петровна твердо сказала:

— Это неправда! — Она положила вязанье на подоконник. — И еще у меня будет к тебе просьба — не произноси при мне это слово... любовь.

— Но почему неправда? Почему неправда? — возмутилась Таня. — Это именно правда и есть — я люблю его!

И потом, тетечка Варя, так же нельзя, это, если хотите знать, недопустимо! Вы же понятия не имеете об этом человеке!

— Видишь ли, Таня, — сказала Варвара Петровна, — мы с твоим отцом учителя, мы привыкли учить молодежь хорошему. — Голос Варвары Петровны задрожал. Она никогда не плакала, и, очевидно, то, что дрожал ее хрипловатый голос, и было слезами. — А потому нам с ним особенно трудно, — нет, нам просто невозможно согласиться с тем, что человек сходит с прямой дороги...

— Тетя Варя, — перебила ее Таня, — ну нельзя же так формально рассуждать: прямая дорога, кривая дорога...

Она обняла старуху и стала ее целовать.

— Не целуй меня! Мне это неприятно! — сказала Варвара Петровна, отстраняясь.

— Вот еще новости! — расхохоталась Таня, продолжая целовать старуху. — Тетечка Варя, он же меня страшно любит!

— Нет, — с уверенностью произнесла Варвара Петровна. — Не любит!

— Да что вы такое говорите?! Как вы можете утверждать, когда ничегошеньки не знаете?

— Мне ничего и не надо знать. Когда человек любит, он думает о судьбе того, кого любит. А этот хочет оторвать тебя от твоего кровного дела, от твоего призвания? Ведь медицина — твое призвание?!

— Ну почему же «оторвать»? Почему вы решили, что я не буду работать? — с раздражением спросила Таня. — Он определенно мне обещал, что устроит в поликлинику. Ему это легко сделать, сами понимаете! — В голосе Тани появились горькие нотки. — Вы меня, между прочим, очень разочаровали, тетя Варя. Я была уверена, что вы мне поможете, что мы вместе повлияем на отца.

— Вот он идет, — сказала Варвара Петровна, поглядев в окно. — Влияй на него сама.

7

Таня и фигурой, и лицом, и даже голосом так похожа на мать, что, когда, задумавшись о чем-нибудь, Иван Алексеевич обращался к ней, случалось, он называл ее

Леной. Было ей сейчас двадцать два года, именно столько, сколько было Елене Павловне, когда Иван Алексеевич влюбился в нее. И оттого, что так походили друг на друга мать и дочь — два существа, которые были подле него всю жизнь, — Иван Алексеевич, встречаясь с другими женщинами, невольно искал в них сходства с женой и дочерью. А если не находил, то и не нравились ему такие женщины.

Таня сидит сейчас в кресле под портретом Елены Павловны, которой словно приходится младшей сестрой, и говорит, говорит. . .

— Это все не так просто, папа! Поверь мне. . .

Он верит. Таня может не сомневаться: он знает, что в жизни все не так просто.

Иван Алексеевич подходит к окну. Уплывают вдаль облака. Как-то не верится, что облака могут растаять, исчезнуть совсем. Кажется, что облака стремятся поскорее миновать этот холодный синий край неба, чтобы там, вдали, создать сказочную страну. Вот это облако будет в сказке замком, это — горой, это — зверем. Вот уже и всадники с длинными пиками вскачь понеслись за зверем.

— Ну, расскажи о нем, об этом человеке. — Иван Алексеевич подходит к Тане. — Расскажи все, что о нем знаешь.

Таня молчит.

— Это трудно, — наконец говорит она.

— Трудно, — соглашается он, — но как-то все-таки возможно?

Таня молчит.

— Если ты почему-либо не можешь рассказать мне, расскажи Варваре Петровне.

Таня молчит.

— Не можешь рассказать сейчас, расскажи завтра, через неделю, когда хочешь. Но должен же я понять, что произошло? Это же не шутка! Ты Федю с детства любила.

— Валерий Евгеньевич приедет сюда.

— Ну и что? Не я же выхожу за него замуж? — повысил голос Иван Алексеевич. — Я-то в нем как-нибудь разберусь, а вот ты, по-моему, ничего не знаешь о человеке, который станет твоим мужем. . .

— На всю жизнь! — вырвалось у Тани.

— Не знаю, не знаю! Возможно, что и так. И что же, ты намерена жить с мужем в городе?

— Да.

— А диплом? Выходит дело, тебя зря учили? Зря тратили на тебя такие деньги? Выходит, что шесть лет ты занимала место, которое мог бы занять кто-нибудь другой...

«Ах, не то, не так я с ней говорю, — подумал он. — Не те слова. По-другому надо».

— Ну какая же я ужасная! — недобрым голосом воскликнула Таня.

— А я мечтал, что у тебя будет большая интересная деятельность. Медицина — твое призвание, и вот — ты предала ее.

— Ты что же, считаешь, что я не буду работать? — спросила Таня.

— Неужели нужно доказывать тебе простейшую истину, что врач должен лечить, а не посещать службу, полученную по протекции.

— Но это же лекция! Пойми, это лекция, это агитация и пропаганда, а не человеческий разговор! — с обидой и возмущением воскликнула Таня.

— Что же, если агитация и пропаганда правдивы, в них есть смысл. Ты пойми, Татьяна, я ненавижу, мне отвратительны люди, которые мимоходом, походя, что ли, не знаю уж как сказать, занимаются своим делом... По обязанности, потому что это надо... черт его знает еще почему, но без сознания своего долга...

Он тяжело дышал и последние слова почти выкрикнул. В таком состоянии Таня его еще не видела.

— И это все, что может мне сказать мой отец? — с горечью спросила она.

— Да. Это все.

— В такой сложный момент моей жизни?

— А чего в нем сложного? Променяла профессию на благополучие — только всего! Экая сложность!

— Папа, что ты говоришь?

— То, что думаю.

— Нет, ты так не думаешь обо мне! Но ты не хочешь понять, что я люблю его, люблю!

— Любовь, — машинально повторил он. — Нет,

о любви я с тобой говорить не стану. Есть области, в которые не принято вторгаться. Даже отцу.

— Боже мой, боже мой, как все это старомодно! Какие-то «принято», «не принято». Это похоже на твою древнюю тужурку, которая неизвестно зачем еще висит в шкафу!

— Значит, я старомоден. Так? Отвечай, я не обижусь! Со стороны ведь виднее. Однако и в старых модах было кое-что ценное, нравственное. Тужурку я больше надевать не буду, ее действительно следует выкинуть, но то, чему меня научила моя молодость, — этого я забывать не стану!

— Не знаю, чему там тебя учили, но жить по какому-то своду законов, по-моему, немыслимо. Это уже кандалы!

— Нет, это именно свод законов нашей жизни. И я ничего не хочу в нем менять. . .

«Нет, не так, не так с ней надо говорить», — снова подумал он, но тут же понял, что теперь уже не найти нужных слов. . .

— Но ты же отец! Ты же. . . У тебя должно же быть отцовское сердце. . . а не машина какая-то!

— Мне приходилось наблюдать, что к сердцу апеллируют чаще всего люди бессердечные. Если бы тут был Федя Бельчиков, он наверное бы со мной согласился.

— Какой же ты черствый человек! — Она помолчала. — Что же — мне так вот просто уехать? Да?

— Да, лучше тебе уехать!

Иван Алексеевич сел к столу, закурил папиросу, и Таня, хорошо зная его характер, поняла, что уже никто и ничто не заставит его вымолвить ни слова.

Она вышла из комнаты.

Иван Алексеевич опять подошел к окну. Облака висели на горизонте. Темные, они казались дремучим лесом. И только одно маленькое облачко плыло над домом по синему простору, точно одинокий кораблик, которому уже все равно никого не догнать.

8

Прошел час. Иван Алексеевич сидел за столом и карандашом рисовал какие-то головки на бумаге: пышные, легкие волосы. . . Они как бы все время в полете. И в сол-

нечном луче сверкает рыжеватая искорка над головой. (Он нарисовал и солнце, и лучи его — палочки.) Такие волосы словно ищут ветра, и он их всегда находит. (Он не знал, как нарисовать ветер, но все же попытался.) Овал лица у женщины настолько нежный, что, кажется, вот-вот совсем растает. (Он бросил взгляд на портрет в самодельной раме.) Серые глаза, большие, откровенные, такие искренние, что веришь даже тогда, когда слышишь заведомую ложь.

Карандаш притупился, Иван Алексеевич ножичком заострил грифель и опять стал поспешно рисовать, точно делал к сроку какое-то неотложное дело. Некоторое время до него доносились голоса дочери и Варвары Петровны, потом все стихло.

Вечерело. Неподалеку прошло стадо. Слышно было сонное мычание и треск кнута. Несколько раз Булка выбегала со двора лаять на коров, выбегала и возвращалась и опять выбегала, никак не могла налаяться досыта.

Иван Алексеевич поглядел на женскую головку, которую только что нарисовал. Обладательница ее показалась ему какой-то сказочной жительницей нездешних мест — там не мычат коровы и не лают собаки, там, у нее, все не как здесь.

Он зажег настольную лампу. Рисунок разом потускнел — свет лампы спугнул женщину, остались на листке бумаги лишь штрихи, палочки да пятна.

Иван Алексеевич достал из ящика папку, открыл ее. В последнее время немало говорилось в газетах об излишней сложности отчетов, да и о ненужности многих из них. В течение нескольких дней разрабатывал Иван Алексеевич новую форму школьной отчетности, которую хотел предложить облоно. Но, разрабатывая эту форму, он понял, что и сами взаимоотношения между районными и областными отделами народного образования во многом далеко не совершенны — устарели, требуют изменений. Об этом следовало говорить уже в обкоме партии. И все же Иван Алексеевич никак не мог принять окончательное решение: обращаться ли в обком или, может, лучше написать статью в газету? Тут он вспомнил о стенгазете родителей, выпуск которой затеял несколько месяцев назад в Глушковской школе. Ничего

путного из этого не вышло. Оформлялась газета неплохо, изредка даже появлялись в ней дельные статьи, но главное, для чего она была задумана, достигнуто не было. Настоящая, глубокая критика жизни школы отсутствовала.

Иван Алексеевич знал, чувствовал, что безусловно можно и нужно создать серьезную и интересную газету родителей, но ему это никак не удавалось. Проглядев последние номера, Иван Алексеевич понял, что торжественно-парадный тон многих ее статей, незначительность мыслей, вложенных в эти статьи, сводят это начинание на нет. Никому она не нужна, такая газета. . .

С Глушковской школой дело вообще обстоит неважно: кажется, так и не успеют к началу учебного года сделать капитальный ремонт. И все из-за того, что в летнее время школьные помещения используются под склады для овощей, инвентаря. Когда же это кончится?!

И вдруг он поймал себя на том, что улыбается. Чему же? Ни о чем веселом ему сегодня не удалось даже подумать. Ах, да! Смешно, очень смешно сказала Таня: «Боже, боже мой, как все это старомодно!»

«А вы бы поинтересовались этими старомодными! — подумал он, не зная, к кому обращаясь. — Уйдут они, и многого вы так и не узнаете. А ведь это они создавали революцию, первые пятилетки. Вас, новомодных, еще и на свете-то не было! Это же было страшно интересно! Кто расскажет вам об этих годах, если не мы, старомодные люди? . .»

С молодости у него была привычка думать за себя и за своего оппонента, вести подобные споры. Потом, спохватываясь, он почему-то смущался, смеялся над собою, старался прервать «спор» каким-нибудь другим занятием.

Так и сейчас. Иван Алексеевич придвинул к себе поближе папку с бумагами, но как раз в эту минуту вошла Варвара Петровна. Она села на диван, закурила папиросу.

— Вот живет на свете существо, — сказала она, по обыкновению своему сильно затягиваясь.

— Какое именно? — спросил Иван Алексеевич, не отрываясь от бумаг.

— Сейчас поймете! Существо это шпыняют, потому что у него весьма и весьма непривлекательный вид.

— Варвара Петровна! — сказал решительно Иван Алексеевич. — У меня работа, и если у вас нет ко мне других вопросов, то о Булке мы поговорим потом!

— Вопросы есть, — возразила она поспешно, точно опасаясь, что он не станет ее слушать. — Вот первый вопрос: почему вы ни разу за все время не поинтересовались, довольна ли я жизнью у вас или недовольна?

Такого он никак не ожидал и потому растерянно пролепетал:

— Мне казалось. . .

— «Казалось, казалось»! — повторила она его слова, но не сварливо, не грубо, а с каким-то даже сожалением к нему. — А надо бы спросить меня. Чего ж вы не спросили? А я вот недовольна! Я всю жизнь привыкла работать, но не пыль стирать с мебели, а преподавать. Я преподавать хочу, вот что! — Она помолчала, снова затянулась и глухо произнесла: — Я не могу все время терять детей. Володю. . . теперь вот ее. Это невозможно! Я поеду к ней. . . В городе я буду учительствовать. И им, конечно, помогу по мере возможности. А может, и вы, Иван Алексеевич? . . Не оставаться же вам одному, если уж случилось такое.

— Нет, Варвара Петровна, — сказал он, — сегодня я еще не могу понять Таниного поступка. Он, если хотите, не увязывается с моими взглядами, с убеждениями моими. И потому нам лучше жить врозь.

— Но как жить? Как вы будете теперь жить? — повторила она.

— Вот этого я не знаю.

Весь следующий месяц Иван Алексеевич энергично готовился к началу школьных занятий. С капитальным ремонтом Глушковской школы, конечно, запоздали: подгнившие венцы не заменили новыми, фундамент не переложили, сделали лишь поверхностный ремонт, так коечто и кое-как. Виновным в срыве капитального ремонта от райкома сильно попало, а Иван Алексеевич воспользовался случаем и добился, чтобы в решении было запи-

сано: «В следующем году, помимо капитального ремонта, возвести каменную пристройку к школьному помещению для размещения биологического и химического кабинетов».

Тихомиров на том же бюро расхохотался своим громовым смехом.

— Ну и хитер Машин, дай ему бог здоровья! Давайте, друзья-товарищи, к следующему вопросу перейдем поскорее, а то он еще что-нибудь проведет под эту бирку! Сад какой-нибудь там ботанический или библиотеку на пять тысяч томов.

Все рассмеялись, а Иван Алексеевич ехидно сказал:

— Воображение у вас, Александр Матвеевич, слабенькое! Пять тысяч! Эко дело!..

Раза три за последнее время приезжала Таня, с отцом обменивалась ничего не значащими фразами, но подолгу шепталась с Варварой Петровной, а о чем — он не знал до тех пор, пока однажды, придя домой под вечер, не обнаружил на своем столе записку:

«Я не раз советовала Вам уехать к Тане, но Вы были непреклонны. Я тоже непреклонна и потому уезжаю. Прощание с Вами для меня было бы слишком тяжелым, тем более что мы и не прощаемся: я буду навещать Вас. С завтрашнего дня к Вам станет приходить Аграфена Васильевна Фокина, она будет вести Ваше хозяйство. Я благодарна Вам за все, мне же от Вас никакой благодарности не надо, но я печалюсь о Вашей судьбе...»

Иван Алексеевич повертел листок в руках и подумал: «Как явилась сюда незаметно, так и ушла. А ведь прожили мы под одной крышей ни много ни мало — четырнадцать лет. Неужели четырнадцать?»

Булка лежала на пороге; взгляд ее, устремленный на Ивана Алексеевича, означал: «А что, собственно, здесь у нас происходит?»

Иван Алексеевич отложил записку в сторону, встал из-за стола и сказал громко, точно кто-то, кроме Булки, мог услышать его в этом пустом доме:

— Ну что ж, пусть будет так!

Глава третья

1

С каждым днем характер Варвары Петровны становился все сварливее. Вечером, когда Валерий Евгеньевич приходил из университета, она говорила ему, расставляя тарелки на круглом столе, покрытом белоснежной скатертью:

— Не понимаю я вас! Отказываюсь понять!

— А что такое, Варвара Петровна? — осведомлялся Лебедев.

— Зачем, собственно, я вам потребовалась? Зачем? — добивалась она, забывая, что он вовсе и не звал ее, а приехала она сюда по своей воле.

Валерий Евгеньевич снимал и протирал кусочком замши очки. Так он поступал всегда, когда требовалось время продумать ответ. Или, может быть, он снимал очки потому, что был очень близорук и собраться с мыслями ему бывало легче, когда он не видел, а только слышал собеседника?

— Конечно, — продолжала Варвара Петровна, — хозяйничать, варить, жарить — это я умею, этому меня еще мать выучила. Но вы же много получаете — могли бы пригласить даже повариху!

То, что она, старуха, часто упоминала о своей матери, не переставало удивлять Валерия Евгеньевича. Он уже знал о ее матери едва ли не больше, чем о самой Варваре Петровне. Знал, что она работала в детском приюте, что была добрым, бесхитростным человеком, которого все, кому не лень, обижали и в конце концов довели до могилы. Валерий Евгеньевич чуть ли не завидовал всем, кто когда-то общался с этой, так не похожей на Варвару Петровну, добродушной женщиной, которая, по словам ее сварливой дочери, «всю жизнь прожила для других, всех согревая теплотой своего любящего сердца».

— Ну зачем вы так говорите, Варвара Петровна? — спрашивал он, когда стекла массивных очков начинали ярко блестеть и очки водружались на розоватую от тяжелой оправы переносицу. — Я, право, очень доволен, что вы у нас живете!

— Нет, — возражала Варвара Петровна. — Не мо-

жете вы быть довольны! И я вас отлично понимаю. Жили вы своей жизнью, и вдруг в доме появился чужой человек. — Она показала на себя пальцем и для большей убедительности даже постучала им по своей впалой груди. — И человек этот говорит вам неприятные слова. А зачем, с какой, собственно, стати вам это терпеть?

Хладнокровие начинало покидать Валерия Евгеньевича. Он с тоской поглядывал на дверь, ведущую в соседнюю комнату — не появится ли оттуда Таня и не избавит ли его от этой пустой болтовни? Но Таня очень расстраивалась от подобных разговоров, и тогда он жалел ее, забывая о собственном раздражении.

— Ты не расстраивайся, Танюша, — говорил он. — Со старыми людьми такое бывает — нападет дурь, и ничего тут не поделаешь. Потом проходит. Если бы только ты знала, до чего дошел мой отец за два года до смерти! Как он меня мучил! — Валерий Евгеньевич улыбался и добавлял: — Бедная ты моя! Что еще тебя ожидает! Ведь я стану стариком куда раньше, чем ты постареешь!

— Нет, ты таким никогда не будешь, — возражала Таня.

— Еще и не таким буду, — шутил Валерий Евгеньевич, подходил к зеркалу в массивной раме красного дерева и начинал разглядывать себя, то отходя, то приближаясь. — Красив! — подтрунивал он над собою и взъерошивал свои светлые волосы. — Очень красив! Иногда просто удивляешься щедрости матушки природы и несправедливости ее. Такой красоты хватило бы на сто человек, а она отпустила ее мне одному! Ну, а о фигуре и говорить нечего. Тополь!

— Вовсе ты не такой полный, — смеялась Таня. — Ты просто плотный, крепкий!

Валерий Евгеньевич усаживался на диван, привлекал ее к себе и говорил:

— Нет, Танюша, я толстоватый и некрасивый человек! Может, правда, неглупый, но, не Сократ, конечно. Историк я вдумчивый, но не Федор Адамович Карсавин, сама понимаешь. — Он с нежностью поглаживал Таню по голове. — Но при всем этом — я самый счастливый человек на свете!

Они подолгу просиживали на широком кожаном диване в кабинете Валерия Евгеньевича. В такие часы

Варвара Петровна никогда не заходила туда, и о том, что пора ужинать Таня и Валерий Евгеньевич узнавали по шуму, который вдруг возникал за стеной: это Варвара Петровна хлопала кухонной дверью или стучала вилками и ножами в столовой.

— Просто удивляюсь, — говорила Таня. — Не узнаю я Варвару Петровну. Она никогда такой не была! Мне даже неловко перед тобой, — она бывает невыносимой.

— Все будет хорошо, — успокаивал ее Валерий Евгеньевич. — Все обойдется!

— Меня это пугает, — говорила Таня, вставала с дивана и направлялась в спальню, чтобы привести себя в порядок.

Этой продолговатой комнатой владела мебель карельской березы. Когда Таня впервые побывала у Валерия Евгеньевича, ей показалось, что в трех комнатах его квартиры живут три семьи мебели и... один человек. Было даже не совсем понятно, где же помещается этот человек, так независимо и властно чувствовала себя здесь мебель: дуб — в столовой, красное дерево — в кабинете, карельская береза — в спальне.

Расчесывая перед овальным зеркалом туалета пышные, с золотистыми искорками, волосы, Таня подумала о том, что эта мебель, особенно эта вот, в спальне, как-то недружелюбна к ней, холодно поблескивает и словно противится каждому ее прикосновению: чуть тронешь — пятно. И в такие минуты Таня с нежностью вспоминала свою комнатку в Комарове, простенькую узкую кровать, письменный стол, сделанный руками отца, и лампу под зеленым, круглым, напоминающим башенку стеклянным абажуром.

2

Валерий Евгеньевич сдержал слово: Таню приняли на работу, но не в клинику, как предполагалось, а в амбулаторию — участковым врачом.

Узнав об этом, она вначале обрадовалась, потом нахмурилась.

— Понимаешь, Валера, — сказала она мужу, — это же совсем самостоятельная работа. В клинике я — среди товарищей, среди опытных врачей, всегда можно посо-

ветоваться. А тут? — Она невесело улыбнулась. — Не с больными же мне советоваться!

— Да, тебе будет трудно, — согласился Валерий Евгеньевич. — Я помню, когда уже не студентом, а преподавателем вошел в университетскую аудиторию, ужасно оробел.

— У вас — другое дело, — заметила Таня. — А у нас — живые люди, больные...

Варвара Петровна, присутствовавшая при этом разговоре, сказала Тане несвойственным ей в последнее время, мягким голосом:

— При твоих-то способностях... Справишься, не робей.

Валерий Евгеньевич с благодарностью посмотрел на старуху.

— Опыта у меня никакого нет, тетя Варя. При чем тут способности? — возразила Таня.

Варвара Петровна не обратила на ее слова никакого внимания.

— Вы знаете, — обратилась она к Валерию Евгеньевичу, — у нее со школы определенное стремление к медицине. Еще маленькой она была, кто там ногу расшибет, кто палец поранит — мчится, хватает бинт, перевязывает. Да так умело! Можете себе представить, с седьмого класса стала популярные медицинские книги читать.

Варвара Петровна еще долго говорила о Таниных способностях к медицине, о том, что Таня со временем станет выдающимся врачом, а Валерий Евгеньевич глядел на ее ласковое сейчас лицо, и ему хотелось сказать:

«Ну, вот и хорошо, Варвара Петровна, вот и всегда бы вы так. И была бы у нас чудная семья. Напрасно вы, честное слово, постоянно злитесь на меня! Я понимаю: вам хотелось, чтобы у Тани был красивый молодой муж. Будь я на вашем месте, я бы, наверное, так же себя вел. Но ведь я-то на своем месте! И что же мне, бедному, на этом своем месте делать, если я люблю Таню?»

Варвара Петровна спросила Таню:

— Ты какое платье завтра наденешь?

— Серое.

— Серое не годится: чересчур модное.

— Под халатом все равно не видно.

— Нет, я лучше тебе коричневое выглажу.

Она ушла на кухню гладить коричневое платье, а потом долго «собирала» Таню на работу, как в прежние годы «собирала» в школу: гладила платье, начищала до блеска ботинки, пришивала какие-то тесемочки, воротнички, манжеты. Начало учебного года было для нее своего рода праздником, и главным лицом на этом празднике была она сама, Варвара Петровна.

Сегодня у нее тоже был праздник.

Валерий Евгеньевич, с довольным лицом прислушиваясь к ее возне, сказал:

— Ну вот видишь, Танюша, я же тебе предсказывал, что старушка образумится!

Таня спросила мужа о том, что уже несколько дней очень интересовало ее.

— Скажи, что здесь написано? — Она взяла со стола маленькую записную книжку в зеленом матерчатом переплете и протянула ее Валерию Евгеньевичу. — Как это все понять?

Валерий Евгеньевич вспыхнул, книжечку не взял и, прежде чем ответить, долго протирал замшей стекла своих очков:

— Да так...

— Нет, ты скажи. Вот, например, это что значит? — Она перелистала книжечку. — М. С. — сорок, В. А. — двадцать пять, З. К. — десять. И еще такие записи.

Он молча шагал по комнате.

— Если не хочешь, можешь и не говорить, — сухо сказала она.

— Да нет, почему же...

— Я не настаиваю.

— Видишь ли, Танюша, иногда надо помочь человеку, — по-разному ведь складываются обстоятельства. М. С. — это Мария Семеновна, уборщица у нас в университете. У нее с дочкой, понимаешь, неприятность... глупая девчонка позволила себе... Ну конечно, ее обманули, бросили, и, конечно, наша бедная Мария Семеновна вся в слезах... Девчонка к тому же не работает...

Таня сидела в кожаном кресле за большим столом, а Валерий Евгеньевич стоял поодаль. Его освещала настольная лампа, и свет ее доходил лишь до его плеч.

Поэтому Таня не видела его лица, и ей показалось, что это говорит сейчас вовсе не он, а кто-то другой. Когда Таня была увлечена Федей Бельчиковым, она знала: он добрый парень, но это не удивляло и не радовало ее, потому что именно так и должно было быть. Но оттого, что Валерий Евгеньевич был намного старше ее, был ученым, и оттого, наконец, что окружающие его люди относились к нему почтительно, с уважением, — ему, по мнению Тани, разрешалось многое, чего нельзя было бы разрешить Феде, в том числе разрешалось быть и не очень добрым. Доброта была для Валерия Евгеньевича как бы не обязательна. До этого момента Таня считала, что он добр только к ней, и то, что сейчас открылось ей, скорее удивило ее, чем обрадовало.

— А буквы В. А. — это Владимир Андреевич, — продолжал Валерий Евгеньевич, — тоже наш работник. Затруднения у него возникли... ну, в общем, денег на путевку в дом отдыха не хватало. Видишь ли, Танюша, зарабатываю я много. Куда мне? Отец был часовым мастером, все пропивал, так что к роскоши я не приучен. — Он сделал широкий жест рукой и рассмеялся. — Это первая жена втравила меня. А я изо всей квартиры больше всего кухню люблю. До того, как ты ко мне переехала, чаще всего там сидел. И кабинет был куплен моей бывшей женой безо всякого моего участия. — Он расхохотался по-детски, очень весело, и показал рукой на шкаф. — Это что? Памятник какой-то! Я тут только книги ценю. При таком кабинете надо крепостных иметь, поместья! Так что если и тебе это не дорого, Танюша, давай продадим все к черту и заживем в свое удовольствие!

Тане захотелось вскочить с кресла, броситься к мужу, обнять его, поцеловать, но тут появилась Варвара Петровна с коричневым платьем в руках. Платье необходимо было примерить, оно, кажется, стало Тане узким. Рассеянно приняв его из рук Варвары Петровны, Таня направилась в спальню. «Но зачем записывать в блокнот свои добрые дела?» — вдруг подумала она, и хорошее настроение ее мгновенно сменилось недоуменной печалью.

3

Таня постучала в дверь. Никто не ответил. Она вошла в комнату, а следом за ней, из коридора, — высокий худощавый мужчина в сером клетчатом пиджаке, накинутом на голое тело.

— Вы доктор? — спросил он.

Лицо у него было угреватое и какое-то невыспавшееся.

— Да, — ответила Таня. — По вашему вызову.

Маленькая комната не убрана. На столе немытые тарелки. Постель не убрана, подушка в нечистой наволочке. Край ситцевой занавески заткнут за стоящий около окна высокий деревянный ящик, покрытый пожелтевшей газетой, на которой лежат какие-то инструменты. На занавеске изображены птицы, и оттого, что крылья их были неправдоподобно узкими и начинались, как руки, от плеч, они походили не на птиц, а на противных человечков.

Таня вынула из своего портфельчика карточку и прочла: «Сизов, Петр Петрович».

— Совершенно верно, — подтвердил худощавый мужчина.

— Я думала, вы лежите.

— Не стремлюсь к этому.

Таня поглядела на него, и ей почудилось, что он, нечесаный, небритый, всего лишь часть этой запущенной комнаты, всего лишь одна из птиц на занавеске, — неприятная птица с острым носом. Невозможно было представить себе его в другой обстановке, скажем, на улице, в солнечный ясный летний день. . .

Сизов пододвинул Тане единственный в комнате стул.

— Садитесь, пожалуйста!

— Спасибо, — поблагодарила Таня и поинтересовалась: — Как вы себя чувствуете?

— Самочувствия настоящего не чувствуется!

Он рассмеялся: ему понравился этот убогий каламбур. И тут же обнаружилось, что за синеватыми тонкими губами скрываются белые, ровные, очень красивые зубы.

Таня вынула из верхнего карманчика халата термометр.

— Ни к чему, — сказал Сизов, — температура нормальная.

— Давайте я вас послушаю, — предложила Таня.

Сизов с неохотой снял пиджак.

— Ничего не нахожу, — сказала через несколько минут Таня, засовывая стетоскоп в карман халата. — В легких чисто. Небольшая эмфизема курильщика. — Она взяла его руку в свою и стала считать пульс. — Температура действительно нормальная. Можете выйти на работу.

Это было первое в ее жизни посещение больного, и ей бы сейчас очень хотелось, чтобы больным оказался не Сизов, а какой-нибудь симпатичный, душевный человек, которому она, Таня, откровенно призналась бы, что ужасно волнуется и потому, может быть, говорит не то, что ей хотелось бы, а повторяет слова, услышанные от других врачей.

— А нельзя ли все-таки продлить бюллетень? — спросил Сизов. — Был бы вам очень обязан.

— Нет никакой необходимости, — ответила Таня.

— Я, видите ли, протезист, зубной техник, и у меня как раз сейчас срочная работа дома, дня на три, ну, на четыре. Делаю два моста одному человеку. — Он внимательно поглядел на Таню и добавил так, будто решил оказать ей большую услугу: — Вы не стесняйтесь, товарищ врач. Все люди, всем жить надо! Я же вас великолепно понимаю! — Лицо его сделалось очень ласковым. — Жалованье маленькое... платьичко... туфельки. И то хочется, и это нравится... А как же иначе?

«О чем это он?» — подумала Таня.

— Вот вы какая худенькая, — продолжал Сизов. — К тому же, кто узнает? Никто! Я в спокойной обстановке работу свою доделаю, а вы... в общем, не в убытке. — Он вынул из кармана пиджака бумажку, положил на стол. — Все как полагается.

«Ах, вот что!.. Вот ты какой! Ну, подожди!» — пронеслось в Таниной голове, и она вскочила со стула.

— Да вы сидите, сидите! В ногах, как говорится, правды нет!

— Это я у вас-то буду сидеть?! Да как вы посмели? Вас надо за это...

К ее крайнему удивлению, Сизов оставался спокойным.

— Понимаю ваше смущение, — сказал он. — И даже разделяю в полной мере. Я и сам, если хотите, смущен. Но обстоятельства...

— Вы нечестный, нечистый человек! И... зубы у вас тоже фальшивые! — зачем-то добавила она.

— Зубы действительно вставные, — не без некоторой грусти согласился Сизов. — Как говорится, сапожник без сапог: нету у меня своих зубов, давно нету...

— Я немедленно сообщу... я сообщу главному врачу, и мы проверим... мы вас проверим... Какой у вас был врач?..

— А что вы сообщите? — спросил Сизов, и в водянистых его глазах появилась насмешка. Он взял со стола деньги. — Вот я прячу их в карман — и дело закончено! И все! И ничего! А у вас, милая барышня, совести нету, вот что! — В голосе его был искренний укор. — Такая молоденькая, комсомолка, наверное, а войти в положение человека не хотите! Четыре дня каких-нибудь не можете дать. А на комсомольских собраниях небось много красивых слов говорите — о чуткости и прочем таком... — Как бы захлебнувшись горечью своих слов, он умолк.

Таня выбежала из комнаты.

4

В этот день она побывала еще у нескольких больных. Все принимали ее очень вежливо, даже как-то заискивающе. К рецептурным листочкам относились почтительно, а когда один листочек упал на пол, пожилая женщина с возгласом: «Ах ты, господи!» бросилась его поднимать так, точно он был стеклянный и мог разбиться...

Вечером Валерий Евгеньевич внимательно слушал рассказ Тани. К ее удивлению, он не очень возмутился поведением Сизова, и, хотя и сказал: «Безобразие какое!», Тане показалось, что внимание его к ее сегодняшним переживаниям не настоящее, деланное, что занят он какими-то своими мыслями и только ждет момента, когда можно будет их высказать.

Варвара Петровна, по своему обыкновению, стояла,

прислонившись к стене, курила. Она не дослушала до конца Таню, перебила ее:

— А что ты тут не понимаешь?! Все же яснее ясного! Зовут тебя только для бюллетеня, а лечатся у настоящих врачей.

Это было сказано слишком резко, даже для Варвары Петровны. Но Таня не обиделась. Она вдруг увидела себя как бы со стороны — с портфельчиком в руках, заходящей в дома, где больные ждут ее, как выразилась Варвара Петровна, «для бюллетеня». Лето сменится осенью, осень — зимой, а она, Таня, так и будет ходить из дома в дом, выписывать одни и те же рецепты, говорить одни и те же слова... Год сменится годом, потом еще, еще, еще, а она, уже старая, так и будет ходить из дома в дом, где ее ждут «для бюллетеня»...

— У нас сегодня гости, — сказал Валерий Евгеньевич, когда старуха вышла из комнаты.

— Я очень плохо себя чувствую, — проговорила Таня, не скрывая раздражения: ей стало окончательно ясно, что ему нет никакого дела до ее переживания. — Какие еще гости?

— Слушай, Таня, — сказал тихо Валерий Евгеньевич, — ты напрасно считаешь, что я не понимаю, как тебе тяжело все это. Понимаю. И пока ты рассказывала, я размышлял: как же поступить? — Лицо его помрачнело. — Действительно, сложное положение, очень сложное. — Он со злостью хлопнул себя по лбу. — И как же я об этом раньше не подумал? — Он подошел к Тане, обнял. — Нет, нет, так быть не должно! Это для тебя не работа! Молодой врач должен учиться, а здесь ты ничему не научишься. — Он стал закуривать, пальцы его дрожали. — Просто сразил меня твой рассказ!

— Но что же делать? — спросила Таня, смягчаясь. — Ты же связан с университетом, уехать из города не можешь!

— Для тебя я все смогу, — сказал он. — Милая ты моя, родная. Ты — вся моя жизнь.

Так он еще ни разу не говорил. Некрасивое его лицо показалось сейчас Тане удивительным, даже прекрасным.

— А каких гостей ты позвал? — спросила она уже спокойно.

— Да я не звал! Сами позвонили и сказали, что придут нас поздравить. — На лице его появилось смущение. — Я же ничего не смог возразить! Не скрою, Федора Адамовича мне всегда приятно видеть. Но вот она действительно очень глупа. И потом, как с Варварой Петровной? Как она к этому отнесется? Впрочем, Федор Адамович ей понравится. — Неожиданно Валерий Евгеньевич расхохотался. — Такого человека на свете нет, которому бы Федор Адамович не понравился!

5

Таня убедилась, что муж не ошибся.

— Вот бы тебе с такими людьми знакомства и водить, — сказала Варвара Петровна после ухода гостей.

Тане, которой Федор Адамович и самой понравился, захотелось узнать, что же именно в Карсавине произвело на старуху наибольшее впечатление.

— Что произвело впечатление? Знаменитый... и... простой! Значит — умный! Спесь-то — та же глупость. Не что иное. А легко ли ему не быть спесивым при таком-то положении? Значит, твердый характер, не то что у твоего отца. Уважаю таких. И потом — веселый! Я сама веселая! Я таких люблю.

Таня с удивлением слушала старуху. Ей и в голову не могло прийти, что Варвара Петровна — веселый человек. Но при чем здесь отец? Разве он бесхарактерный?

— Конечно! Слабовольный он, — подтвердила Варвара Петровна. — Какой же еще, если сам себя победить не может? Своего упрямства! Это только кажется, что крепче, чем у него, характера и быть не может!

6

До этого вечера Таня была уверена, что самый умный человек изо всех, кого она знала, Валерий Евгеньевич. После же знакомства с Карсавиным она поняла, что на свете есть люди, о существовании которых она даже и не подозревала.

Когда за столом разговор зашел о том, как провела Таня свой первый рабочий день, Федор Адамович сказал:

— Я в медицине мало понимаю, но мне кажется, что Татьяна Ивановна именно здесь получит настоящую практику. Все эти квартиры, комнаты и есть, на мой взгляд, та самая гуща жизни, о которой вы так печетесь, Валерий Евгеньевич. Татьяна Ивановна столкнется со множеством различных людей, и с грязными, и с хорошими, она поймет всю сложность жизни. А это очень важно для каждого человека, для врача же, мне думается, просто необходимо.

— Но есть же, так сказать, собственно медицина, — попытался возразить Валерий Евгеньевич.

— А вот это именно и есть, как вы выразились, собственно медицина, — продолжал Карсавин. — И практики тут у Татьяны Ивановны будет не меньше, чем в каком-либо другом месте, если не больше. — Он повернулся к Тане. — Вы, Татьяна Ивановна, не обращайте внимания на то, что вас вызывают, так сказать, для бюллетеня. Это верно, но верно только отчасти. Многие вызывают для того, чтобы выздороветь, и вы работайте так, будто никаких бюллетеней на свете не существует. Лечите! Наблюдайте человека в его доме. Я думаю, что вы и сегодня кое-что для себя интересное, возможно, упустили... от ненависти к бюллетеню!

Улыбка на его худощавом, горбоносом лице держалась ровно столько, сколько требовалось. Карсавин умел владеть своим лицом.

Он закурил папиросу.

— Ты сегодня очень много куришь, — сказала ему жена.

Карсавин покорно положил папиросу в пепельницу и с легкой иронией заметил:

— Мария Евграфовна умеет внести ясность в любой вопрос. Действительно, сегодня я курю больше, чем обычно.

Мария Евграфовна любила комментировать, это была ее страсть. Нельзя сказать, чтобы она затрудняла себя глубиной анализа. Если, например, на небе появлялось солнце, она так и говорила: «Вон солнце вышло». А если шел дождь, замечала: «На улице дождь идет». Она была уверена, что без нее никто ничего не заметит и люди останутся в полном неведении о происходящем. Только

после ее комментария явления обретают смысл и кристальную ясность.

— Как хорошо быть молодой, — обратилась она к Тане так, будто ей одной это было известно. — Как хорошо вступать в жизнь, да еще рядом с таким человеком, как Валерий Евгеньевич! Он мой любимец, и, если бы у меня была дочь... — Она не договорила.

Карсавин слушал ее внимательно, и на смуглом лице его было написано: «Да, я знаю, моя жена очень глупа. Другой на моем месте стал бы подтрунивать над ней. Но не я. И мне было бы крайне неприятно, если бы так поступил кто-то другой. Другой на моем месте, вероятно, избегал бы ее общества и уж во всяком случае не ходил бы с ней в гости. А я вот хожу! Нравится вам это или нет, но я хожу в гости только с женой!..»

Весь вид Карсавина говорил о том, что ему, может быть, как никому другому на этой планете, видны и слабости и достоинства человеческие. К слабостям он относится снисходительно, а достоинства уважает и склонен их даже преувеличивать. Вообще же в этой жизни весьма немногое может удивить, потрясти его. Слишком много он видел.

Его мать, цирковая наездница Жизель Карсавина, по паспорту Анна Чибрикова, постоянно обиженная то любовниками, то содержателями провинциальных цирков, вздорная, легкомысленная женщина, металась по городам и местечкам, вовсе не всегда удосуживаясь брать с собою сына. Мальчуган оставался у чужих людей. Часто мать забывала присылать деньги на содержание ребенка, и тогда мальчику самому приходилось зарабатывать на пропитание. Летом он помогал владельцам каруселей вертеть тяжелую круглую махину, под цветастым ситцевым куполом которой под звуки гармошки мчались деревянные кони, львы, лебеди; зимой выполнял различную мелкую, часто грязную работу: чистил помойки, подносил покупки с рынка, а иногда и побирался.

В одном городишке ему пришлось прождать мать целый год, и, когда она появилась, он сказал ей:

— Я не люблю тебя! Зачем приехала?

Мать заплакала, закричала, стала просить у сына прощения. Но он не слушал ее. Он ушел от матери. Город был южный, весь в фруктовых садиках. В одном из

таких садиков, на скамейке, провел мальчуган ночь. Матери он с тех пор никогда не видел. А было ему в то время десять лет.

Как жил он потом, как не умер от голода, — этого он и сам впоследствии не смог бы объяснить. Когда ему было шестнадцать лет, он явился к директору губернской гимназии и попросил разрешения держать экстерном экзамены за восемь классов. Разрешение получил, экзамены выдержал, а еще через три года пришел к ректору провинциального университета и изъявил желание сдавать экстерном экзамены за историко-филологический факультет.

Озадаченный ректор смотрел на худощавого юношу с серыми, жесткими, но вместе с тем очень глубокими глазами, на его грубые рабочие руки, на заплатанный, явно с чужого плеча, пиджак, и все больше проникался жалостью к просителю. Это был либеральный ректор.

«Вот как люди из народа стремятся к образованию, — подумал он, — и как мало мы им помогаем».

Но что он мог сделать?

— Своей властью я не в состоянии вам это разрешить, — сказал ректор. — Ведь и гимназию вы окончили экстерном. Высшее образование — и ни одного дня в учебных заведениях!

Юноша закрыл глаза. Так и стоял он с закрытыми глазами у стола ректора в большом кабинете с портретами царя и царицы.

Всем своим видом, а в особенности ярким желтым платком, которым была обмотана худая шея, он как бы нарушал образцовый порядок в кабинете. Скулы его подергивались.

«Он, кажется, плачет, — подумал ректор, — но как-то странно плачет, с закрытыми глазами. Ах, бедняга! Под этим платком, конечно, нет рубашки».

— Но мы запросим Петербург, — сказал ректор мягко, — министерство просвещения.

Юноша открыл глаза — в них не было слез.

«Самолюбивый, — подумал ректор, — ничего у меня не возьмет».

Но все-таки спросил:

— Чем вы занимаетесь?

— Я учусь, — ответил юноша.

— А живете на что?

Юноша с удивлением посмотрел на ректора. Очевидно, ему самому никогда не приходил в голову этот вопрос.

— Ни на что, — ответил он уже с улыбкой. — Случайная работа. Если вам надо наколоть дров — пожалуйста! У меня это хорошо получается.

— Я занимаю казенную квартиру, с дровами, — сказал ректор. — Но вообще я бы мог...

И тут же решил, что обязательно сделает запрос в Петербург, рискуя даже получить неблагоприятный ответ.

Ответ из Петербурга прибыл через полгода и гласил, что министерство просвещения в принципе не возражает против допущения к экзаменам Федора Карсавина, так как весьма уважает стремление простых людей к образованию. Федору Карсавину разрешалось держать экстерном экзамены за историко-филологический факультет при условии внесения им семисот рублей: шестьсот — общепринятая плата за четыре года обучения, а сто — за специальные экзамены. В случае, если экзамены не будут сданы, Федор Карсавин получит обратно внесенные им шестьсот рублей.

— Вы можете одолжить у кого-нибудь эти деньги? — спросил ректор юношу.

— Нет.

— Хотя бы на короткий срок. Если не сдадите, мы вам вернем шестьсот рублей.

— Я сдам, — ответил юноша и вышел из кабинета.

Снова он пришел сюда только через год, одетый на этот раз вполне прилично.

— Я могу внести деньги, — сказал он.

И, чтобы у ректора не было сомнений, достал из кармана семь бумажек с изображением императрицы Екатерины Второй.

— Откуда эти деньги? — спросил ректор. Ему пришла в голову страшная мысль: не совершил ли этот юноша с жесткими серыми глазами какое-нибудь преступление?

Но ректор напрасно волновался. Никакого преступления юноша не совершил. А если и совершил, то только против себя же самого: он женился на дочери врача Евграфа Даниловича Голубева. Она была очень некра-

сива, и по городу ходили легенды о необыкновенной ее глупости. Но она влюбилась в него.

Три месяца, как он был женат. Впервые за всю жизнь он не голодал, не ходил в рваных ботинках. Но не это радовало его: он привык к нищете с самого детства, и она мало его угнетала. Он наслаждался возможностью сидеть над книгами ровно столько времени, сколько ему хотелось, не думая при этом ни о чем другом. И это было счастьем. И хотя он не любил свою жену, но в благодарность за помощь в труднейший момент его жизни дал себе слово никогда и ничем не обидеть ее. Он дал себе такое слово. А слово он умел держать.

— Эти деньги добыты честно, — сказал юноша ректору, с укором посмотрев на него.

Ректор спросил, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение:

— Почему у вас такое отчество — Адамович? Редкое имя.

Юноша улыбнулся. Тогда его улыбка была еще вполне самостоятельной, не управляемой.

— Я отца своего не знаю. Паспортист в участке, выдавая документ, спросил меня: «Ты от кого происходишь?» Я ответил: «От Адама».

Он блестяще сдал экзамены за университет. С тех пор ему сопутствовали удачи. В тысяча девятьсот шестом году вышла его книга «Дореформенная Русь». Она принесла ему известность и признание. В ней он ссылался и на иностранных авторов, которых читал в подлинниках, так как владел к этому времени пятью языками. Он объездил почти весь мир и всю жизнь работал не менее двенадцати часов в сутки, никогда не испытывая усталости. Как прошла его жизнь, он и не заметил: писал, читал, преподавал, руководил, а все остальное мало его интересовало.

Иногда он вспоминал мать, обычно почему-то по ночам. Тогда он откладывал в сторону листы рукописи, закуривал и с минуту прислушивался к тишине, которая царила в его большой квартире.

«Все как сон, — думал он. — Все как будто бы только что началось, а мне уже семьдесят, я — старик. А ведь когда-то была яблоня. Она низко склонялась к скамейке, и ветви ее щекотали лицо. И был садик. А теперь — вот

этот кабинет; был мальчуган Федька, теперь — профессор Федор Адамович Карсавин. Да... Пожалеть бы надо мать. Она, наверное, давно уже умерла, у меня и фотографии ее нет. И я почти не помню ее лица. Все, все как сон».

Но утром, после того, как, с аппетитом позавтракав, он садился в машину, чтобы ехать в университет, все представлялось уже не сном, а единственной реальностью. Реальным было то, что шофер Павел Семенович аккуратно, заботливо вел машину, так как знал, что Федор Адамович не переносит даже малейших толчков; реальным было и то, что с момента, когда он, Федор Адамович, входил в здание университета, там начиналась особая жизнь. Казалось бы, он не мог знать того, что происходило в университете до его появления, но он и это знал. Он отчетливо представлял себе, скажем, что делал Сергей Сергеевич Афанасьев, когда декан исторического факультета бывал в отсутствии. Этот Афанасьев, пятидесятилетний крепыш с широким, всегда красным, точно после бани, лицом, был заместителем Карсавина, но ухитрялся никому не давать ответов ни на какие вопросы. Причем уклонялся от ответов как бы не по своей инициативе, а подчиняясь каким-то высшим соображениям, известным лишь самому Федору Адамовичу и не известным даже ему, Сергею Сергеевичу Афанасьеву.

А доцент Рыжов, веселый и вместе с тем желчный человек, влюбленный в каждого, кто безропотно с ним соглашался, и ненавидящий тех, у кого имелось собственное мнение, до приезда Карсавина в университет, вероятнее всего, резко и ядовито высмеивал какого-то своего собеседника, не заботясь даже о минимальной вежливости. С момента же прибытия Карсавина Рыжов становился более сдержанным с ненавистными ему людьми: он был трусом.

Всех в университете отлично видел Федор Адамович в самые различные моменты, всех представлял себе точно. И лишь Максима Максимовича Ладейникова, широкоплечего человека с лицом, заросшим черным волосом чуть ли не до самых глаз, коренастого, очень сильного, всем своим видом напоминающего грузчика, но уж никак не профессора, — лишь одного Максима Максимовича Федор Адамович не мог себе представить в те моменты,

когда не видел его. И это как-то тревожило, беспокоило. Федор Адамович был уверен, что должен досконально знать всех подчиненных ему людей и твердой рукой направлять их.

Он сам не признавался себе, но смутно ощущал, что эта вот власть над людьми с некоторых пор не менее увлекательна для него, чем сама наука. И еще в одном не решался он признаться себе — в том, что стремится узнать окружающих его людей вовсе не для того, чтобы лучше руководить ими, а только для того, чтобы убедиться: они менее умны, чем он, не обладают той волей, какой обладает он, менее энергичны и предприимчивы. Словом, он хотел увериться, что они не выйдут из его, Федора Адамовича Карсавина, подчинения. Вот, пожалуй, единственное, что стремился он постичь в людях, и потому он очень плохо знал этих людей.

Но, как бы ни владел Карсавин Лебедевым, Рыжовым, Афанасьевым, как бы беспрекословно они ему ни подчинялись, на самом деле они владели Карсавиным не в меньшей степени, чем он ими. Предпринимать что-либо существенное было невозможно ему без их согласия.

— Вы слышали, Валерий Евгеньевич, о том, что Страхов опять ходил в обком? — спросил он.

— Выжил из ума, — улыбнулся Лебедев.

— Как вам сказать... — Федор Адамович задумался. — По-моему, хуже. Ум-то у него есть, но направлен совсем не в ту сторону, куда следует. Ко всему еще сбивает его Ладейников.

При упоминании о Ладейникове Валерий Евгеньевич поморщился.

— Да, это, я вам скажу, субъект! — Он даже стукнул пальцем по ручке кресла, будто наносил удар Ладейникову. — Ужасный субъект!

— Мне-то вообще жалко старика Страхова, — обратился Карсавин к Тане, как бы призывая ее вместе с ним проявить сочувствие к неведомому ей человеку. — Все мы учились по его книгам. И два сына погибли на фронте. Снохи есть, внуки... целый коллектив! Дошел чуть не до нищеты. А ведь ему за восемьдесят.

— Неужели нельзя ему как-нибудь объяснить? — проговорила Таня, очень польщенная тем, что Федор Адамович обратился к ней и считает ее достойной принимать

участие в обсуждении университетских дел. Она ощутила сейчас себя в полной мере хозяйкой дома и решительно сказала: — Тетя Варя, мы можем ужинать!

И Варвара Петровна, тоже польщенная вниманием, каким удостаивает Карсавин Таню, вместо обычных для нее в таких случаях ответов, вроде «сама знаю» или «не учи меня!», сказала:

— Конечно, конечно, Танюша!

За столом разговор о Страхове продолжался. Таня мало понимала в университетских делах, и ее гораздо больше интересовало то, как Федор Адамович ест. А ел он так же, как все остальные люди, вилкой брал кусок с блюда, клал на свою тарелку, разрезал ножом, жевал. Но Тане казалось, что все его движения, все жесты — все это не для того, чтобы насытиться, нет, это необходимое добавление к его мыслям и словам, так же как курение, например, или постукивание по столу тяжелыми пальцами, когда он слушает собеседника. Он был, по ее мнению, в постоянном плену у своих мыслей, владевших им безраздельно и сурово.

И Таня подумала:

«Точно его завели когда-то, давным-давно, и пружине конца не будет! Он, наверное, когда спит, тоже все время думает!»

— Вот вы, Татьяна Ивановна, задали вопрос: нельзя ли Страхову объяснить всю безрассудность его поведения? — услышала Таня обращенные к ней слова Карсавина.

Таня ничего не говорила о безрассудности поведения Страхова, ее вообще этот Страхов вовсе не интересовал, но она кивнула головой.

— Ведь мы же объясняли, уговаривали его, — продолжал Карсавин, — а вот, пожалуйста, вместо того, чтобы прислушаться к нам, стал в обком бегать! — Карсавин усмехнулся. — Ну, а что обком? Что? Мы ведь, если можно так выразиться, люди всесоюзные! Вот слегка и отшлепают старика в обкоме.

Валерий Евгеньевич рассмеялся.

Карсавин с упреком поглядел на него.

— Как будто бы смешно? — спросил он. И тут же сам ответил себе: — А на самом деле очень грустно. — Он поднял бокал на уровень глаз, поглядел сквозь розовую

жидкость, но вина не выпил, поставил бокал на стол.— Да, грустно, грустно, Валерий Евгеньевич.— Он снова поднял бокал и поглядел сквозь него, прищурив один глаз.— И нечему тут радоваться, Валерий Евгеньевич, поверьте мне.

— Пока Ладейников будет в университете, все будет так же печально, если не хуже,— произнес Валерий Евгеньевич.

— Я с вами согласен,— сказал Карсавин,— это истина.— Он развел руками.— Но что ж тут поделаешь!

Вот он и подошел к тому, что его интересовало. В симфонии появилась основная мелодия, во имя которой и создана симфония. Карсавин, конечно, мог избавиться от Ладейникова, но боялся отпустить его от себя. Когда несколько лет назад он избавился от Страхова, все получилось куда хуже, чем он предполагал. А Ладейников вне университета, Ладейников, предоставленный самому себе,— это пугало Карсавина.

— Но предположим, Валерий Евгеньевич,— сказал он после минутной паузы,— предположим,— хотя я себе просто даже не представляю, как бы это могло случиться,— что удалось бы оздоровить атмосферу в университете и Ладейникову пришлось бы покинуть нас. Не кажется ли вам, что и в этом случае он не подумает прекратить свои безумства, а, наоборот, как и Страхов, лишь удвоит их?

Валерий Евгеньевич понял всю серьезность вопроса, он думал не менее минуты и только потом ответил:

— Мне кажется, Федор Адамович, я никогда не перестану удивляться вашей мудрости!

Карсавин получил интересующий его ответ. Дальше оставаться в гостях уже не имело смысла. Он поднялся со стула, поглядел на часы:

— А время-то, время! Начало первого!

И стал прощаться.

Когда за Карсавиным закрылась дверь, Таня спросила мужа:

— За что ты этого Ладейникова так ненавидишь?

— Отвратительное существо! — ответил Валерий Евгеньевич.— Грубый, злой, самоуверенный и, по-моему, грязный человек! Не достоин он даже того, чтобы порядочные люди и говорили-то о нем.— Он усмехнулся.—

И подумать только, что Федор Адамович когда-то дружил с ним: оба были аспирантами в Саратовском университете.

7

Таня тут же забыла об этом разговоре, но через короткое время ей пришлось о нем вспомнить.

В числе вызовов к больным был вызов к Ольге Трофимовне Капитоновой, проживающей по улице Чехова.

В маленькой комнате при кухне, уютной, опрятной, на кровати лежала молоденькая девушка, очень похожая на мальчугана, то ли потому, что ее волосы были острижены, то ли из-за курносого носика.

Таня осмотрела больную, выписала рецепты и собралась уже уйти, но тут в комнату вошел старик, широкоплечий, большерукий.

— Ну как, доктор? Что вы находите? — спросил он Таню.

— Обыкновенный грипп. Ничего особенного.

— А сколько лежать ей требуется?

— Три дня, не меньше.

— Завтра же встану, — сказала девушка. — Три дня — вот еще!

— А вы знаете, — улыбнулся вошедший, — она встанет. Упрямства у этой Оли на сто человек хватит и еще останется! — И вдруг, рассердившись, постучал пальцами по спинке кровати. — Попробуйте только завтра встать! — Он прикрикнул и на Таню: — Третий раз грипп за какие-нибудь два месяца! Лечить — это, знаете, мало, надо еще и вылечивать!

И вышел из комнаты.

— Это ваш родственник? — спросила Таня.

— Да нет, я домработница у них.

— А кто он такой?

— Профессор. Может, слышали, Ладейников фамилия.

— Ладейников?!

— А вы чего так удивились?

— Нет, ничего.

— Это у него вид только такой грозный, неприступный. А на самом деле... — Оля глубоко вздохнула и добавила нараспев: — Боже ж мой, какой же это человек!

Жизнь его избила, можно сказать, искромсала, а злым он от этого не стал, нет, не стал. В преклонные свои годы с кем проживает? С сестрой своей младшей, с Анной Максимовной. Старая дева она. Добрющая и брата любит очень. Вот если вы подойдете тихо к комнате, где они вдвоем — брат с сестрой, — прислушаетесь к ним: шутят они по большей части, посмеиваются. Горе свое он от нее скрывает, от Анны Максимовны, а она делает вид, ловко так представляется, будто вполне ему верит. А я-то знаю, что за этим слезы. Горючие слезы!

— Какое же горе у него?

— С Лидией Ивановной познакомился Максим Максимович, когда был еще совсем молодым. А она и вовсе девчонкой была. И сразу же они ужасно полюбили друг друга и стали мужем и женой. Жили душа в душу. Но недолго — умерла она, у нее порок врожденный был, никак не могли вылечить и оперировать не брались. С тех пор как она умерла, очень много лет уже прошло, а он так и не женился, — ну, что вы! Портрет жены, большой такой, висит у него в комнате, и, я замечала, Максим Максимович то и дело на него поглядывает, советуется, что ли, ждет от нее слова. Только чего от портрета дождешься?

Оля вытерла пальцем слезу.

— Вот так он и живет, Максим Максимович. Живет и людям добро делает. И сестра его Анна Максимовна такая сочувственная... Ну что там говорить! Учат меня, занимаются со мной по всем предметам! Да! «Мы из тебя, Ольга Трофимовна, сделаем человека! Нашла себе занятие — домработница!»

— А родных у вас нет? — спросила Таня.

— Братишка один, Петька! — Оля рассмеялась. — А знаете, что они с ним сделали? Парень он вообще такой легкомысленный, ушел с завода, подался в носильщики на вокзал. Конечно, дохода больше. Ну, а там, где большой доход, там и баловство! Выпивать сильно начал, вообще безобразничать. Ко мне захаживал в нетрезвом виде, и манеру такую взял — денег занимать. Чем больше зарабатывает, тем больше ему, видите ли, не хватает. Распустился до невозможности! Вот тут его Максим Максимович и взял в оборот. «Ты, говорит, не ходи больше сюда!» А Петька — он вообще бойкий. «Как это

«не ходи», если я родной брат?» Но не на такого напал. «А она, — говорит Максим Максимович, — стесняется тебя!» Петька — криком: «Родного брата?» — «А что из того, что ты родной брат? Человек ты темный, невоспитанный, грубый!» Петька чуть не с кулаками. Он самолюбивый ужасно. «Что же, говорит, она, Олька, барышня какая?» А Максим Максимович смеется: «Подумаешь, барышня! Барышня — это ерунда! Она скоро учиться пойдет, добьется хорошей специальности, может, доктором станет, может, инженером, так она тебя не только в дом не пустит, а и на улице не узнает!» Петька тут озверел окончательно. «Вот как вы, оказывается, рабочий класс понимаете?! А еще профессор советский!» А Максим Максимович еще громче смеется: «Какой же ты рабочий класс, когда вчера два билета на Москву с надбавочкой продал?» Петька даже рот открыл. «Это что в мягком вагоне?» — «В мягком вагоне». — «А откуда вы знаете?» Ну, тут Максим Максимович попросил всех посторонних выйти из комнаты и с Петькой вдвоем остался. Даже дверь на ключ закрыл. О чем они толковали — неизвестно, только после этого Петька на завод вернулся. Работает. Жениться собирается.

— А как же ему удалось так сразу повлиять на вашего брата? — спросила Таня, заинтересованная тем, что услышала.

— Вот как? Кабы я знала! Я спрашивала. Он такой вообще дает ответ, Максим Максимович: «Во-первых, говорит, я убедился в том, что Петька очень самолюбивый, значит, надо его по самолюбию бить!»

— Ну, а откуда он насчет этих двух билетов узнал?— перебила Таня.

— На это он не дает ответа, а только...

Она не окончила фразы. В комнату вошел Ладейников.

— Я тут на вас накричал, — обратился он к Тане. — Это все из-за нее, из-за Оли этой. Много она вам тут наболтала?

— Да мы разговаривали...

— Это неправда, — перебил с усмешкой Ладейников. — Говорила она, а вы только слушали. — Он внимательно поглядел на Таню. — Такая молодая, а уже — районный врач.

«Если бы ты знал, чья я жена!» — подумала Таня. — Может, сказать?»

— Вы, наверное, из медицинской семьи? — спросил Ладейников.

— Почему вы так думаете?

— Да показалось.

— Нет, мой отец учитель. Он заврайоно в Комарове.

— Хорошее местечко, — сказал Ладейников. — Знаю, бывал. — Он о чем-то задумался. — Два часа поездом.

— Два часа пятнадцать минут, — уточнила Таня.

— Два часа, — повторил он и вдруг, пристально поглядев на Таню, спросил: — Хотите, я это ваше Комарово осчастливлю?

— А оно и так счастливое, — улыбнулась Таня.

— Помогай ему бог, — тоже с улыбкой сказал Ладейников. — Но совсем уже не понадобятся милости всевышнего, если в этом самом Комарове учить ребят будет такой человек, которого почитали за счастье привлекать к сотрудничеству лучшие университеты. Не скрою от вас, тут я хлопочу не столько о вашем Комарове, сколько о нем, об этом человеке. Ему необходимо работать, творить, — я не оговорился, — он и в школе тоже станет творить. Иначе он не может.

8

Через два дня снова пришла Таня. Дверь ей открыла Оля. В синем платье с белым воротничком, она показалась Тане очень хорошенькой.

— Все-таки встали, — с упреком сказала Таня.

— Да я уже здорова, — отозвалась Оля.

— Идемте, я вас послушаю.

Когда они вошли в маленькую комнатку при кухне, Оля спросила:

— Принесли?

Таня вынула из портфельчика письмо и протянула Оле.

— Старик-то еще не соглашался, — сказала Оля. — Шумел. «Да как я поеду? Да гожусь ли?» Максим Максимович на него насел: «Поезжайте, обязательно, говорит, поезжайте! Это, говорит, вам просто необходимо,

Антон Нилыч». Ну, тот притих. Восемьдесят лет. Легко ли? . .

О письме с просьбой устроить Антона Нилыча Страхова на работу в Комаровскую школу, которое Таня написала отцу, Валерий Евгеньевич знал и даже сам сделал приписку. Но Таня никак не могла понять: в чем же дело?

Рассказ Ладейникова о тяжелой жизни старика Страхова задел ее, хотя она слышала об этом и от мужа и от Карсавина. Они говорили о Страхове с сочувствием. Но почему же в таком случае сами не помогли ему? Ну, Карсавина Таня знала мало, у него она не могла спрашивать. Но ведь муж ее был очень добрым человеком, так, по крайней мере, она считала. Одалживал же он людям деньги — в этом она сама убедилась, наткнувшись на зеленую книжечку.

С такими мыслями Таня возвратилась домой. В день, когда Таня познакомилась с Ладейниковым, она резко сказала мужу:

— Ну, давай поговорим!

И уселась в кресло.

— Может, после обеда? — спросил Валерий Евгеньевич, с удивлением поглядев на нее.

— Нет, лучше уж сейчас. Зачем тянуть?

— В чем дело? — испугался Валерий Евгеньевич.

— Я познакомилась сегодня с Максимом Максимовичем Ладейниковым.

Валерий Евгеньевич улыбнулся. Слава богу! Он ожидал худшего — так агрессивно была настроена его жена.

— Тебе смешно? — спросила Таня. — А мне нисколько. Этот Ладейников произвел на меня очень хорошее впечатление! Прекрасное впечатление!

— Вот что? — стараясь быть насмешливым, промолвил Лебедев. — Ну и что? Разве наши с тобой впечатления непременно должны совпадать?

— Нет! Но вспомни, как ты выразился тогда о Ладейникове. «Такой отвратительный, что даже не достоин, чтобы о нем говорили честные люди». Говорил ты это?

Валерий Евгеньевич хотел что-то ответить, но Таня продолжала с какой-то незнакомой ему веселой и разудалой злобой. Он не слышал ее слов, его поражали только

ее интонации, гнев, звенящий в ее голосе, ее отчужденность.

После долгой, напряженной паузы он спросил:

— Как же ты познакомилась с ним, с Ладейниковым?

Она довольно спокойно и подробно рассказала о визите к больной домработнице Оле.

Он слушал внимательно, расхаживая с папиросой в зубах по комнате, а когда Таня замолчала, еще долго продолжал ходить. Наконец докурил папиросу, потушил ее о пепельницу.

— Вот что, Таня, — начал он. — Если бы я даже ошибался в моральных свойствах Ладейникова (а я в них не ошибаюсь), это ничего не изменило бы по существу. Я теперь очень жалею, что раньше не посвятил тебя в наши университетские дела. Может быть, этот Ладейников и не произвел бы на тебя столь чарующего впечатления. А отзыв домашней работницы? Ах, Таня, Таня! Всем, кроме тебя, известно, что он с ней в весьма близких отношениях. Впрочем, меня это не касается. Теперь о Страхове. Ладейников хорошо к нему относится. — Валерий Евгеньевич засмеялся. — Но почему бы ему плохо к нему относиться? У Страхова большое имя в науке. Правда, он его уже довольно долгое время ничем, так сказать, не подтверждает, но имя... это имя. И в какой-то момент Страхов для Ладейникова, у которого нет и никогда не было никакого имени в науке, может оказаться весьма и весьма полезным человеком. Однако и это меня, в сущности, не интересует.

Валерий Евгеньевич опять закурил, но Тане было ясно, что вовсе не потому, что ему захотелось курить, а просто чтобы обдумать дальнейшее.

— Ах ты бедняга мой! — сказала она уже ласково. — Кстати, как будет правильно: бедняга мой или бедняга моя? Стараешься, стараешься, все хочешь объяснить своей Тане, а она только как собака на тебя бросается. Ах ты злая собака, Таня!

— Я хочу, чтобы ты прослушала одну маленькую сказочку, — попросил он.

— Ну давай!

Ей уже хотелось поверить, что она ошиблась в Ладейникове, что через несколько минут муж представит ей

неоспоримые доказательства этой ее ошибки. «Я его очень люблю, — подумала она о муже, — и мне он, наверное, всегда будет казаться правым».

— Жили-были два товарища, — начал Лебедев.

— У самого синего моря! — улыбнулась Таня.

— Нет, жили они в большом городе, где был университет, аспирантами которого они являлись. Итак, являлись они аспирантами, — слегка нараспев, как и надлежит рассказывать сказки, продолжал повеселевший Лебедев, — и друзьями. Мечты, конечно... эдакий славный путь в науке, успехи, слава и все самое прекрасное. Но мечтали-то оба, а получил все это лишь один...

— Понимаю, — Карсавин, — сказала Таня.

— Ну конечно, — подтвердил Лебедев. — Ты же сама убедилась, какой он, Федор Адамович. И как же, по-твоему, может к нему относиться посредственность вроде Ладейникова? Подумай! Вместе начинали, а кто теперь Карсавин и кто Ладейников? Ну? А тут в стране всякие события, партийные съезды. Нельзя ли как-нибудь воспользоваться этим и свалить Карсавина? Конечно, не для того, чтобы сесть в его кресло, нет, при всей самонадеянности Ладейников понимал, что этого произойти не может. Но вот отомстить Карсавину за то, что он талантлив, уважаем и так далее. Ну, а какие же обвинения? Карсавин карьерист! А почему, собственно, карьерист? Ведь пребывание на посту декана такому ученому, как Карсавин, ничего не прибавляет, а скорее уж отнимает... время, силы. Ведь будет ли Федор Адамович деканом или не будет, он же все равно — Карсавин! Слов нет, Федор Адамович бывает иногда жестковат. Это есть. Но ведь он борется за процветание науки, за наш факультет. Конечно, излишняя жесткость вообще-то не нужна, но бывает, что без нее не обойдешься. Не отрицаю, может быть, я иногда недостаточно активно сдерживаю Федора Адамовича. Но кто я, Танюша? Доцент. Велики ли мои возможности, если деканом факультета является не кто иной, как сам Карсавин? Надо же трезво смотреть на вещи.

Он подсел к Тане на диван, обнял ее.

— У тебя, Танюша, естественно, может возникнуть вопрос: почему я не помог старику Страхову? Ну, хотя

бы просто материально. Но будь же объективна, подумай сама — разве он принял бы от меня помощь? Что же касается того, чтобы устроить старика на работу в школе у отца, — это я не только полностью одобряю, но хотел бы воспользоваться случаем, если ты, конечно, разрешишь, и сделать в твоем письме приписку.

В письме, которое сегодня Таня передала Оле, были следующие строки, принадлежащие Валерию Евгеньевичу:

«Глубокоуважаемый Иван Алексеевич! Я думаю, что отношения между нами, вернее, отсутствие каких-либо отношений является следствием тяжелого недоразумения. Со своей стороны, я бы очень хотел устранить все, что мешает нам с вами относиться друг к другу по-родственному, и был бы счастлив, если бы Вы разрешили мне проявить инициативу. С нетерпением ожидаю от Вас какого-нибудь знака в этом смысле».

Конец письма сперва был иным: «С нетерпением я и Таня ожидаем от вас какого-нибудь знака в этом смысле».

— Я не этого ожидаю. Я ожидаю совсем другого! Он заподозрил меня в том, будто я вышла замуж не потому, что полюбила тебя, а потому, что мне это было выгодно. — Глаза ее блеснули. — Вот я и ожидаю: когда он наконец поймет, как оскорбил меня?

И Валерий Евгеньевич в который уж раз подивился ее характеру.

Глава четвертая

1

Осыпались листья с деревьев. Необыкновенно торжественными казались теперь в лесу вечнозеленые сосны и ели среди нищих берез и осин. Несколько дней не переставая лили дожди, а когда выглянуло солнце и озарило все светом, в лучах его уже не было прежнего тепла. Тучи со всех сторон наступали на солнце. Они подплывали к нему, то тяжелые и грузные настолько, что, казалось, могут рухнуть на землю, то легкие и быстрые. Тучи то закрывали, то открывали солнце. Свет и тени

чередовались на земле с такой быстротой, как это бывает только осенью.

В школах района уже начались занятия, дел поэтому у Ивана Алексеевича, что называется, было по горло, и он теперь почти не бывал в Комарове. Некоторые школы находились от районного центра довольно далеко, дороги расползлись, и добираться стало трудно. В прежние годы, посещая эти школы, Иван Алексеевич стремился хотя бы к ночи попасть домой. Теперь же все чаще оставался в том селе, где заставал его вечер.

Но сегодня из Рогожина он отправился домой: завтра предстояло заседание в райкоме. На попутном грузовике, который то и дело застревал в пути, Иван Алексеевич ехал всю ночь, и лишь под утро показались дома Комарова.

Стряхнув с брезентового плаща воду, Иван Алексеевич хотел очистить сапоги (для чего на крылечке положен старый выщербленный столовый нож), но тут дверь отворилась, и на пороге появилась Аграфена Васильевна. При взгляде на эту полную женщину казалось, что три подушки — верхняя небольшая, другая много больше, третья — огромная — поставлены одна на другую, но не очень прочно соединены и вот-вот развалятся в разные стороны. А глаза у Аграфены Васильевны были маленькие и такие добрые, что глядели по-матерински не только на детей, но и на тех, кто был значительно старше ее самой.

— А вас человек дожидается, — сказала она, зевая.

— Какой человек?

— Не знаю, не говорит. Сильно старый. От Танечки у него письмо.

В кабинете, склонив голову на стол, спал старик. Густые седые волосы свисали прядями — уже кое-где не белые, а желтоватые: последняя пора старости. Ивану Алексеевичу показалось, что нежданный гость, приложив ухо к столу, прислушивается к чему-то. Черная старая меховая шапка лежала у его ног на полу: комочек, напоминающий собачонку, охраняющую сон своего хозяина.

Как добрался этот старик в такую непогоду до Комарова? И вообще — кто он?

Иван Алексеевич не знал, как поступить — дать ли старику еще поспать или разбудить его?

Он тихонько вышел из комнаты и спросил Аграфену Васильевну:

— А где письмо?

— При нем.

Иван Алексеевич снова вошел в кабинетик, дверь скрипнула, старик проснулся. С минуту он, видимо, никак не мог понять, где находится.

— Вы, очевидно, очень устали? — спросил его Иван Алексеевич.

— Нет, не очень, — ответил старик и вынул письмо из кармана. — Это вам.

— Ну что ж, сейчас как раз имеется возможность, — сказал Иван Алексеевич, прочитав письмо. — Я просто умолял Колоскова Василия Игнатьевича, учителя истории тут, в Комарове, хоть еще немного повременить, не уходить на пенсию.

Пока Иван Алексеевич читал письмо, Страхов внимательно рассматривал портрет Елены Павловны.

— Это кто? — спросил он.

— Покойная жена.

— Значительное лицо.

Страхов увидел свою шапку, поднял с пола. Движения его показались Ивану Алексеевичу легкими, не старческими.

— Может, выпьете чаю? — спросил Иван Алексеевич.

— Это было бы неплохо, — согласился Страхов. Он вопросительно поглядел на Ивана Алексеевича. — Значит, можно пока устроиться у вас?

— Да, конечно! А больше ничего моя дочь не просила передать?

— Да я ее никогда и не видел.

— Как же к вам попало ее письмо?

— Мне его дал один профессор, мой ученик. У вас очень хороший домик! Мне нравится!

— Почему вы выехали ночью из города?

— Ей-богу, сам не знаю, — признался Страхов.

— От станции трудно было добираться?

— Нет, совсем не трудно. — Страхов рассмеялся. — С тех пор, как я стал старым, жизнь моя очень облегчилась. Молодому, очевидно, пришлось бы проситься на

машину, а тут меня даже уговаривали: «Поедемте, дедушка!» Я ехал в кабине, вместе с шофером, а остальные — в кузове. — Он хитро подмигнул Ивану Алексеевичу. — И всем любопытно, как себя чувствует человек, которому столько лет! И не понимает ли он чего-нибудь такого, чего другие не понимают? — Он поглядел на Ивана Алексеевича так, будто бы именно тот и любопытствовал, и добавил с шутливым сожалением: — И так это бывает обидно — разочаровывать людей!

За едой Страхов спросил, поглядев на чучело тетерева, висящее на стене:

— А вы что, охотник?

— Был.

— Надоело?

— Да нет, поохотился бы с удовольствием, но какая же в наших местах теперь охота? Заводы, фабрики. Вот раньше у нас...

— В молодости я был горячим охотником, — перебил Страхов и деловито осведомился: — А комнату здесь найти трудно?

— Зачем искать? У меня свободно.

— Я немного полежу. Можно?

— Конечно. Вам уже постелили на диване.

2

Перед сном Страхов спросил Ивана Алексеевича:

— Вас, наверное, удивляет, почему это я приехал сюда?

— Я же вас об этом не спрашиваю!

— И, наверное, задаете себе вопрос: «Чего же это такой старый человек не идет на пенсию?» А не идет он знаете почему? Потому что не считает, что закончил свой жизненный путь, — пояснил Страхов и расхохотался. — Мало того, мне иногда кажется, что мой жизненный путь только начинается!

Эти слова понравились Машину, он и сам был такой.

— Трудный, трудный старик! — показал на себя пальцем Страхов. — Раньше срока вытолкнуть себя из жизни не дает. Вполне сочувствую тем, кто очень хотел бы это осуществить, но, как это говорится, ничем помочь не могу! — Он замолчал, невесело усмехнулся. —

А может быть, мы им, молодым, ужасно как надоели? А? И они думают — чего этот старичок ненужный блондается у нас под ногами?

«Древняя куртка, которая неизвестно зачем еще висит в шкафу», — вспомнил Иван Алексеевич разговор с Таней.

За окном лил дождь. Буйный и беспощадный, он творил суровую расправу: хлестал по деревьям, заливал скворечник на высокой березе, подгонял уплывающие из садика опавшие листья, вбивал их в грязь. Можно было подумать, что во всем мире сейчас льет дождь и что вместе с листьями плывет неизвестно куда и эта комната, где низко над столом висит розовый абажур, а в углу что-то нащупывают в полутьме стрелки старинных часов с кукушкой.

— Вы не возражаете, если я немного приоткрою окно? — спросил Страхов. — Душно.

— Пожалуйста! Зальет только.

— Я — щелочку.

У окна Страхов, видно, обосновался надолго: пододвинул стул, сел.

— Как будто бы мы с вами в океане, — сказал он, заглянув в окно. — Впрочем, кто не сравнивал жизнь с океаном?!

— Да! — усмехнулся Иван Алексеевич.

— А между тем жизнь — это, скорее, лес.

— Тоже было! — заметил Иван Алексеевич.

— Не могло не быть. Потому что ни одна самая длинная дорога не кажется такой бесконечной, каким бесконечным кажется лес. И ни на одной дороге вас не подстерегает столько неожиданностей. Вот в чем здесь дело! — Он помолчал. — Читал я лекции, писал книги, а теперь вот собираюсь учить девочек и мальчиков. Вот так изгиб! Но я не против этого. Это тоже интересно.

— Для меня, например, ничего интереснее нет, — улыбнулся Иван Алексеевич.

— Видите ли, я никогда не преподавал в средней школе — читал студентам. Но, конечно, я постараюсь, чтобы и дети меня понимали, хотя думаю, Иван Алексеевич, что особенно упрощать занятий не стоит, надо просто попытаться увлечь ребят, заинтересовать предметом.

— Конечно, — согласился Машин. — Увлечь — это

главное. — Он рассмеялся. — Вот меня вы, Антон Нилыч, сами того не подозревая, уже увлекли. А ребята, думаете, не почувствуют, кто к ним в класс пришел? Быстро разберутся! Если им что непонятно будет, спросят, переспросят, но такого преподавателя оценят по заслугам.

Дождь редел, точно спешил скорее покинуть эти места и отправиться туда, где у него было еще много дел. И по мере того, как он затихал, оживали часы на стене.

— Приятно тикают, — сказал Страхов.

— Я уж привык, — отозвался Иван Алексеевич. — Не слышу...

— И комната у вас приятная, — продолжал Страхов. — Тут много дерева. Я люблю. — И неожиданно спросил: — Вы, может, думаете, что я благодаря этому своему ученику, который дал мне письмо вашей дочери, у вас оказался? Нет, благодаря другому моему ученику — профессору Карсавину и его верному Санчо Пансе — Лебедеву.

— А вы Лебедева хорошо знаете?

— Конечно.

— Кто он?

— А никто!

— То есть как это — «никто»?

— Нет, вообще-то он человек: ест, пьет, курит, говорит, смеется. Эти человеческие свойства выражены в нем довольно отчетливо. — Густые, нависшие желтоватые брови старика насмешливо поднялись. — А больше ничего нет! — Брови опустились и приняли обычный для них грозный вид. — В научном смысле это, скажу вам, нуль! Это даже не тень Карсавина, — Лебедев и до тени не дотягивает. Потому что Карсавин — большой ученый! Я его знаю давно. Когда-то, будучи еще совсем молодым человеком, он очень хорошо пробрал меня за ту чепуху, которую я нес!

— За какую такую чепуху?

— Страховы — старинный дворянский род. У моего отца было имение в Тульской губернии, заложенное-перезаложенное, но все равно — имение. Я первый в семье пошел в науку. А то все — помещики, офицеры. Ну и, сами понимаете, вначале я обвинял советскую власть во

всех смертных грехах. И как-то раз Карсавин мне сказал: «Впервые в России пришла власть трудовых людей, справедливейшая власть. И если она не потерпит тех, кто ей мешает, кто на нее клевещет, — лично я это пойму». — Страхов отошел от окна, сел к столу, помешал ложечкой в стакане с чаем. — Он и в молодости был, когда это требовалось, очень резким — Карсавин.

— И не изменился? — машинально спросил Иван Алексеевич, потому что Карсавин этот очень мало интересовал его, особенно сейчас.

— Нет, он вообще мало изменился. У него и теперь великолепная голова, острое научное мышление, богатейшая интуиция. — Страхов невесело усмехнулся. — К сожалению, после Двадцатого съезда партии Федор Адамович уж очень как-то быстро и точно определил задачи советских историков. И свою, конечно, в первую очередь. Но одной быстроты не везде достаточно. Важна задача. А она несложна: ложь и приспособленчество! Да, именно так. Все, что было вчера, никуда не годилось. Но почему же тогда в этом «вчера» довольно успешно и не без пользы для себя действовал тот же самый Карсавин? И почему он весьма и весьма красноречиво славословил всего одного человека? . .

— Ну, разве только он один этим занимался? — перебил Машин.

— Да, не один! Не один! — Страхов встал со стула, прошелся по комнате, постоял с минуту у часов с кукушкой и неожиданно резко повернулся к Машину. Вернее, рванулся к нему, как бы пошел на него в наступление.

— Посмею напомнить вам, что история — одна из основ других общественных наук! История либо внушает уважение к прошлому, либо уже осуждает его. Вдумайтесь в это! Мне кажется, что нет ответственнее науки, чем история! Но Карсавин хотел, чтобы и после Двадцатого съезда партии все в нашей науке оставалось попрежнему... только с учетом того, что приспосабливаться следует уже к другой личности! Федор Адамович менял одного хозяина на другого — и только. И когда я высказал ему на этот счет свои соображения, он весьма дружески посоветовал мне не мешать ему руководить факультетом, а заняться своим делом — историей Греции

и Рима. Но в данном случае, Иван Алексеевич, Греция и Рим меня интересовали меньше, чем судьба и достоинство советской исторической науки. И я объявил войну Карсавину. Но не успел оглянуться, как был уличен Лебедевым в либерально-народническом подходе к исследованию некоторых исторических фактов. Ну, а отсюда, как это говорится, рукой подать до внеклассового, внепартийного отношения к исторической науке. И так далее и тому подобное. Можете себе представить? И всю эту псевдонаучную похлебку варил именно Лебедев. И довольно умело. Тогда-то я и понял, в чем, в сущности, его призвание, его настоящая профессия — в подлости! Ему и платят за грязную работу. Но как он ни старался — ничего не вышло. Почти весь коллектив встал на мою защиту. Я был оправдан...

— Ну вот, вы и выиграли! — воскликнул Машин.

— Нет, проиграл, — усмехнулся Страхов.

— Это, знаете ли, вне логики!

— Совершенно верно, вне логики... но проиграл! Карсавин — фигура весьма и весьма значительная: крупный ученый, умелый руководитель факультета, волевой, энергичный. Это действительно так, его достоинств отрицать не надо. Но хотите знать, Иван Алексеевич, как при полном выигрыше в результате получается проигрыш? А вот как! Карсавин с горечью в голосе публично заявил: «Пусть уж теперь руководит факультетом он». А «он» — это я, человек, которому много лет и который никогда в жизни руководящих постов не занимал, так как начисто лишен организационных дарований. Ну, вот так-то хитрó они, Карсавин и Лебедев, от меня избавились. Правда, ничего такого уж особенного мне не предъявлялось, просто решили — пусть старик живет и трудится где-нибудь подальше от университета.

Страхов опять вскочил со стула и заходил по комнате.

— Но я не согласился. Я не захотел, чтобы в университете, которому отдана бóльшая часть жизни, остались орудовать приспособленцы и фокусники! Тогда-то вот Федор Адамович и приказал Лебедеву меня выжить. Вы не можете себе представить, что творил этот подлец! Он превзошел самого себя! В общем, сами видите, как все для меня обернулось.

Он опустился в кресло, помолчал и продолжил тихим, усталым голосом:

— Но ведь сдаваться, Иван Алексеевич, нельзя. Ведь и сейчас Карсавин и те, кто с ним, весь смысл исторической науки видят только в том, чтобы она содействовала процветанию карьеристов. Они ничему не научились, ничего не осознали, и, стало быть, они так же опасны, как и прежде.

— Но ведь вы сами говорите, что Карсавин — большой ученый.

— Да. Но наука, Иван Алексеевич, требует чистой души. Декан же исторического факультета наукой по-настоящему давненько не занимается, путь к успехам нашел иной, полегче нашел путь, и очень хорошо его освоил. А тут надо выбирать, Иван Алексеевич. Это, знаете, никак несовместимо... Вы что же думаете, половина души творит, а другая в это время ловкие комбинации создает? Нет, у нас так не получится. Подчеркиваю: у нас! Там, где историческая наука помогает угнетению, там, наверное, можно как угодно. Карсавин считает, что избрал для себя правильный путь. Это огромное его заблуждение. Трагическое. Он многое мог бы еще дать науке, но вот продал бога за грош! Иногда мне его так жалко! Великое счастье большого ученого, редкое счастье — многим ли оно достается? — променял... А на что?

Он надолго задумался.

— Обидно, — наконец произнес он, подошел к окну и широко распахнул его. Ветерок пролетел по комнате, качнул клетку с щеглом, на пол посыпались зерна. — Могу ли я быть спокоен за Федора? — спросил Страхов, словно обращаясь к кому-то стоящему за окном, и Иван Алексеевич понял, что действительно старик говорит сейчас уже не с ним, а с деревьями в саду, с каплями дождя на ветках, с темным небом или, может, просто по-стариковски думает вслух? Наивны и чисты были эти раздумья, это обращение к природе, к самому себе. Ветер относил голос Страхова, но до Ивана Алексеевича отчетливо долетела фраза: «Ах, Федор, Федор! Бедняга же ты, Федор!»

— Вам надо отдохнуть, Антон Нилыч, — сказал Иван Алексеевич.

В эту ночь Машин не смог уснуть.

«Завтра же надо ехать в город... с трехчасовым поездом! Так вон он какой, Лебедев! Не обманули меня предчувствия. Нет, не обманули! Но помог ли я дочке своей хоть чем-нибудь? Прописные истины изрекал — и только. Грош цена таким истинам, от которых никакого толка!» Он шагал по комнате, прислушиваясь к шелесту мокрых листьев за окном, шагал и думал всю ночь, до самого рассвета.

3

Но и Страхов тоже не спал. В короткие минуты забытья, когда от усталости он опускался в глубокое кресло, сказочные видения посещали его. Вот он сидит на траве под деревом, с Марусей. Она тоненькая, худенькая, руки загорели, а лицо почему-то белое, — наверное, мажет каким-нибудь кремом. Вообще она очень следит за своей внешностью, эта Маруся Калмыкова, хотя и понимает, что все равно Антоша Страхов влюблен в нее и обязательно на ней женится.

«Ну, это мы еще посмотрим, — думает Антоша. — Характер неважный у вас, Маруся. Очень уж вы капризны. Я влюблен в вас, да, конечно, влюблен, но, может, я еще не женюсь. Это пока неизвестно».

Что сказала на эти слова Маруся, Страхов не услышал — он очнулся, увидел себя в кабинете Ивана Алексеевича, где на широком диване ему была приготовлена постель.

«Как обидно, что он не успел услышать Марусиного голоса! Еще бы хоть пять минут поспать», — с сожалением подумал он.

Маруся была замечательной женой, верным другом. Он прожил с нею счастливо сорок семь лет, и когда она умирала, то всё беспокоилась о нем, о своем Антоше. Он не знал, что сознание ее уже затуманено и что он кажется жене не стариком, а высоким стройным юношей в студенческой тужурке. И она покидала жизнь как бы не женой его, а матерью. Он был единственным ее сыном, потому что ни Петра, ни Андрея уже не было в живых: война...

«Где они? — спросил себя Антон Нилыч. — Где мои сыновья?» Он встал, протер глаза, прислушался к деликатному тиканью часов с кукушкой.

— Зачем я здесь? — спросил он неведомо кого. — Зачем вообще я живу на свете?

И заплакал. Вот уже много лет он плакал, по-стариковски, так тихо, что окружающие этого и не замечали.

Ах, Маша, Маша! Возможно, ее удалось бы спасти, если бы была возможность отправить в Москву, на операцию к знаменитому хирургу. Но на это не было средств. Правда, Ладейников добыл деньги, но тогда Страхову сказали: «Антон Нилыч, у нас ведь не захолустье. Да теперь и в захолустье прекрасные врачи. А уж здесь-то все условия для лечения вашей жены налицо».

Он полез в карман за платком, вспомнил, что единственный его платок в чемодане. С бельем вообще дело обстоит неважно. Он привез с собой одну запасную пару, штопаную-перештопаную. Спасибо невестке Варе, она внимательна к нему. Она очень любила Андрея и после его гибели замуж не вышла. Бывает, правда, у нее один человек, иной раз и ночевать остается. Тогда Антон Нилыч уходит к другой невестке, Кате. Эта тоже замуж не вышла: оно и понятно — трое детей. Трудно живется Кате, чуть не все деньги отдает ей Антон Нилыч, в праздники покупает детям подарки. Ах эти праздники! День Победы! Радость огромная. А где сыновья? На фотографиях только.

— Дедушка, купи мне воздушный шарик!

— Дедушка, купи мне мишку!

А где дедушке деньги взять? Где?

«Ну как я могу вас отправить в дорогу, Антон Нилыч, в это Комарово? Ведь у вас же ничего нет! Хотя бы еще одну пару брюк надо купить! Господи, как я мучаюсь от того, что мы у вас все деньги ваши отнимаем!?»

Антон Нилыч прислушивается: это кто говорит?

Да ведь это Катя сказала позавчера, укладывая его чемодан. Тогда при чем здесь эти голоса: «Дедушка, купи мне шарик!», «Дедушка, купи мне мишку!»? Это не могло быть сказано позавчера: внуки уже студенты.

Значит, он опять забылся на минуты, и все смешалось.

Антон Нилыч встает, подходит к окну. Над верхушкой высокой сосны белое пятно, оно расплывается, светлеет, — значит, скоро конец ночи, запоют, заверещат

птицы. А вот одна уже заверещала. О чем это она? Какая странная птица, на ней черный пиджак и галстук бабочкой.

«Об этой работе молодого ученого, самого молодого нашего ученого, ведь он, в сущности, юноша, не может быть другого мнения, чем то, которое выражаю я! Я — старик, многое повидал, и удивить меня уже не так легко! Антон Страхов только начинает свой путь в науке, но скажу со всей откровенностью, что столь блестящего начала мне еще не приходилось наблюдать! Да, я удивлен! Это, наверное, весьма не педагогично — то, что я говорю, но я не могу скрыть свою радость!»

Страхов открывает глаза. Он вовсе, оказывается, и не вставал с места, это все ему казалось. Но вот теперь он действительно встает, подходит к окну. Рассвета еще не предвидится. Темное небо все в тучах.

Он начинает ходить по комнате, все дальше уходя от сна и от той путаницы, которая свершалась в его измученной мыслями голове.

Глава пятая

1

На другой день в сумерки Иван Алексеевич прибыл в город — раньше выехать не удалось. Он вышел на вокзальную площадь и только тут со страхом подумал о том, что совсем не знает, как ему следует поступить.

Лужи затянуло ледком, и он потрескивал под ногами. Ветер — холодный, колючий. Зима уже рядом, вот-вот она прибудет сюда.

Иван Алексеевич в который раз уже прошел мимо дома, где живет Таня. Переулок узкий, в холодном воздухе, в тишине каждый звук отдается.

Из писем Варвары Петровны Иван Алексеевич знал номер дома, номер квартиры, этаж, но где именно расположена эта квартира, не представлял себе. Много окон. Какое из них Танино? Может, оно выходит во двор? Иван Алексеевич миновал железные ворота, прошел короткий туннель, где шаги его спугнули притаившуюся тишину.

Окна со всех четырех сторон были освещены. Иван Алексеевич выбрал окно на третьем этаже, с розовой шторой, и решил, что это и есть Танино окно.

Он обставил комнату за этим окном мебелью — простой, удобной, легкой. У окна — письменный стол, на нем лампа под зеленым круглым, напоминающим башенку, стеклянным абажуром. Вокруг лампы вьется бабочка, к ней подлетела другая... Таня что-то говорит, и он отчетливо, явственно слышит ее голос:

— Подожди, — говорит Таня. — Я хочу тебе о чем-то рассказать.

Вот что она рассказывает.

Сегодня после урока географии учительница Мария Андреевна сделала Тане замечание:

— Ты, Таня, невнимательно прислушиваешься к моим словам.

— Почему, Мария Андреевна?

— Как ты отвечала?

— А что?

— Ну вот, видишь, «что»? Я же, кажется, ясно говорила вам, что в Англии весьма слабо развито сельское хозяйство, что Англия ввозит из-за границы даже такие продукты, как масло, сыр, мясо...

Она еще с минуту говорила так, а Таня смотрела на ее толстые ноги в стоптанных башмаках, на ее грубые, покрасневшие руки, которым много приходилось стирать, гладить, работать в огороде, на выцветший, некогда синий, а теперь серовато-голубой кожаный поясок, которым была охвачена черная старенькая, крупной вязки кофточка, на поясок, болтающийся без всякой надобности, надетый, очевидно, «для красоты», смотрела и думала о том, что муж Марии Андреевны, работавший еще недавно финансовым агентом, теперь снят за пьянство и еще за какие-то неблаговидные дела, что он и раньше-то почти ничего не давал семье, предпочитая тратить деньги на стороне с приятелями, а теперь вся семья Марии Андреевны — двое ребят и старушка-мать — живет только на ее зарплату...

«Сейчас она придет домой и будет доить корову, — думала Таня, — и ее, в общем, мало интересует, ввозятся в Англию сельскохозяйственные продукты или нет. Бедная Мария Андреевна! Вчера на уроке она вынула из

сумочки носовой платок, и все увидели, что он грязный, она же быстро провела им по лицу и стала торопливо запихивать обратно в потертую сумочку».

— Зачем ты мне все это рассказала? — спросил Иван Алексеевич, когда Таня умолкла.

— Значит, люди вынуждены бывают делать то, что их вовсе не интересует? — спросила она. — Ведь не до Англии ей!

— Да, иногда должны. У человека есть обязанности, и не всегда они совпадают с тем, что ему хочется.

Он стал приводить простые убедительные примеры в доказательство своих слов, но Таня перебила его.

— Все равно вранье! — сказала она. — Поверь мне! Как это ужасно!

Вспомнился сейчас и другой разговор.

Она открыла ему дверь, когда он однажды пришел домой. В передней было светло, и Иван Алексеевич впервые увидел, что Таня совсем уже взрослая и очень красивая. И еще Ивана Алексеевича поразило то, что в больших серых глазах Тани чувствовалась усталость, словно ей было очень утомительно жить на свете такой красивой.

— Что ты на меня так смотришь? — удивилась она.

Он ничего не ответил ей, а пока обедал, думал о том, что вот Таня теперь уже взрослая и что, в общем, незаметно и очень быстро перед ним промелькнуло ее детство, а теперь с ней следует обращаться как-то совсем по-иному. Но как?

— Пойдем пройдемся, — предложил он после обеда, не совсем представляя себе, что будет ей говорить.

Они медленно шли по широкой дубовой аллее. Дубы были очень старые, но стояли крепко, плечом к плечу: даже грозы не осмеливались обрушивать на них свои удары — за множество лет ни один не упал.

Вблизи этих богатырей Иван Алексеевич почувствовал, что робость надо отбросить и что, может быть, самое смелое в том и заключается, чтобы сообщить Тане об этой своей робости, о том, что он не знает, как ему теперь быть с нею, такой повзрослевшей.

Он так и сказал ей. И с волнением ждал, что же она ответит.

Дул осенний резкий ветер, и дубовые листья летали в вышине легко и свободно. В серо-голубом воздухе они напоминали птиц, а птицы, что кружили сейчас над дубами, были как листья. Большое белое облако поглощало все новые и новые черненькие приплясывающие точки, и, когда листья падали вдалеке на землю, можно было подумать, это они отстали от птичьей стаи, улетающей на юг.

— Все дело в том, что у нас нет матери, — задумчиво сказала Таня. — И поэтому ни ты, ни я не знаем, как нам быть. Когда я была девочкой, все было проще. Но мы с тобой очень любим друг друга, и давай будем надеяться на любовь. Может, она нас научит? Конечно, быть с тобой откровенной, советоваться с тобой мне очень трудно. Да и Варвара Петровна как-то не соединяет нас, ты с нею держишься отчужденно...

— Разве? Я и не замечал этого, — искренне удивился Иван Алексеевич.

Таня расхохоталась.

— Ну, как ты думаешь, сколько слов ты сказал ей за последнюю неделю?

— Я, право, не знаю, — растерянно пробормотал он. — Не считал...

Она расхохоталась еще громче:

— Одиннадцать! Я считала! И она тоже... Впрочем, папа, пускай тебя не мучают угрызения совести, что ты меня не воспитываешь, — продолжала Таня. — Сейчас никто уже никого не воспитывает...

— Это как? — удивился он.

— Ни Зину, ни Машу, ни Валю тоже родители не воспитывают. Девчонки просто делают вид, что получают воспитание, — это чтобы шума не было. А я и вида не делаю. Это вот тебя и смутило.

Она обняла отца, поцеловала и торжественно провозгласила:

— Любовь — это главное! Так что не волнуйся. — И показала на верхушку дуба: — Слышишь?

— Слышу, — помолчав минуту, ответил Иван Алексеевич. — Дятел.

— Да. Я про него стихотворение год назад написала. Вот он упорно стучит по стволу, время от времени поглядывает вниз и, кажется, торопится поскорее доделать

свою работу, чтобы, поднявшись в небо, с высоты оповестить всех о том, что ему удалось подсмотреть самый прекрасный на свете поцелуй.

— Какой такой поцелуй? — с тревогой спросил Иван Алексеевич.

— Какой? — расхохоталась Таня. — В том-то и дело, что поцелуя не было! Поэтому и стихотворения не получилось.

Они прошли еще несколько шагов.

— Я, собственно, не совсем понимаю, при чем здесь этот дятел?

— Ну вот! — со вздохом сказала она. — Значит, так ничего и не вышло.

— Чего не вышло?

— Я хотела дать тебе понять, что по-настоящему еще ни с кем не целовалась! Матери я сказала бы это просто, а тебе хотела намекнуть. Не вышло! Мне вообще не с кем поделиться, я совершенно одна!..

...Сейчас, глядя на окно, где трепетали розовые шторы, Иван Алексеевич думал, что, очевидно, именно потому, что не сумел он многого растолковать дочери и многого понять в ней, в жизни ее произошли печальные события. И из-за них он, Иван Алексеевич, не занимается сейчас своими делами в Комарове, а бродит по городу.

Окно резко открылось. В нем появился мужчина в пижаме. Иван Алексеевич подумал, что это Лебедев, но, когда мужчина выглянул в окно, он понял, что ошибся: это был старик.

В большом зале почты, где было полутемно и светилось лишь окошечко телеграфа, за столом, залитым чернилами, Иван Алексеевич стал писать письмо Тане. Но написать не смог. Постукивал телеграфный аппарат — так, точно с перебоями билось сердце какого-то холодного, все знающего, всех на свете поучающего существа. Этот стук выгнал Ивана Алексеевича с почты на улицу. Он закурил папиросу, прошел несколько шагов и вдруг вспомнил, что именно сейчас в университете должна обсуждаться работа профессора Карсавина, — заседание было назначено на вечер. Еще можно успеть. Лебедев, конечно, будет там.

Он быстро зашагал по улице.

2

Иван Алексеевич без труда нашел зал, где в столь поздний час происходило заседание ученого совета. Тут было много народа, и на него никто не обратил внимания. Ему удалось занять свободное место неподалеку от стола, покрытого зеленым сукном, за которым сидело несколько человек.

Машин стал разглядывать их.

«Кто же из них Лебедев? — подумал он. — Наверное, этот, близорукий, полный. Но почему он должен быть в президиуме? Не обязательно. — Иван Алексеевич оглянулся. — Может, Лебедев тут, подле меня где-нибудь?»

То, что красивый, горбоносый старик, сидящий в центре стола, и есть профессор Карсавин, было ясно Ивану Алексеевичу, и он стал внимательно его разглядывать. Карсавин что-то писал карандашом на бумаге. Вероятно, даже не писал, а рисовал, так как неожиданно отстранил лист на приличное расстояние от глаз и слегка улыбнулся. И потому, что Иван Алексеевич сам обычно занимался тем же на заседаниях, он разгадал этот жест безошибочно.

Стоящий у края стола полный человек лет сорока тем временем говорил:

— . . .и, может, тем, кто здесь уже давно, все это и не так заметно... пригляделись. Но я в университете меньше года, и именно потому вижу, что́ тут происходит.

Его перебил сидящий за столом человек лет пятидесяти с удивительно красным лицом.

— А что же тут, позвольте вас спросить, происходит?

— Вот в том-то и суть, что почти ничего! — обернулся к нему оратор. — За окнами университета — бурная жизнь, а мы тут переливаем из пустого в порожнее и весьма спокойны, как будто вопросы нашей науки, которые сейчас очень и очень сложны, к нам отношения не имеют! Создается впечатление, что мы ждем каких-то распоряжений сверху, что ли...

«Нет, это не Лебедев», — решил Иван Алексеевич.

Он поглядел на Карсавина. Оторвавшись от бумаги, декан с ласковой, как показалось Машину, улыбкой смотрел на оратора.

«А может, все-таки Лебедев?» — пронеслось в голове Ивана Алексеевича.

— Но по моему разумению, — продолжал оратор, — никаких таких распоряжений сверху не последует! И нечего их ждать. Надо все силы приложить к тому, чтобы выправить наши ошибки, допущенные в недавнем прошлом. Мы наделали их немало! Народ ждет от нас объективного освещения истории советского общества...

— А нельзя ли поконкретнее? — спросил человек с красным лицом. — Это чересчур ответственное заявление, походя такие не делаются.

— Вполне с вами согласен, — отозвался оратор. — Заявление серьезное. Серьезнейшее! — добавил он, и на большом лбу его появились морщины, а карие добрые глаза сердито замигали.

В зале стояла такая тишина, что слышно было, как за окнами шумит ветер.

«Так кто же Лебедев?» Иван Алексеевич поглядел на Карсавина. Декан, откинувшись в кресле, смотрел куда-то вверх, очень внимательно и как-то даже восторженно, будто над ним был не обычный белый потолок, а необыкновенной красоты небо.

«Наверное, уже вообще закончили обсуждение работы Карсавина и перешли к другим вопросам», — подумал Иван Алексеевич.

Оратор вынул из кармана коробку папирос, но, очевидно вспомнив, что выступает на ответственном заседании, тут же сунул ее обратно. Затем снова достал, но не закурил, а продолжал держать в руках.

— Ну, я вижу, что ничего конкретного мы от вас на этот раз не услышим, — с нескрываемой насмешкой сказал председатель. — Но, может быть, вы все-таки еще что-нибудь скажете о книге Федора Адамовича?

— Мне не нравится эта работа, — сказал оратор. «Нет, это не Лебедев», — с тоской убедился Иван Алексеевич, которого полный человек успел расположить к себе. — Мне нечего добавить к тому, что я сказал. В работе есть достоинства, несомненна некоторая ее познавательная ценность. Это то, что называется — полезная работа. Но не больше. Она ничего не прибавляет к тому, что мы знаем о крестьянских войнах в России.

— Ну, а если бы вот мы, университет, решили реко-

мендовать работы Федора Адамовича к опубликованию? Как бы вы отнеслись к этому? — задал вопрос председатель.

— Отрицательно!

— Но вы же сами только что говорили о несомненной ее полезности, товарищ Громов! — удивился председатель.

— Совершенно верно, говорил, товарищ Афанасьев, — резко произнес Громов. — Но ведь непонятно, на кого рассчитана эта работа? Для учебника она сложна и все же недостаточно полна; научного труда в полном смысле этого слова она собой не представляет. — Громов помолчал. — Пусть не посетует на меня Федор Адамович за некоторую резкость моих слов, но, предлагая на обсуждение эту свою работу, он должен был быть готов к таким оценкам, как моя, или профессора Колосова, или доцента Рымаря, — в общем, всех, у кого есть к этой работе серьезные претензии. Неужели мы должны оставаться равнодушны к тому, что большой ученый на сорок пятом году своей деятельности, в преддверии семидесятилетия, предлагает нам работу, за которую ни одна самая либеральная комиссия не присудила бы и кандидатской степени?

Громов отошел от стола.

Афанасьев встал и, с трудом преодолевая волнение, произнес, как только мог спокойно:

— Слово предоставляется доценту Рыжову, Захару Петровичу.

Рыжов, маленький, верткий, видно, давно уже ожидал своей очереди. Поспешными шагами он подошел к столу и быстро заговорил:

— Товарищи, обсуждение работы Федора Адамовича «Крестьянские войны в России» — большое и радостное событие для исторической науки. И то, что кое-кому здесь это не по душе, в сущности, ничего не меняет. . .

Раздался насмешливый голос Громова:

— Почему так уж и не меняет?

Афанасьев встал со стула.

— Простите, Захар Петрович, — обратился он к Рыжову. Потом повернулся к Громову. — Василий Львович, несмотря на то, что вы уже выступали, я готов предоставить вам еще раз слово, только давайте не переби-

вать оратора! И вообще, должен с большим огорчением сказать, товарищи, что подобного у нас на факультете еще ни разу не было, подобной неорганизованности мы еще никогда не наблюдали!

— По моему скромному мнению, — сказал, поднявшись со стула, высокий, худой старик с черной буйной шевелюрой, которую он все время приглаживал рукой, — вы, Сергей Сергеевич, должны скорее радоваться, чем огорчаться тому, что подобного у нас еще не было. Следует предпочесть такую неорганизованность той «организованности», которая имеет место на факультете и является не чем иным, как мертвой зыбью. Если вам не изменяет память, о том же самом я говорил на партийном собрании... — Он хотел что-то добавить, но вместо этого махнул рукой и сел.

Рыжов продолжал:

— Мы ни на минуту не можем, не имеем права забывать, что работа Федора Адамовича Карсавина, так сказать, приурочена к славному его семидесятилетию, к сорокапятилетию научной деятельности, что само уже по себе является выдающимся фактом...

— Мы уже давно прониклись к этим датам благоговейным трепетом, — сказал кто-то громко. — Нельзя ли покороче?!

Раздался смех.

И тут Иван Алексеевич, поглядевший на Карсавина, с крайним изумлением отметил, что тот зевает, прикрыв рот ладонью. На лице декана была написана лишь усталость, да еще полное равнодушие к тому, что происходит вокруг него.

Тонкий голос Рыжова звенел в зале:

— Меня, как известно, сбить трудно! Имя Федора Адамовича украшает международные конгрессы и конференции, к его юбилею будет привлечено внимание и за рубежом. Поэтому неплохо было бы уже на этом нашем собрании наметить точную программу предстоящего юбилея...

Из зала раздался голос:

— Товарищ Афанасьев, Рыжов тоже отклоняется от основной темы. Что же вы его не прерываете?

— Ну, так выступать невозможно! — тоненько выкрикнул Рыжов. — Что у нас происходит сегодня?! —

И он решительно отошел от стола и сел на свое место.

— Слово предоставляется профессору Страхову, Антону Нилычу, — сказал с трудом Афанасьев, и Иван Алексеевич чуть не подскочил от неожиданности. Он понятия не имел, что утром старик отправился на станцию, торопясь поспеть к началу заседания. Об этом вчера и разговора не было — Антон Нилыч мимоходом лишь заметил, что будет обсуждение, но не сказал, что намерен поехать.

Страхов медленно направился к столу. С минуту он молчал, и нельзя было понять, то ли он ждет, когда наступит абсолютная тишина, то ли раздумывает о чем-то. Во всяком случае, пауза получилась неестественно длинной, и Афанасьев в замешательстве стал звонить в колокольчик, хотя надобности в том никакой не было.

Наконец Страхов заговорил:

— У работы, с которой я ознакомился, много авторов.

Иван Алексеевич увидел, что Карсавин выпрямился в кресле, сонное выражение исчезло с его лица.

— Называть этих авторов не имеет смысла. Данной аудитории хорошо известны имена тех ученых, которые объектом своих исследований избирали крестьянские войны в России. — Страхов пожевал губами, поглядел на стакан с водой, стоящий на краю стола, и зачем-то отодвинул его подальше. — Но некоторых соавторов Федора Адамовича Карсавина назвать все же нужно. Это — равнодушие, вялость мысли и, я бы сказал, слегка пренебрежительное отношение к тем, кто будет читать эту книгу. — Страхов отодвинул стакан еще дальше. — И потому я никак не поверил подписи в конце рукописи — «Карсавин». Нет, это не Карсавин создавал! А кто? Да вышеупомянутый «коллектив» авторов!

В зале раздался смех. Отчетливо донесся молодой звонкий голос:

— Золотой старик!

— Что? — спросил Страхов, вглядываясь в зал.

— Мы вас очень любим, Антон Нилыч! — сказал кто-то громко.

И тут впервые Иван Алексеевич услышал голос Карсавина.

— Постольку, поскольку выяснилось, что авторов у

обсуждаемой работы весьма много, я не понимаю, почему только я один должен здесь отчитываться. Эти авторы на обсуждение не приглашены, в чем, конечно, повинны организаторы данного собрания. Но это не единственное упущение: приглашен на обсуждение тот, кто априори не способен признавать за мной какие-либо достоинства. Я далек от обвинения в пристрастности, боже упаси! Просто мы с уважаемым Антоном Нилычем придерживаемся диаметрально противоположных взглядов на некоторые вопросы нашей науки. — Карсавин обратился к Страхову: — Мне, собственно, непонятно, зачем вы взяли слово. Кто посоветовал вам здесь выступить?

— На этот раз у меня не было советчиков, Федор Адамович. Советчиком была моя совесть, — с трудом сказал Страхов и, закрыв глаза, несколько мгновений молчал. — Трудно мне... просто невозможно видеть, как погибает большой ученый!

— Я не нуждаюсь в вашем сочувствии! — резко сказал Карсавин.

— Неправда! Нуждаетесь! Еще как нуждаетесь! — с горячностью воскликнул Страхов. — И вообще, не надо вранья. Какие это у нас с вами различные взгляды на некоторые вопросы науки? У вас вообще давно уже нет никаких взглядов.

— Нельзя ли все-таки как-нибудь оградить меня? — спросил Карсавин, обращаясь к Афанасьеву.

Но Афанасьев не успел и слова сказать, как все услышали:

— Можно, Федор Адамович! Не только можно, а и необходимо оградить вас от... самого себя. Вы самый страшный враг свой. Подумайте об этом. Я призываю вас к этому. Подумайте! — Страхов внимательно и строго поглядел на Карсавина, отошел от стола, сделал несколько шагов, обернулся и добавил: — Подумайте, пока не поздно.

И не спеша направился в зал.

Раздались аплодисменты.

— Ну, будем все же продолжать, — сказал Афанасьев. — Кто просит слово?

И тут раздался голос сидящего рядом с ним за столом полного человека в очках.

— Я.

— Пожалуйста, Валерий Евгеньевич, — с заметным облегчением произнес Афанасьев.

— После этой, я бы сказал, чрезвычайно странной выходки профессора Страхова, как вы сами понимаете, товарищи, выступать весьма трудно, — начал Лебедев.

«Так вот он какой!» — не отрывая глаз от Лебедева, подумал Иван Алексеевич.

— Но тем не менее я бы никому не уступил это место после того, как его покинул профессор Страхов. Мне хочется первому, — не могу найти подходящее слово, — ну, успокоить, что ли, нашего декана. — Он обернулся к Карсавину: — Дорогой Федор Адамович, вам, прожившему большую жизнь, не может не быть известно, что люди делятся на побежденных и победителей. Есть люди, которые, будучи побежденными в честном открытом бою, признают свое поражение и стремятся ступить на правильный путь... И очень, очень жаль, что такой крупный человек, как профессор Страхов, не принадлежит к подобным людям! Но ведь это лишь факт его биографии, биографии, сложившейся крайне печально, но... по вине самого же профессора Страхова. Кто же из нас не огорчен этим?

Карсавин перебил Лебедева:

— Вы правы, Валерий Евгеньевич, все это абсолютно справедливо, Страхов, конечно, неудачник, но довольно об этом. Не ради него мы собрались сегодня...

— Продолжайте, пожалуйста, Валерий Евгеньевич, — предложил Афанасьев.

— Я полностью согласен с тем, что сказал Захар Петрович Рыжов. Атмосфера, которая создалась тут, на мой взгляд, совершенно исключает обсуждение серьезной работы. Какие-то выкрики, хлопки, смех, как в цирке... Да где мы, в конце концов, находимся? — И он опустился на стул, давая понять, что отказывается от слова.

— Ну что ж, — сказал Афанасьев, — действительно, кажется, придется на этом закончить. Беспрецедентный, надо сказать, случай...

— Ну зачем же так? — возразил, подходя к столу, широкоплечий, грузный пожилой человек. — Разговор далеко не окончен. Я бы просил...

Афанасьев пожал плечами.

— Слово профессору Ладейникову.

— В отличие от некоторых выступавших здесь товарищей, я вижу в книге нашего декана кое-что и весьма ценное, — заговорил Ладейников своим хрипловатым голосом. — Что ни говори, а в некоторых ее местах чувствуется и карсавинская рука, и карсавинская интуиция, и присущее ему умение в мельчайших исторических фактах найти бесспорное подтверждение закономерности больших общественных явлений. И, если понадобится, я буду поддерживать ее опубликование. В этом смысле я не согласен с доцентом Громовым. Книга вовсе не так сложна, чтобы не стать учебником, а недостающие ей подробности можно восполнить. Научным трудом в истинном смысле этого понятия она, конечно, не является. Она не вызывает желания ни спорить, ни анализировать. Интересно, что в этой аудитории, где при обсуждении работ кого-либо из членов нашего коллектива, и тем более Карсавина, обычно было слышно, что называется, как муха пролетит, сегодня происходит нечто новое, непривычное — отсутствие рабочей обстановки. Я вполне согласен и с Рыжовым, и с Лебедевым, заявившими, что атмосфера данного собрания начисто исключает возможность обсуждать научный труд. Жаль только, что оба они ограничились констатацией факта, не дав себе труда задуматься над тем — отчего эта атмосфера была всегда весьма благоприятной для обсуждения научных трудов, а сегодня до неузнаваемости изменилась? Вот это их упущение я и считаю необходимым восполнить.

— Простите, профессор Ладейников, — перебил Афанасьев, — а какое, собственно, отношение все это имеет к книге Федора Адамовича?

— Прямое, — обернулся к нему Ладейников. — Если не к книге, то — к декану. Он нас интересует в данный момент больше, чем его труд. Неужели это вам еще не ясно?

И Ладейников обратился к залу:

— Разве наш декан не разбирается в том, что перед историками стоят теперь задачи великой сложности и огромной важности? Не стоит прибедняться: советская историческая наука создала немало ценного. Этого никто у нас не отнимет. Когда идеологи капитализма делают отчаянные попытки изничтожить марксизм по всем

направлениям, советские историки — и некоторые из них находятся сейчас в этом зале — наносят им сокрушительные удары. Много серьезных, талантливых научных трудов создано нашими историками. Но разве это хоть в какой-то степени может нас успокоить? Перед нами стоит огромной важности и, может быть, небывалой еще сложности задача: правдиво, по-настоящему глубоко, с партийных позиций проанализировать недавнее наше прошлое. Именно отсюда-то для историка-марксиста и начинается глубокое, правдивое исследование этого периода жизни советского общества, исследование, свободное от каких бы то ни было субъективистских влияний, которые так же глубоко чужды марксизму, как и сам культ личности. Если для этого у кого-то из нас не хватит сил и самообладания, пусть лучше он уйдет из науки.

Ладейников замолчал, налил в стакан воды, жадно выпил ее и мгновение глядел в зал.

— Я и сам еще вовсе не знаю... не уверен, хватит ли у меня сил, — продолжал он глухо, — но хочу верить, что хватит. И я верю в нашу историческую науку — она выполнит свой долг, правдиво и объективно осветит недавнее прошлое и то тяжелое, что в нем было, и народный подвиг, — все то, что создал наш великий народ за это тридцатилетие. Но времени тут терять нельзя. И ожидать каких-либо распоряжений сверху, как справедливо сказал доцент Громов, незачем. Но почему же в таком случае мы все еще топчемся на месте, почему декан изо всех сил способствует тому, чтобы на факультете вместо активной научной деятельности была, как правильно тут кто-то сказал, мертвая зыбь?

— Вы меня извините, — прервал Афанасьев, — я принужден вмешаться. По-вашему, выходит, что на факультете существует один лишь Федор Адамович Карсавин. Нет ни коллектива преподавателей, профессоров, аспирантов, ни студентов, ни партийной организации. — Он насмешливо развел руками. — Ничего нет! Один Карсавин! И это он всех задушил. Чудеса какие-то, профессор Ладейников. Курам на смех!

— Курам-то, может, и на смех, — произнес Ладейников, — но у меня нет ни малейшего желания даже улыбаться. Не замечаю я такого стремления и у присутствующих, профессор Афанасьев. Конечно, есть коллектив,

Лично я высокого мнения и о наших преподавателях, и о студентах, и о партийной организации, члены которой — и доцент Громов, и профессор Стрепетов — с достаточной ясностью высказали сейчас тут свое мнение о состоянии дел на факультете. Но ведь работаете на факультете и вы, профессор Афанасьев, и Лебедев, и Рыжов, а главное — декан-то факультета, профессор Карсавин, — крупная фигура, ученый, имевший в прошлом заслуги, и немалые. Это не подлежит сомнению. У него заслуженно большое имя. Вы вот интересуетесь, где же коллектив, где партийная организация? — Ладейников сделал широкий жест рукой. — А вот они, перед вами! И они-то, слегка позабыв, что собрание посвящено обсуждению работы Карсавина, борются и с Карсавиным, и с вами, потому что вы хотите подогнать науку под себя, подчинить ее своим личным интересам, а наука жестоко мстит за это. И все мы уже убедились в этом.

Карсавин встал из-за стола и направился к выходу. Едва за ним закрылась дверь, вслед устремился и Лебедев.

— Ну вот, — сказал Афанасьев обреченно. — Вот мы и поговорили! Мило поговорили! Наломали дров! В щепки наломали! Но я считаю, что и это принесет пользу. Здесь отчетливо выявилось многое, что существовало подспудно. И со всем этим руководство факультета поведет теперь настоящую борьбу. Прежде всего надо...

— Прежде всего надо вернуть Страхова на факультет! — громко выкрикнул кто-то.

Раздались аплодисменты.

Афанасьев хотел еще что-то сказать, но тут в дверях появился Лебедев.

— Федору Адамовичу плохо! — сдавленным голосом проговорил он. — Очень плохо...

Глава шестая

1

Врачи велели Федору Адамовичу лежать на спине. В таком положении ему были видны потолок, окно и та незначительная часть письменного стола, что приходи-

лась к окну. С ней-то Федор Адамович за время своей болезни с некоторым даже любопытством и ознакомился.

Стол был огромный, и на том углу его, до которого с кресла было не дотянуться, находилась пепельница черного металла: дородный медведь держал в лапах нечто вроде медного тазика, куда и предлагал сбрасывать пепел, класть окурки. Зверь исполнял волю хозяина и поэтому стоял, почтительно изогнувшись. Посетители кабинета редко подходили к этому углу стола: мешали пышные оконные занавеси, да и беседовать было бы не особенно удобно, — все время приходилось бы поворачиваться всем корпусом влево. Каждое утро здесь тщательно стиралась пыль, и жизнь в кабинете текла спокойно, привычно. О ней-то, об этой жизни, и тосковал теперь Федор Адамович.

Но эта часть стола, с покорным дураком медведем, являла собой как бы некое захолустье. А мысль о каком бы то ни было захолустье всегда была отвратительна Федору Адамовичу. Лежа без движения на диване, поглядывая на медведя и на мерцающую в солнечном свете пыль над его головой, Федор Адамович испытывал одновременно и раздражение, и горькую зависть к тем захолустным людям, которые живут в свое удовольствие, работают лишь бы как, не переутомляясь, и ото всего этого до глубокой старости сохраняют свой цвет лица, бодрость и необыкновенную подвижность. Он, Карсавин, тяжело заболел, быть может, именно потому, что долгие годы работал за таких людишек, на них. И одним из них был безусловно Валерий Евгеньевич Лебедев. Да, чего уж теперь греха таить! Правда, Федор Адамович видел, что постоянно этот Лебедев чем-то занят, но суетливая деятельность его была не чем иным, как ловко замаскированным бездельем. Сейчас, анализируя все, что происходит в университете, Карсавин полностью убедился в этом, потому что при настоящей работе, той, ради которой Федор Адамович и пригласил Лебедева, подобного обсуждения книги быть не могло. Хорош помощник! Живет за спиной Карсавина, как в раю, буквально все он, Карсавин, берет на себя, так неужели же нельзя хоть немного самому шевелить мозгами?

Волнения были строго запрещены врачами, и Федор Адамович гнал от себя мысли о Лебедеве. Но уже через

несколько дней после того, как слег, попросил Марию Евграфовну соединиться с Лебедевым по телефону.

— Пусть он обязательно пойдет к Ладейникову домой и попытается нащупать контакты, — тихим голосом сказал он. — Сейчас, когда наступать *некому*, можно немного отступить.

За время болезни потолок до мелочей был изучен Карсавиным. Его голова лежала высоко на подушках, и слова, которые произносил Федор Адамович, как бы устремлялись вверх, к потолку, а уже с него падали вниз, где и подхватывались Марией Евграфовной, врачами, домашней работницей Нюрой.

На потолке было одно местечко, представляющее для Федора Адамовича некоторый интерес. По вечерам свет уличных фонарей, проникая в комнату через щели в занавесях, рисовал там узкие дорожки, и одна из дорожек вреза́лась прямо в люстру. Тогда хрустальные подвески светились, разноцветно и ярко, и их отблески и тени создавали в углу потолка нечто вроде сада. Всевозможные цветы росли в этом саду — и красные, и голубые, и желтые; летали тут птицы, а когда ветер сильно раскачивал фонарь за окном, то лили радужные дожди.

Карсавин вспомнил, что когда-то на лубочных картинках так изображали рай. Не хватало только ангелов, напоминавших больших белых птиц с головами хорошеньких женственных мальчиков. Эти ангелы учтиво, под локоток, вводили достойных в рай.

Но вот гасли на улицах фонари, и сад исчезал с потолка. И Федор Адамович засыпал, умиротворенный и уверенный в том, что завтра вечером он вновь посетит свой сказочный, переливчатый сад.

2

Увидав Таню и Валерия Евгеньевича, входящих в столовую, Мария Евграфовна повелительно сказала:

— Радуйтесь!

Тут она заметила, что деревянная пепельница, которую она велела убрать, стоит на буфете. Федор Адамович теперь не курит, и не надо, чтобы пепельница напоминала ему о курении.

— О, боже мой! — воскликнула Мария Евграфовна, взяла пепельницу, отнесла ее на кухню, а когда вернулась, спросила грозно, так, будто бы Таня и Валерий Евгеньевич были в чем-то повинны: — Ну, что вы на это скажете?

— Мы очень, очень рады, Мария Евграфовна, — вежливо произнесла Таня.

— И правильно! — одобрила Мария Евграфовна. — Есть чему радоваться — он опять с вами! Но имейте в виду, — продолжала она, — вы не должны ничем его волновать. Федору Адамовичу прописан полный покой, хотя врачи просто изумлены тем, как идет процесс выздоровления. Между прочим, вы первые, кто является в наш дом после того, как заболел Федор Адамович. — И заключила назидательно: — Гордитесь!

В столовую вошел Федор Адамович. Лицо его показалось Тане помолодевшим. Щеки были тщательно выбриты, бородка не менее тщательно расчесана, тщательно вывязан галстук, и до блеска начищены ботинки. В общем, Федор Адамович выглядел едва ли не более элегантно, чем до болезни, только вместо пиджака на нем была коричневая бархатная куртка с сильно потертыми на локтях рукавами.

— Ну вот! — сказал он, точно представляя им самого себя и желая сказать, что ничего, собственно, особенного не произошло, кроме разве того, что этот человек в бархатной куртке стал несколько мудрее, так как смертельная болезнь открыла ему глаза на многое, чего до болезни он не замечал. «Такие болезни либо отнимают жизнь, либо прибавляют ума», — как бы говорил Федор Адамович всем своим видом.

Он ласково поздоровался с Таней и Валерием Евгеньевичем, потом спросил, бросив взгляд на буфет:

— Где пепельница?

— Разве ты будешь курить? — осведомилась плачущим голосом Мария Евграфовна.

— Да, я буду курить, — ответил Федор Адамович, вынул из кармана куртки портсигар и улыбнулся Тане: — Напугаю молодого врача. Впрочем, я здоров. Все кончено с этой болезнью.

— Это безумие! — продекламировала Мария Евграфовна, но пепельницу принесла.

— Мы с Валерием Евгеньевичем и Татьяной Ивановной по рюмке коньяка выпьем, — закуривая, сказал жене Федор Адамович. — Самое скверное — это не сама болезнь, — обратился он к Лебедеву, — а то, что наступает после нее. Человек почему-то должен изменить своим привычкам, лишиться обычных удовольствий, должен, так сказать, вступить в новую эру. — Он усмехнулся. — А меня вполне устраивает и старая эра, как устраивает, скажем, эта старая куртка. — Он пустил дым кольцами и заключил: — Верность в дружбе не только к людям, но и к вещам — мое свойство.

Это было сказано многозначительно.

— Эта куртка — бич моей жизни, — рыдающим голосом сказала Мария Евграфовна.

«Как он может жить с такой женой? — подумала Таня и тут же сама себе ответила: — Впрочем, он, кажется, все может. Возможности этого человека необъятны! Да и человек ли он вообще?» — Она улыбнулась этой своей мысли.

— Вот Татьяна Ивановна даже смеется над стариком, — сказал Федор Адамович.

Сама еще не понимая отчего, Таня вдруг разозлилась на Карсавина.

— Да ведь ваши противники, Федор Адамович, о том и говорят! Насколько я поняла со слов мужа, именно в приверженности старому вас и обвиняют. Но они имеют в виду не эту куртку.

Раздражение в ней все нарастало, и это было заметно.

— Разве у меня есть противники? — вполне искренне спросил Карсавин и обратился к Лебедеву: — Ой, кажется, дорогой Валерий Евгеньевич, вы неправильно информируете свою прелестную жену. — Он снова перевел глаза на Таню: — Ну, какие же это противники, Татьяна Ивановна? Это. . . так!

Что он хотел выразить этим «так», Таня не поняла.

— Они даже могут и победить меня, — усмехнулся Карсавин, — в этой жизни все бывает! Но противниками моими, Татьяна Ивановна, они не станут и после победы. . .

— А как же можно было довести старика Страхова до такого состояния? — вырвалось у Тани.

— Вы добрый человек, Татьяна Ивановна, — сказал Карсавин, — и это очень хорошо. Да я и сам, кажется, не очень злой. Я делал все возможное и невозможное, чтобы Антон Нилыч не вступал на пагубный путь. Но...

«А, кто вас там всех знает!» — подумала Таня.

— У вашей жены хорошая душа, Валерий Евгеньевич, — сказал Карсавин. — Берегите такую жену.

— Я и берегу, стараюсь изо всех сил, — пошутил Валерий Евгеньевич, очень довольный тем, что острая выходка Тани закончилась вполне мирно. Впрочем, успокоился он преждевременно.

Незаметно для других Карсавин слегка подмигнул жене. Она поняла — он хочет поговорить наедине с Лебедевым.

— Я покажу вам фотографии, снятые в дни моей молодости, — сказала Мария Евграфовна, увлекая Таню в соседнюю комнату. Тут она взяла с этажерочки пухлый альбом в синем плюшевом переплете с позолоченными застежками и раскрыла его.

Таню не интересовали дни молодости хозяйки этого дома. Отсутствующим взглядом водила она по фотографиям и совсем не слушала того, что говорила Мария Евграфовна. Зато до нее явственно доносился разговор Карсавина и мужа: дверь оставалась полуоткрытой.

— Были у Ладейникова?

— Конечно!

— Удалось?

— Ни в какую он! Выгнал меня!

— Небось и нахамил еще?

— Да что вы, Федор Адамович! Ниже травы, тише воды был. А уж я-то так старался! Так стелился перед ним!

— Знаю я вас! — резко сказал Федор Адамович. — Вы мое изобретение, но, кажется, я в тот момент был не в ударе! Неужели вам не ясно, что после того идиотского заседания нам нельзя обострять отношения с Ладейниковым! Нельзя! Наоборот, надо в чем-то уступить...

— Понимаю, но...

— Ни черта вы не понимаете! Ни в чем на вас положиться нельзя! И имейте в виду, что если вы думаете, будто я не мыслю себе пребывания в университете без вас, вы глубоко заблуждаетесь...

За ужином Таня ничего не замечала, что происходило вокруг нее. То мелькало перед нею смущенное лицо мужа, то слышался голос Марии Евграфовны: «Эта рыба, Татьяна Ивановна, — фирменное блюдо нашего дома». Таня брала кусок рыбы с блюда, клала на свою тарелку, жевала, отвечала на какие-то вопросы, но голова ее горела, и хотелось одного — скорее уйти. И когда наконец Мария Евграфовна сказала: «Мне кажется, что Федору Адамовичу надо отдохнуть после такого богатого событиями дня», — Таня почти вскочила со стула.

Еще на лестнице Таня спросила:

— Зачем ты ходил к Ладейникову?

— Я предвидел этот вопрос, — сказал Валерий Евгеньевич, понявший, что Таня слышала его разговор с Карсавиным. — Приедем домой — я все тебе объясню.

— Не хочется домой, — сказала Таня.

— Я тоже с удовольствием прогуляюсь, — сказал Валерий Евгеньевич. Но слышно было, что он лжет.

3

С реки дул сильный ветер. Таня и Валерий Евгеньевич подошли к парапету. Вода сливалась с темным небом, от нее шел тихий предостерегающий шум волн. Они как бы вычерпывали этот шум из темной дали, и он был неисчерпаем.

— Я готов объяснить тебе, почему пошел к Ладейникову, — начал Валерий Евгеньевич, размышляя о том, весь ли разговор с Карсавиным слышала Таня или только часть его? — Видишь ли, существуют, так сказать, высшие вопросы, высшая, что ли, преданность. Я говорю о науке. Ей я посвятил свою жизнь. И, в конце концов, в этом свете какое значение имеют взаимоотношения Ладейникова и Карсавина? А вред от их вражды огромен! Наносится большой ущерб университету, науке. И я решил...

— По-моему, ты все это врешь, — спокойно сказала Таня.

— Как ты можешь так говорить?! — с возмущением спросил Валерий Евгеньевич, в эту же секунду думая: «Все равно я не могу ее потерять!»

— Не знаю, не знаю, — сказала Таня. — Я что-то ничего сейчас не знаю, кроме того, что мне очень плохо!

— Танечка! — сказал он нежно и умоляюще.

— Мне надоело здесь, — сказала Таня, — пойдем домой!

По деревянной лестнице они поднялись в город. Тут было сейчас тихо и уютно. По главной улице, несмотря на поздний час, еще гуляли парочки, раздавались возгласы, смех, а то и песни. При голубоватом свете уличных фонарей витрины многочисленных магазинов казались какими-то уютными, и кровати, столы, игрушки, белье — все, что было за невидимыми толстыми стеклами, делало улицу особенно знакомой, домашней.

До самого дома Таня и Валерий Евгеньевич не сказали больше ни слова.

Глава седьмая

1

Теперь Таня отчетливо понимала, что Валерий Евгеньевич — мелкий человек. Мелкий и ленивый. И, продолжая его любить, она не могла больше мириться с этой мыслью.

«Пойду и скажу ему, — решила Таня. — Но что скажу? Какое, собственно, право я имею упрекать его? А я-то? Как я живу? Врач? ..» Она вспомнила последний разговор с отцом в Комарове: «...стандартные рецепты в простейших случаях... врач должен лечить, а не посещать службу, полученную по протекции, где вполне могут обойтись и без него». Кажется, так он говорил? И действительно, о том ли она мечтала? ..

Она сидела в спальне на диване карельской березы, и Варвара Петровна была тут же.

— Муж-то на тебя смотреть боится, — сказала Варвара Петровна, и на ее высохшем лице появилось подобие улыбки. — Вон ты какая, оказывается, страшная!

Варвара Петровна никогда раньше не называла Валерия Евгеньевича мужем Тани, а только по имени-отчеству. В последнее время старуха стала очень хорошо относиться к Валерию Евгеньевичу, была с ним преду-

предительно-вежлива, поинтересовалась даже, не слишком ли велик промежуток между завтраком и обедом, и заставила Валерия Евгеньевича брать с собой из дома бутерброды, для чего купила овальную коробочку из голубой пластмассы.

— Я вот все думаю, — произнесла Варвара Петровна, пристально глядя на Таню, — любишь ты его или не любишь? — Она усмехнулась. — И сама не знаю, что хотела бы услышать.

— Ну, предположим, люблю, — сказала Таня.

— Тут предполагать нечего! — грубо отрезала старуха. — Это как жизнь или как смерть. Скажи пожалуйста, «предположим»!

Она встала и вышла из комнаты, через минуту вернулась с маленьким, изрядно потертым черным портфельчиком в руках. Положила портфельчик на стол и некоторое время глядела на него, как бы раздумывая — открывать или нет? Потом быстро извлекла из него какие-то письма.

— Отец моего сына Володи... — Голос ее срывался и дрожал. Она произнесла имя известного всей стране, да и всему миру ученого, общественного деятеля.

Таня была поражена.

— Замужем я никогда не была, — добавила Варвара Петровна уже спокойнее. — Вот его письма, — продолжала она, показывая на пожелтевшие от времени конверты. — Я, наверное, не имела права держать их у себя, но расстаться с ними не могла. — Варвара Петровна закурила папиросу и жадно затянулась. — Не находила в себе сил. Я не перечитывала этих писем ни разу. Это было невозможно. Я бы умерла от тоски и страха. Но и без них я не могла — у меня же ничего от него не осталось. Даже фотографии я не имела права повесить на стенку: его лицо узнал бы каждый.

— А у вас есть фотография? — взволнованно спросила Таня.

— Единственная.

Таня бросила взгляд на портфельчик, но Варвара Петровна вынула маленькую карточку из кармана жакета и протянула ей.

Фотографии было много лет, она пожелтела, а раскидистое дерево на ней даже побелело. У этого белого

дерева стоял худощавый, средних лет мужчина и молодая женщина в большой соломенной шляпе, с зонтиком в руке.

— Это... я. В шляпе, — сказала Варвара Петровна.

— Понятно, — откликнулась Таня.

И действительно, это было только понятно, так как даже малейшего сходства между молодой женщиной в соломенной шляпе и старухой, сидящей сейчас в кресле, уловить было нельзя. Но было понятно и другое: в жизни этих двух людей эта минута в парке, когда они, как незнакомые, стояли на значительном расстоянии друг от друга у раскидистого дерева, ничем не была примечательна.

— А зонтики тогда в моде были, — сказала Варвара Петровна. — Ни дождя, ни солнца, а все равно — в руках. — Она помолчала. — Скоро я умру, ты тогда передай эти письма куда следует. Это большая ценность.

— Тетя Варя! — укоризненно сказала Таня.

— Я помню, в них было очень много интересного. — Она затянулась папиросой. — Из его семьи никого уже в живых нет.

— А Володя знал?

— Нет. — Варвара Петровна подумала с минуту. — Он, наверное, и не догадывался, почему его мать такая счастливая. — Она заметила удивленный взгляд Тани. — Не понимаешь? Ну и не надо. Но если бы пришлось мне еще одну жизнь прожить — иной я бы себе не пожелала.

— Но как же вы могли так жить? — спросила Таня. — Я бы не сумела.

— Там же были дети. Семья...

— Ну и что?

— Если бы я захотела, я бы смогла стать его женой. Он меня одну любил. Но...

— Это ужасно! Я бы ни за что на такое не согласилась! Он бы стал моим мужем!

— А совесть?

— При чем тут совесть? Ведь вы же любили друг друга! А жену свою он не любил!

Старуха закрыла глаза, точно ей неприятно было сейчас видеть Таню.

— Жестокое вы поколение, — произнесла она не то с сожалением, не то с укором и неожиданно спросила: —

Но ты-то теперь как жить будешь? Я ведь все вижу, Таня.

— Оптимизм молодости в сочетании с хорошей погодой сделают свое дело. — Таня невесело, ненатурально рассмеялась.

— Ты дурака-то не валяй! — закричала Варвара Петровна. — Что за неуместный смех?

— Плачу я по ночам, — сказала Таня, — днем же главным образом смеюсь. А как буду жить, еще не знаю. Только так, как теперь, не буду.

— Ну, это я и сама знаю.

Таня и Варвара Петровна обернулись. В дверях стоял Валерий Евгеньевич.

— Я все слышал, — сказал он.

— И очень хорошо, — отозвалась Таня. — Я не стану повторяться, это трудно.

Варвара Петровна направилась к двери.

— Подождите, — удержал ее Валерий Евгеньевич. — Разговор этот, очевидно, будет последним, и мне думается, что вам нужно при нем присутствовать. — Он обернулся к Тане. — Но, кроме того, что он будет последним, он будет еще и очень коротким. — Он сел на диван, закурил. — Потому что, — произнес он дрожащим голосом, — мне нечего тебе возразить. Врать тебе я не могу, — моего вранья не опасайся. . .

Папироса выпала из его рук. Она дымила на ковре, но он не наклонился за нею.

2

Вот он и вошел в эту квартиру. На потолке в передней висит черного металла фонарь, большой, с синими и красными стеклами. Фонарь этот придает передней вид кавказского ущелья при луне, каким его изображают на плохоньких картинах. Такой же фонарь Иван Алексеевич видел в Германии, в замке графа фон Биллинга. Там он висел в вестибюле и освещал мраморный полукруг ступеней, похожих на пять карт в руке игрока; тут неверный свет его ложился на деревянную вешалку, на диванчик с гнутыми ножками, на столик с телефоном и на невысокого человека в куртке с поясом, в сапогах, в синей фетровой шляпе. В зеленовато-синем свете этот

человек показался Варваре Петровне куда ниже ростом, чем в Комарове.

— Ну вот, наконец-то, — сказала она.

— Темновато тут у вас, — заметил Иван Алексеевич, отстегивая металлическую пряжку пояса.

Он никогда не видел Варвару Петровну в такой обстановке и едва узнал ее. В Комарове, у окна, с вязаньем в руках, или у плиты на кухне она выглядела совсем иной. И дело тут было не в том, что старуха еще больше похудела с тех пор, как он видел ее, — нет, она просто стала какой-то совсем другой.

Впрочем, и Таню Иван Алексеевич узнал с трудом, он и ее, такую, не мог бы себе представить в ее комнате в Комарове, с книжкой в руках или на скамейке садика. Когда после целых суток раздумий в крохотной комнатке захудалой гостиницы он решил все-таки идти сюда, он никак не ожидал, что и Таня и Варвара Петровна стали совсем другими. Он представлял себе их прежними, привычными. И вдруг здесь, в передней, он ощутил к Варваре Петровне такую же жалость, как к Тане. Ему захотелось немедленно увезти их отсюда, из этой чужой квартиры с тяжелой угрюмой мебелью и дворцовым фонарем.

— Удивлена? — спросил он дочь.

— Нет, — ответила она. — Я была уверена, что ты придешь.

— Очевидно, такая уж судьба старикам: приходить с просьбой о помиловании, — попытался пошутить он, но ни Таня, ни Варвара Петровна не улыбнулись. А он подумал о том, что было, оказывается, очень просто прийти сюда, — почему же он раньше не сделал этого?

— Что в Комарове? — спросила Таня.

— Да все по-старому, особых перемен нет.

Варвара Петровна вышла из комнаты.

— Как живешь, Татьяна?

— Плохо, — сказала она. — Не та у меня работа, папа. — Таня усмехнулась. — Я не скажу, что она совсем бесполезная, но по-настоящему лечить я еще не начала. В больницу надо, в больницу. Учиться хочется.

— Так надо учиться, — заметил Иван Алексеевич.

— Надо. А ты хорошо выглядишь.

— С чего бы это? — усмехнулся он.

— Как школьные дела?

— Не слишком-то.

— Могла не спрашивать, — улыбнулась она. — Всю жизнь только это и слышу. А я уезжаю отсюда, папа, — сама удивляясь своим словам, сказала Таня.

— Куда же?

— Еще не знаю. В больницу куда-нибудь, в клинику, — в общем, куда удастся устроиться.

— Я и не сомневался, что раньше или позже ты к этому придешь, — сказал Иван Алексеевич. — Все-таки знаю тебя! Да! Между прочим, вчера я видел твоего мужа. И даже слышал его. Так что о нем могу тебя и не расспрашивать, мне все ясно.

— А вот мне тогда ничего не было ясно, — грустно, будто обращаясь к себе самой, сказала Таня. — Незадолго до твоего прихода у нас был трудный разговор. Последний...

Иван Алексеевич понял, почему час назад дочь показалась ему почти неузнаваемой, почти совсем чужой.

3

Было ясно: Варвара Петровна умирает. Она все реже и реже вставала с кресла, почти не разговаривала. У Тани не было никаких сомнений в том, что скоро наступит конец. Сколько ни билась она со старухой, сколько ни умоляла, та не желала пригласить другого врача. Но Тане и самой было понятно, что Варваре Петровне никто уже не поможет.

Неожиданно для нее исчез день. То все являлся в положенный час, светил в окна, а то вдруг не стало его, и однажды, разбудив ночью Таню, Варвара Петровна сказала:

— Помоги мне одеться, пойду погуляю, заодно в магазин зайду, куплю папирос и чаю.

— Тетя Варя! — проговорила испуганная Таня. — Но сейчас три часа ночи.

— Ну-ну, пожалуйста, — согласилась старуха, нисколько не удивившись. Она точно разрешала быть сейчас ночи. Она даже повелевала сменой дней и ночей. Вообще всем повелевала. Вот недавно, часа два назад, она приказала прекратиться ливню, и он прошел. Потом она вызвала с фронта Володю. Он был очень этим удив-

лен, но еще больше удивился, когда она ему резко и повелительно сказала:

— Никуда ты больше не поедешь!

— Но война, мама, — сказал Володя. — Я должен вернуться в часть.

— Никакой войны! — еще более резко произнесла она. — Довольно, хватит!

Володя действительно никуда не уехал, придвинул стул к креслу матери, сел и сказал:

— Я, мама, очень несчастен в браке.

— Ничего, — сказала она, — зато я тебя люблю. А с кем ты еще разговариваешь?

— С Таней, — сказал Валерий Евгеньевич.

— Ты разве знаком с Таней? — удивилась Варвара Петровна.

— Знаком, — ответил Валерий Евгеньевич и обратился к Тане: — Отдохни. Я посижу до утра.

— Но ты не спишь уже третью ночь, — сказала Таня.

— Это неважно.

— В том, что ты добрый, я почти никогда не сомневалась, — сказала Таня.

— Напрасно, — сказал Валерий Евгеньевич. — Наверное, ты заблуждалась.

За днем исчезла ночь. Не сразу: она то появлялась, то пропадала и становилась раз от разу все короче и короче. В последний свой прилет она длилась мгновение и была необыкновенно черна, без единого просвета. Вместо себя она прислала оркестр, который не переставая играл. Единственный, кто умел прекращать его буйные звуки, был Валерий Евгеньевич. Он прикладывал свою холодную и широкую ладонь ко лбу Варвары Петровны, и тут разом все смолкало.

— Неужели я умираю? — сказала Варвара Петровна, в наступившей тишине с удивлением прислушиваясь к своему голосу, который показался ей очень мелодичным, приятным и совсем незнакомым. — Боже мой! Но как же вы будете, Валерий Евгеньевич, с Таней?..

— Не знаю, Варвара Петровна, — сказал он. — Я вообще сейчас почти ничего не знаю.

— Хочу курить, — сказала она.

Валерий Евгеньевич вставил папиросу в ее рот, зажег спичку.

— Где Таня?
— На работе.
— Я не хочу курить.
Он вынул из ее рта потухшую папиросу.
— Выпейте это, — сказал он, поднося к ее губам чашку. — Если вам трудно глотать, я приподниму вас.
— Да.
Питье показалось ей очень приятным.
«А вдруг я выздоровлю?» — подумала она и улыбнулась. А Валерий Евгеньевич потом утверждал, что она, горько и по-детски всхлипывая, заплакала в этот момент.
— Все у вас будет хорошо, — сказала она, немного стесняясь того, что никак не может перестать улыбаться.
— Нет, не может уже быть хорошо, — произнес он. — Сам я, сам променял свое счастье бог весть на что.
— Татьяна вас любит, — сказала она, чувствуя, как все нарастает в ней счастливое чувство спокойствия, желание, чтобы и ему тоже было хорошо. — Она не уйдет от вас.
— Вы плохо знаете Татьяну, — проговорил он.
— Пить я хочу.
Валерий Евгеньевич поднес чашку к ее губам, но она оттолкнула ее.
— Пить!
Валерий Евгеньевич снова поднес чашку, и она снова оттолкнула ее. Вода пролилась ей на лицо, на шею.
— Где мои письма? Я скоро увижу его.
Валерий Евгеньевич невольно обернулся к двери, а когда снова поглядел на Варвару Петровну, понял, что жизнь покинула ее.

Глава восьмая

1

Многие в детстве мечтают о путешествиях. Необыкновенно прекрасным представляется тогда мир, и кажется, что не кто иной, а именно ты создал многоцветную географическую карту — провел на ней тонкие линии, обозначающие реки, голубым цветом покрыл значительную

часть ее — определил быть морям и океанам, не пожалел коричневой краски на горы... Но проходят годы, и все реже и реже вспоминается географическая карта твоего детства. Давно уже ты постиг, что города — это вовсе не кружочки, а реки не черточки, что цвет воды в океане совсем не такой голубой. Но есть и такие люди, которые и в старости, по многу раз оценив и переоценив все, не перестают удивляться географической карте, будто видят ее впервые.

Иван Алексеевич Машин принадлежал к таким людям. Подолгу простаивал он перед большой картой мира, висящей на стене в его комнате, хотя было ему знакомо каждое пятнышко на ней, каждый штрих.

Что он искал? Что хотел найти?

В комнату вошла Таня, обняла отца, поцеловала. Из-за его плеча она увидела на столе большую деревянную пепельницу — старинный русский ковш. Пепельница принадлежала Варваре Петровне, всегда раньше стояла в ее комнате, и было у нее постоянное место — на подоконнике. Старуха очень любила эту пепельницу, привезенную еще из Воронежа, и часто причитала:

— И как же это я ее забыла в Комарове? Обязательно надо ее привезти.

Таня заплакала.

Иван Алексеевич тоже глянул на пепельницу, отвернулся к окну, постучал пальцем по стеклу.

— Вот так, — произнес он глухо после долгого молчания и спросил — так просто, будто речь шла о погоде: — Ну, а как же с ним... с мужем?

— А я не люблю его, — тихо сказала Таня.

— Так ведь не о тебе — о нем спрашиваю.

— Не понимаю.

— Не понимаешь? Но бывает же так, что в момент, когда человеку худо, его еще и не любят. Что ж ему, так и погибать?

Таня ожидала всего, но никак не этого.

— Ты что, за него заступаешься? — спросила она с изумлением.

— Если в человеке есть хоть что-то настоящее, его в беде оставлять нельзя. А по твоим рассказам, мне так представляется, что в нем, в муже твоем, и дряни

много, но и хорошее все-таки есть. Так, может, стоит повозиться?

— Но я же сказала, что не люблю его...

— Это — дело твое! — резко перебил он. — Я и не говорю, что ты должна остаться его женой. Но смотри, Татьяна, не было бы тебе потом стыдно. Ты же, по сути дела, бросаешь человека в беде.

— Почему в беде? — крикнула Таня. — У него все прекрасно!

— Был вчера у меня Антон Нилыч. Перемены большие на факультете. Антон Нилыч возвращается в университет. Сама понимаешь, что́ теперь Лебедева ожидает.

— Господи, да Страхову уже за восемьдесят! Ему и осталось-то...

— А вот это уже, Татьяна, не дело — считать чужие годы. У таких людей, как Страхов, есть высшее чувство — чувство долга, и этому у них надо учиться. Преклоняться надо перед этим...

Таня вновь вспомнила разговор с отцом перед своим отъездом из Комарова. «В сущности, он говорил то же самое, — подумала она. — Почему же тогда меня это злило?»

— А, кстати, когда я говорю, что твой муж в беде, я вовсе не служебное его положение имею в виду, — продолжал Иван Алексеевич. — Это еще не самая страшная беда. Вот когда человек без пути остается, без дороги...

Ему не удалось закончить фразу — в комнату ворвалась Булка. Она вскочила к Тане на колени, уткнулась мордочкой в Танину руку и заскулила, но плач тут же сменился столь бурной радостью, что она громко залаяла на Ивана Алексеевича, негодуя на то, что и он не выражает такого же восторга по поводу Таниного приезда.

Иван Алексеевич и Таня громко расхохотались.

2

Эту ночь Таня провела без сна. В комнате ее оставалось все, как и раньше, но это была уже не ее комната, и знакомые ей с детства вещи, которые тут находились, стали теперь чужими. И за окном все казалось новым. Кусты сирени, покрытые сейчас снегом, ель, на вершине

которой некогда жил добрый и легкомысленный волшебник, скамейка... Только все это уже не принадлежало этому дому, не сливалось с ним, а существовало как-то самостоятельно, ничем не отличалось от множества других кустов сирени, елей, скамеек.

Наверное, Варвара Петровна преувеличивала, когда превозносила способности Тани к медицине, но ведь действительно первую операцию она произвела, когда ей было двенадцать лет. Кто-то камнем перешиб ножку котенку, кость была раздроблена, и Таня извлекла осколки. Никто не помогал ей в этом, не только девочки, но и мальчуганы разбежались, перепуганные видом крови и отчаянными воплями котенка, и только когда Таня сделала перевязку, все вернулись. Котенок вопил еще несколько часов, потом жалобно стал мяукать, а через день успокоился, и Таня долго еще победоносно глядела на мальчуганов, предлагавших его утопить. Дураки, они думали, что она сама не боялась крови. Но вот же котенок живет, и не так уж плохо, хотя прихрамывает. Во всяком случае, это жизнь, а не смерть. Как же это чудесно — отгонять смерть!

3

В последние дни, каждый раз, когда Таня куда-то уходила из дому, ей хотелось, чтобы Валерий Евгеньевич чувствовал, понимал, что ничто ее, в сущности, с этим домом уже не связывает и что так же, как уходит на несколько часов, она может однажды уйти навсегда.

Особенно отчетливо она ощущала это по возвращении от отца. Внешне все оставалось как бы по-прежнему — уже привычная квартира, привычная мебель и даже работа, ставшая привычной, но то и дело Таня ловила себя на недоуменной мысли: как очутилась она снова здесь, в своей карельской спальне?

Пожалуй, это было самым точным словом — именно «очутилась»! Она не чувствовала сейчас ни времени, ни расстояния: вот была в Комарове, у отца, и вот опять в городе. А дороги, поездки как бы и не было. Скоро она так же вот машинально «очутится» в мединституте, — ей надо туда зайти. И тоже не будет расстояния от ее дома до института: была здесь — оказалась там.

«Словно в сказке, — подумала она, — только сказка-то какая-то печальная»...

Надо было понять главное: в силах ли она расстаться с Валерием Евгеньевичем? Вот был бы у нее такой же твердый характер, как у отца, все давно бы решилось. Впрочем, нет, сейчас, кажется, ей и не нужен такой характер, она чувствует, твердо знает, что никакого влечения к тому, кто находится в двух шагах от нее, уже не испытывает.

Да, Валерий Евгеньевич находился сейчас в своем кабинете, но Тане казалось, что кабинет этот отделен от ее спальни морями-океанами и там, на краю света, сидит мало интересный ей человек.

«Что же это такое? — подумала она. — Может ли так быть?»

И тут она вспомнила, что не раз в книгах, которые она читала, рассказывалось, как любовь, даже очень сильная, исчезала мгновенно. Значит, не она первая, и она не исключение. Любовь исчезает, и причиной этого часто бывает несходство убеждений, различные, противоположные взгляды на жизнь.

«Ну вот, слава богу, и со мной такое случилось», — с облегчением подумала она. Но тут же усомнилась: может быть, еще рано радоваться? Может, следует еще проверить себя? Вот сейчас она войдет к нему, посмотрит на него и попробует понять — хотелось ей видеть его или нет? Хочется ли побыть в его комнате или, наоборот, бежать из нее хочется, немедленно бежать куда угодно?

Она вышла из спальни, но в кабинет не пошла, а посидела минут пять на диване в столовой. Впервые ей пришла в голову мысль, что вот так же на этом диване сидела и бывшая жена Валерия Евгеньевича. В общем, ничего не изменилось. Этой дубовой мебели еще жить и жить, а жены у Валерия Евгеньевича будут меняться. И она лишь одна из них.

Эта мысль оскорбила ее, разозлила, внушила неприязнь к мужу, и когда она подошла к его кабинету, ею уже владела уверенность, что нет, она не любит его.

Валерий Евгеньевич сидел за столом и что-то писал. Он не поднял головы, и Таня удалилась незамеченная.

Она вернулась в спальню. Необыкновенное, ровное и давно уже не знакомое спокойствие владело ею. Ей

стало почти весело. Солнечные лучи заливали комнату, и большое зеркало шкафа излучало приятное тепло. В единственном холодном нижнем уголке его отражалось небо, но и он постепенно теплел.

Почему-то она вспомнила Федю Бельчикова, но вспомнила, как почти чужого, малознакомого человека. Кажется, пройди он сейчас мимо ее дома, она не окликнула бы его. «Странно, — подумала она, — как все-таки это странно».

Промелькнул в голове первый ее пациент, зубной техник Сизов. Этот узкоплечий, с заспанным лицом, в сером, клетчатом, накинутом на голое тело пиджаке человек показался ей едва ли не более порядочным, чем тот, кто находился сейчас за стеной ее комнаты. Тот был отвратительный, озлобленный, а этот — добрый. Но сколько же зла может сотворить такой добряк!

Глава девятая

1

И вот он сидит за столом, и ничего, кроме безразличия, к нему Таня не испытывает. Она вполне спокойна и даже может горько шутить.

— Я думаю, надо прекратить эту игру в молчанку. Так мы просто разучимся говорить.

Он поднимает голову от стола, внимательно глядит на Таню.

Ах, этот университетский бал, где она впервые увидела его! Что тогда говорил этот человек, когда провожал ее до общежития? В ушах еще звенели звуки оркестра и фраза Феди Бельчикова: «Все прекрасно вижу, все понимаю!»

«Кажется, — думала она тогда, испытывая приятное чувство от того, что Валерий Евгеньевич держит ее об руку, — кажется, Федя действительно что-то понимает и, кажется, не ошибается. Он, наверное, куда больше понимает, чем я».

— Очень душно было на этом балу.

— Мне — нет. Я, Танюша, за много лет дышал по-настоящему.

— Все наши девочки очень удивлены вашим поведением. Смотрите, как вы их напугали: разбежались.

— Я их не так еще напугаю.

— Даже страшно!

— Давайте посидим на скамейке.

— Вы, наверное, поздно встаете?

— Неужели вы, Танюша, думаете, что я буду спать эту ночь? А вот вы сейчас придете домой и крепко-крепко заснете.

— Смотрите, вы все лучше меня самой знаете. Девочки мои уже дома. Вы себе не представляете, какой скандал они мне закатят!

— Почему?

— Во-первых, они хотят спать, а должны меня дожидаться.

— Зачем?

— Вот так раз! Были на балу, пришли домой — и тут же заснули? Так не бывает. Надо обсудить.

— А на завтра нельзя отложить?

— Завтра — это само собой. Во-вторых, девочки, в особенности Лиза Криворучко, замечательно относятся к Феде. А я вот с вами по ночам на скамейке сижу. Они и вас будут страшно ругать.

— И вы не станете им возражать?

— Я еще не решила.

— А за что же они меня будут ругать?

— Когда человеку сорок лет и он такой солидный и важный, то девочкам ничто другое и в голову не может прийти, как то, что этот дядя испортит жизнь их подруге. Сейчас, наверное, уже третий час?

— Не уходите, Таня. Неужели вы уйдете?

— Нет, что вы! Я собираюсь провести на этой скамейке остаток моей жизни.

А через несколько дней они на моторке отправились в поселок Песчаный. Там провели весь день, купались, удили рыбу, гуляли в березовой роще. Обратно возвращались на пароходе и не покидали палубы. Все больше появлялось электрических огоньков на реке и звезд на небе. Пароход гудел, сотрясался; отчетливо было слышно, как работает машина. Он плыл под звездами, и ка-

залось, не будет конца его пути. Но вот послышался острый запах речной воды, который всегда появляется на ближних подступах к пристаням. Пароход дрогнул, исчез мгновенно стук машины, качнулись в последний раз звезды над головой; пристань и еще какие-то низкие деревянные строения стали кружить вокруг парохода, пароход — вокруг них. Эта игра закончилась тем, что раздался сильный стук, который увенчался еще более сильным треском, пароход замер, и всем прибывшим на нем показалось, как это часто кажется, когда пароход в темноте пристает к берегу, что тут не только пристань, но и конец реке.

Нет, не всем это показалось. Таня и Валерий Евгеньевич ничего не замечали, не замечали и того, что, кроме них, на пароходе почти никого уже не осталось. Валерий Евгеньевич говорил о своей несчастливой жизни с женой, и безо всякой рисовки с его стороны как-то так получилось, что в самые трудные моменты этой жизни он оставался верным себе, честным, прямым и мужественным человеком.

Таня не пропускала ни одного его слова и думала: «Так и влюбиться недолго». Она еще не смела признаться себе, что уже любит Валерия Евгеньевича. «Что же со мной будет? Ведь он мне в отцы годится! Бежать, бежать от него скорей надо!» Но именно сейчас, тут, на темной палубе, она поняла, что никуда от него не убежит. И страха, который все время владел ею, когда она думала о себе и Валерии Евгеньевиче, как о близких друг другу людях, уже не осталось. Страх исчез, и она поняла, что пришло счастье. «Ну вот и чудесно, — сказала она себе, улыбаясь и все еще не веря тому, что полюбила. — Я так и знала, что этим кончится!»

2

— Не надо плакать, Танюша, — сказал Валерий Евгеньевич.

— Я не плачу. Просто у меня глаза красные: мало спала, зачиталась с вечера одной книгой. Мы уедем, слышишь? Я все равно люблю тебя, и мы уедем.

— Куда?

— Не знаю! В городе, наверное, не удастся устроиться... тогда в село... в больницу...

— А что же мне там делать?

— Что-нибудь.

— Какая же там работа по моей специальности?

— Молчи и слушай. Если ты не устроишься, я буду кормить тебя. А не можешь так — оставайся, я уеду одна. Но только помни, что с той минуты, как за мной закроется дверь этой квартиры, ты меня больше не увидишь.

— Но пойми, Танюша, нужно какое-то время... Не так-то все просто.

— Я сама тоже виновата. Дура я, смотрела на твоего Карсавина с восхищением, когда вы тут с ним обсуждали ваши мерзкие дела и собирались вслед за Страховым уничтожить Ладейникова. Мне бы этого Карсавина тогда выгнать из дома, а не чаем поить!

— Вообще, конечно, много справедливого ты сказала. — Валерий Евгеньевич не в состоянии был поднять на Таню глаз. — Разве можно это отрицать? Совершено много ошибок. И очевидно, увы, непоправимых. Но мне сорок второй год, Танюша, и я не могу так быстро, как ты, решать многие вопросы. Как я могу ехать куда-то в село? Да и кто меня отпустит? И что я буду делать в селе? После многолетней работы в университете преподавать ребятам в школе? Подумай сама, возможно ли это? — Он решился и поглядел на Таню, но тут же опять опустил глаза. — Да я и не умею преподавать в школе. Учиться мне этому поздно...

Он еще долго говорил, но Таня уже не слушала. Она чувствовала, как все больше овладевает ею безразличие к нему, и знала, что т е п е р ь уже это окончательно.

Валерий Евгеньевич повязывал галстук. Она смотрела на его отражение в зеркале и думала, что с того давнего вечера он совсем не изменился, может, только пополнел немного. Она не испытывала к нему сейчас ни злобы, ни раздражения. Не было и жалости. Не было вообще н и ч е г о.

Она вышла из комнаты. Он не решился последовать за ней, а стал ходить из угла в угол. Он знал, что в эти минуты свершается его судьба, что сейчас Таня собирает

свои вещи. В этом он не сомневался, но понимал, что удержать ее уже не сможет.

Через полчаса, сидя за своим письменным столом, он услышал, как в передней гулко хлопнула дверь.

3

Какую же он совершил страшную, непоправимую ошибку! Когда совершил ее и что ожидает его?

В этой квартире, обставленной старинной мебелью, быть может, появится какая-то другая женщина, но на Таню она не будет похожа. Это будет совсем другая женщина, ну, что-нибудь вроде Веры Андреевны. И с нею в дом войдут тоска, унылое существование, копеечные радости, ложь — спокойная, привычная. И ее уже не нужно будет маскировать.

Валерий Евгеньевич прошел в спальню. На диване валялись какие-то ленточки, на полу — стоптанные туфли, в углу — старые газеты и моточек веревки; на столе — разорванные в клочки письма, два новых конверта с наклеенными марками и пустой флакон от одеколона «Гвоздика».

Солнечные лучи заливали комнату и нестерпимо яркими стрелами отражались от большого зеркала и до блеска отполированной карельской березы.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

Финн Константин Яковлевич

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ МНОГИХ ЛЕТ

М., «Советский писатель», 1969, 400 стр. Тем. план вып. 1969 г., № 126

Художник Е. А. Расторгуев. Редактор В. Д. Острогорская. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор М. А. Ульянова. Корректоры С. Б. Блауштейн и Н. П. Задорнова.

Сдано в набор 13/I 1969 г. Подписано в печать 14/X 1969 г. А 00682. Бумага 84×108 1/32 № 2. Печ. л. 12 1/2 (21,0). Уч.-изд. л. 20,22. Тираж 175 000 экз. Заказ № 799. Цена 77 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР. Отпечатано в Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького, г. Ленинград, Гатчинская, 26 с матриц Ленинградской типографии № 5, Красная ул., 1/3.

77 к.

КОНСТАНТИН ФИНН

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

МНОГИХ ЛЕТ